

Литрес ≡ Классика

Чарльз Диккенс

ХОЛОДНЫЙ ДОМ



Чарльз Диккенс

Холодный дом

«ЛитРес»

1853

Диккенс Ч.

Холодный дом / Ч. Диккенс — «ЛитРес», 1853

В сердце Лондона, в Канцлерском суде, десятилетиями тянется безнадёжная тяжба «Джарндисы против Джарндисов», пожирая состояния и судьбы. В этот туманный мир бесконечных проволочек попадает юная сирота Эстер Саммерсон, которая пытается найти своё место и разгадать тайну собственного происхождения. Роман соединяет десятки персонажей – от благородных джентльменов до уличных оборванцев – в широкую панораму викторианской Англии, обнажая холод и равнодушие закона и согревая теплом человеческой доброты.

© Диккенс Ч., 1853

© ЛитРес, 1853

Содержание

I. Верховный суд	6
II. Модный мир	12
III. Успех	18
IV. Телескопическая филантропия	34
V. Утреннее приключение	44
VI. Совершенно дома	54
VII. Площадка замогильного призрака	71
VIII. Прикрытие множества прегрешений	79
IX. Признаки и предзнаменования	94
X. Адвокатский писец	105
XI. Наш любезный собрат	113
XII. На страже	124
XIII. Рассказ Эсфири	134
XIV. Гордая осанка и изящные манеры	145
Конец ознакомительного фрагмента.	154

Чарльз Диккенс
Холодный дом

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

I. Верховный суд



Лондон. Осеннее парламентское заседание недавно кончилось, и лорд-канцлер открыл свое присутствие в Линкольн-Иннском суде. На дворе – несносная ноябрьская погода; на улицах – столько грязи, как будто всемирный потоп только что сбежал с лица земли, и нисколько не покажется удивительным встретить какого-нибудь мегодазавра, футов в сорок длины, ползущего, как допотопная громадная ящерица, на возвышение улицы Голборн. Дым из домовых труб, вместе с хлопьями сажи, огромными, как хлопья снега, расстилаясь по улицам, облекал – другой подумает – воздушное пространство в траур, по случаю смерти солнца. Собаки, облепленные грязью, ничем не отличаются от самой грязи. Наружность лошадей едва ли лучше собак: та же грязь покрывает их до самых наглазников. Пешеходы задевают друг друга зонтиками и, под влиянием общего недовольного расположения духа, теряют равновесие на перекрестках улиц, там, где десятки тысяч других пешеходов уже скользили и падали с самого начала дня (если только можно допустить, что день начинался), падают в свою очередь и прибавляют новые слои к слоям грязи, упорно льнувшим именно к этим пунктам тротуара.

Туман повсюду: туман в верхних истоках Темзы, где она, светлая, скромно протекает между пажитями и небольшими островами, туман в нижних пределах ее, где она катится, мут-

ная уже и загрязненная, между рядами кораблей и прибрежными нечистотами огромного (и грязного) города; туман над болотами Эссекса, туман над возвышенностями Кента. Туман проникает в камбузы угольных двух-мачтовых судов; туман расстилается по реям и покрывает всю оснастку огромных кораблей; туман висит над палубами баржей и других речных судов; туман в глазах и в груди престарелых гринвичских инвалидов, дремлющих подле очагов в госпитальных отделениях; туман в чубуке и трубке сердитого шкипера, который спит в своей тесной и душной каютке; туман немилосердно щиплет руки и ноги дрожащего на палубе от холода маленького ученика этого шкипера. Случайно столпившиеся люди на мостах глядят через перила в туман, который, как нижнее небо, расстилается под ними, и им, окруженным туманом, кажется, как будто поднялись они на воздушном шаре и висят в туманных темных облаках.

Газовые огоньки в различных местах улицы принимают красновато-тусклый свет и размеры более обыкновенных, точь-в-точь как солнце, когда земледельцы смотрят на него с полей, пропитанных влагою и вечно покрытых испарениями. Большая часть магазинов освещена двумя часами ранее, и газ как будто знает это обстоятельство: он горит тускло и как бы нехотя.

Подле самых Темпльских ворот – этой древней массивной преграды – подле этого приличного украшения преддверия старинного общества, суровый вечер кажется суровейшим, густой туман – густейшим, и грязные улицы – грязнейшими. А подле самых Тампльских ворот, в Линкольн-Иннском Суде, так сказать, в самом сердце тумана, заседает великий лорд-канцлер в своем Верховном Суде.

Но никакая густота тумана, никакая глубина грязи не может вполне согласоваться с блуждающим в потемках, барахтающимся в бездне недоразумений заседанием, которое великий канцлер, самый закоснелый из седовласых грешников, держит в этот день перед лицом неба и земли.

Вот в такой-то вечер лорду-канцлеру и следовало бы заседать в суде – да он и заседает – с туманным сиянием вокруг своей головы, с малиновым сукном и занавесями вокруг его особы. Перед ним стоит рослый адвокат, с огромными бакенбардами; он тихо прочитывает бесконечную выписку из тяжёбного дела, между тем как внимание и мысли канцлера сосредоточены в потолочном фонаре. В подобный вечер десятка два членов Верховного Суда должны были бы – как оно и есть на самом деле – заниматься десять-тысяч-первым приступом к рассмотрению нескончаемой тяжбы, спотыкаться на скользких данных для разрешения этой тяжбы, вязнуть по колени в технических выражениях, разбивать свои головы, охраняемые мягкими и жесткими париками, о стены слов и, как актеры, с серьезными лицами произносить свои замечания на верное изложение некоторых обстоятельств дела. В подобный вечер несколько уполномоченных ходатаев на тяжбе, из которых двое или трое наследовали полномочие от своих отцов, разбогатевших чрез это занятие, должны были выстроиться в линию в продолговатом колодце (хотя на дне этого колодца, как и всякого другого, вы тщетно стали бы отыскивать истину!) между красным столом регистратора и судьями, перед которыми и навалены целыми горами прошения истцов, возражения ответчиков, допросы, ответы, приказы, отношения, донесения, следствия, клятвенные показания и другие в тяжёбных делах драгоценные документы. Судебное место это мрачно и тускло освещается кое-где догорающими свечами; тяжёлый туман расстилается по нем, как будто он никогда не выходил оттуда; покрытые живописью оконные стекла, потеряв свой прежний яркий колорит, сделались тусклыми, и дневной свет с трудом проникает в них; непосвященные в таинства этого судилища, заглянув с улицы в стеклянные двери, стремглав бросаются прочь, уstraшенные его совиным видом и протяжным монотонным чтением, печально раздающимся под сводами залы, где великий канцлер пристально смотрит в потолочный просвет, и где, в тумане, торчат парики присутствующих членов. – Вот это-то и есть Верховный Суд Англии, – суд великого канцлера, – суд, у которого в каждом округе Британии есть свои ветхие, полу-разрушенные здания, свои запустелые выморочные имения, у которого в каждом доме умалишенных есть свои сумасшедшие и на каждом

кладбище свои покойники, у которого есть свои доведенные до крайней нищеты челобитчики в стоптанных башмаках и истасканном платье (они делают денежные займы и просят милостыню у своих знакомых), – суд, который до такой степени истощает все денежные источники, истощает терпение, отнимает бодрость духа, убивает всякую надежду, до такой степени поражает мозг и сокрушает сердце, что между его опытными судьями нет такого почтенного человека, который бы не предложил, который бы не предлагал так часто следующего предостережения: "переноси всякую обиду, всякую несправедливость, оказанную тебе, но не приходи сюда".

Кто же еще в этот мрачный вечер присутствовал в Верховном Суде, кроме самого лорда-канцлера, адвоката-защитника тяжёлого дела, двух-трех адвокатов, не защищающих никакого дела, и вышеприведенных уполномоченных ходатаев? Ступенью ниже от судьи находятся регистратор, в парике и мантии, два-три булавоносца и несколько приказных служителей, в указанной форменной одежде. Все эти особы зевают весьма непринужденно, потому что ни одной крошки удовольствия не упало от Джорндис и Джорндис – так именовалось тяжёлое дело, которое черствело, сохло и сжималось в течение многих предшествовавших лет. Скоро писцы, стенографы Верховного Суда и стенографы публичных газет немедленно снимают свой лагерь, как только начнется заседание по делу Джорндис и Джорндис. Их места остаются пусты. В стороне залы, чтобы лучше вглядываться в святилище, окруженное малиновыми занавесями, сидит небольшого роста, в изношенной, измятой шляпке, полоумная старушка: она постоянно присутствует в каждом заседании от самого начала до самого конца и постоянно ждет какого-то непостижимого судебного решения в ее пользу. Говорили, будто она участвует или участвовала в тяжёлом деле Джорндис и Джорндис, но насколько истины заключалось в этих словах, никто об этом не заботился. Старушка всегда носит с собой ридикюль, набитый всякой всячиной, состоящей большей частью из сухой лаванды и старых лоскутков бумаги, годных разве для раскурки трубок; но старушка величает их своими документами. Во время заседания раз шесть вводят подсудимого, чтобы он оправдал себя, сделав лично требуемое показание, от которого он будто бы умышленно уклоняется, а следовательно умышленно наносит оскорбление закону, тогда как этот несчастный, оставшись, по смерти других, единственным душеприказчиком, впал в такое забвение касательно отчетов, лежавших на его ответственности, что по чистой совести признавался в том, что он никогда не знал о них да и едва ли когда и узнает. А между тем все его виды, все надежда в жизни рушились. Другой разорившийся челобитчик, который от времени до времени является в суд из Шропшэйра и употребляет все свои усилия, чтобы хоть раз в конце заседания обратиться с своими возражениями к самому лорду-канцлеру, и который, ни под каким видом не хочет убедиться, что лорд-канцлер законным образом не знает о существовании шропшэйрского просителя, хотя и отравлял его существование в течение четверти столетия, – этот челобитчик помещается на выгодном месте, устремляет пристальные взоры на великого канцлера и готовится воскликнуть: "Милорд!" голосом, выражающим громко-звучную жалобу, в тот момент, когда милорду канцлеру угодно будет подняться с своего почетного места. Некоторые из писцов и других приказнослужителей, знакомых уже с этим странным челобитчиком, остаются еще на несколько минут, с намерением подтрунить над ним и тем немного оживить скучное заседание.

Медленно и тяжело тянется процесс Джорндис и Джорндис. Это название тяжбы, это пугало среди других тяжёлых дел сделалось в течение времени до такой степени сложно, что ни одно из живых созданий не знает настоящего его значения. Лица, участвующие в нем, понимают его еще менее; замечено даже, что никто из двух канцлерских адвокатов не проговорит об этом деле в течение пяти минут без того, чтоб не прийти в совершенное несогласие касательно предшествовавших обстоятельств. В это дело введено бесчисленное множество новорожденных детей, в этом деле бесчисленное множество молодых людей сочетались брачными узами, и в этом деле бесчисленное множество людей отжили свой век. Десятки лиц с исступленным негодованием открывали, что делались соучастниками дела Джорндис и Джорндис, не

постигая, каким образом они сделались и зачем; целые семейства по преданию наследовали вместе с этой тяжбой и ненависть друг к другу. Маленький истец или ответчик, которому обещана была деревянная лошадка, лишь только выиграется тяжба по делу Джорндис и Джорндис, вырос, возмужал, сделался владельцем настоящего коня и, наконец, умчался за пределы этого мира. Прекрасные девицы, находившиеся над опекой суда, сделались матерями семейства, дождались внучат. Длинный ряд великих канцлеров приступал к решению этого дела и оставлял его нерешенным. Нескончаемый список лиц, участвующих в этой тяжбе, превратился в обыкновенный список лиц умерших. С тех пор, как старик Том Джорндис в припадке отчаяния размозжил себе голову в кофейном доме, в переулке Чансри, быть может, на всем земном шаре не существовало и трех человек из фамилии Джорндис; а между тем дело Джорндис и Джорндис все влачит свое печальное существование перед судом, не подавая в течение бесконечно долгих лет ни малейшей надежды к отрадной перемене.

Тяжебное дело Джорндис и Джорндис обратилось в шутку, – единственное благо, которое было извлечено из него. Оно послужило смертью для многих; но для профессии оно ни более, ни менее, как шутка. Каждый судья Верховного Суда имел какую-нибудь выписку из дела: каждый канцлер участвовал в нем еще в ту пору, когда начинал свое судейское поприще. Старые, заслуженные, с багровыми носами и в луковицообразных башмаках адвокаты много поговаривали забавного насчет этого дела во время дружеских послеобеденных бесед за бутылкой доброго портвейна. Присяжные писцы любили изощрять над ним свое остроумие. Поправляя замечание знаменитого адвоката мистера Бловерса, который однажды сказал: "это тогда может случиться, когда вместо дождя посыплется с неба картофель", лорд-канцлер заметил ему, с явным желанием подшутить: "или тогда, мистер Бловерс, когда мы решим тяжebное дело Джорндис и Джорндис", – шутка, в особенности показавшаяся приятною для писцов и других членов заседания, стоявших от писцов одной ступенью ниже.

Сколько именно испорчено прекрасных людей, не участвующих в тяжebном деле Джорндис и Джорндис, это вопрос неразрешимый. Начиная от судьи, в громадных архивах которого целые книги судебных, покрытых слоями пыли документов по делу Джорндис и Джорндис угрюмо свернулись в самые разнообразные формы, до копииста, который переписал уже десятки тысяч огромных канцлерских страниц из дела под тем же заголовком, – это дело ни под каким видом не послужило к исправлению человеческой натуры. Да и то нужно сказать: в крючкотворстве, в увертках, в откладываниях, в лихоимстве, в ложных предложениях всех возможных видов всегда находятся побудительные причины, которые никогда не доводят до хорошего. Даже малолетние слуги стряпчих, встречая у дверей несчастных челобитчиков и уверяя постоянно, что мистер Чизль, Мизль или кто-нибудь другой в этом роде был чрезвычайно занят или ожидал к себе посетителей, – даже и эти мальчишки успели усвоить из тяжebного дела Джорндис и Джорндис особенные ужимки и приемы, особую походку. Сборщик пошлины за делопроизводство в тяжбе Джорндис и Джорндис составил себе значительный капитал, но вместе с тем лишился доверия своей родной матери и навлек на себя негодование и презрение своих родных. Чизль, Мизль и им подобные усвоили привычку обещать бессознательно, что он заглянет в это затянувшейся дельце и увидит, что может быть сделано для Дризля, с которым поступали в этом дельце не совсем-то хорошо, – но увидят не ранее того, как дело Джорндис и Джорндис будет приведено к совершенному окончанию. Зерна проволочек и обмана, во всех возможных видоизменениях, сеялись из этого несчастного процесса щедрой рукой. И даже те, которые следили за ходом этого дела от самых отдаленнейших его пределов, незаметным образом принуждены были допустить такое убеждение, что все дурное должно иметь свое дурное направление; они готовы были допустить, что если бы мир принял неправильный обратный ход, если бы природа изменила своему назначению, своим законам, то это потому, что ей никогда не предназначалось следовать по прямому назначению, по определенным законам.

Итак, среди глубокой грязи и в центре непроницаемого тумана, великий канцлер заседает в Верховном Суде.

– Мистер Тангль! – сказал великий канцлер, начиная обнаруживать некоторое беспокойство под влиянием красноречивого чтения этого ученого джентльмена.

– Что угодно милорду? – отвечает мистер Тангль.

Тяжба Джорндис и Джорндис знакома мистеру Танглю более всех других членов собрания. Через эту тяжбу он сделался известным. Полагали, что со времени его выхода из пансиона он ничего не читал кроме тяжбы Джорндис и Джорндис.

– Приблизились ли вы к концу вашего объяснения?

– Милорд, нет еще... различные обстоятельства... считаю долгом представить на усмотрение милорда. – Вот ответ, который, так сказать, выскользает из уст мистера Тангля.

– Мне кажется, я должен выслушать еще некоторых членов заседания, замечает канцлер, с легкой улыбкой.

Восемнадцать ученых друзей мистера Тангля, из которых каждый вооружен краткой докладной запиской в тысячу восьмьсот листов, вскакивают с места, как восемнадцать фортепьянных клавишей, делают восемнадцать поклонов и опускаются на восемнадцать мрачных своих мест.

– Мы приступим к рассмотрению дела через две недели в среду, – замечает канцлер.

И действительно, к чему торопиться? Дело, о котором идет речь, трактует еще об одних только судебных проторях и убытках. Это только один бутон на огромном дереве, взятого из целого леса процесса; и само собою разумеется, когда-нибудь решится и весь процесс.

Великий канцлер встает; адвокаты также встают. Пред собрание вводится обвиняемый чрезвычайно поспешно. Челобитчик из Шропшэйра восклицает: "Милорд!" Булавоносцы и другие блюстители порядка с негодованием провозглашают: "Молчание!", и бросают на шропшэйрского челобитчика суровый взгляд.

– Что касается, – продолжает канцлер, все еще не отрываясь от дела Джорндис и Джорндис, – что касается девочки...

– Беру смелость заметить милорду, – возражает мистер Тангль, прерывая канцлера, – вероятно, вам угодно было сказать, что касается мальчика...

– Что касается, – продолжает канцлер, стараясь придать своим словам особенную ясность, – что касается девочки и мальчика, этих двух молодых людей... (Мистер Тангль был поражен)... которым я приказал явиться сегодня, и которые находятся теперь в моем кабинете, – я увижу их и доставлю себе удовольствие немедленным распоряжением о дозволении им жить вместе с своим дядей.

Мистер Тангль снова приподнялся.

– Осмеливаюсь доложить милорду, их дядя умер.

Канцлер сквозь двойные очки устремляет взоры на разложенные перед ним бумаги.

–...о дозволении им жить вместе с своим дедом, – говорит он.

– Прошу извинения милорда... их дед сделался жертвой безумного поступка – разбил себе голову.

В эту минуту, в задних пределах тумана, поднимается маленький адвокат и с полной самоуверенностью, густым басом говорит:

– Не угодно ли милорду выслушать меня? Я прибыл сюда за джентльмена, о котором идет речь. Он приходится мне кузеном, в отдаленном колене. В настоящую минуту я не приготовил доказательства, в каком именно колене приходится он кузеном, но знаю, что он кузен.

Предоставив этому обращению (произнесенному как замогильное послание) прозвучать в стропилах потолка, маленький адвокат опускается на место, и туман уже не знает его больше. Все ищут его – никто не видит его.

– Я поговорю с обоими молодыми людьми, – снова замечает канцлер, – и доставлю себе удовольствие, допустив им жить вместе с своим кузеном. Я напомним об этом обстоятельстве завтра утром во время заседания.

Уже канцлер намеревался откланяться, когда внимание его обращено было на подсудимого. Однако, из объяснений подсудимого только и можно было сделать заключение, что его следует обратно отправить в тюрьму, что и сделано было без дальнейшего отлагательства. Шропшэйрский челобитчик решился еще раз произнести убедительное: "Милорд!", но канцлер, предвидевший это обстоятельство, исчез весьма проворно. Вслед за ним и также проворно исчезли и прочие члены. Батарея синих мешков начиняется тяжелым грузом деловых бумаг и уносится писцами; маленькая полоумная старушка удалилась с своими документами; опустевший суд запирается тяжелыми замками. О, если бы вся несправедливость, совершенная в суде, и все бедствия, причиненные этим судилищем, замкнулись тем же замком и потом бы сожжены были на огромном погребальном костре, быть может, это было бы величайшим благом для других лиц, но не для лиц, участвовавших в тяжёлом деле Джорндис и Джорндис.

II. Модный мир

В этот же самый грязный и сумрачный вечер нам нужно мельком заглянуть в модный мир. Этот мир имеет такое близкое сходство с Верховным Судом, что мы так же легко можем перенестись с одной сцены на другую, как летают вороны. Как модный мир, так и Верховный Суд – вещи, освященные временем и привычками; это все равно, что сказочные, погруженные в непробудный сон Рип-фан-Винкльсы, которые во время страшной грозы играли в какие-то странные игры, – все равно, что двенадцать спящих дев, которые рано или поздно, то пробудятся при появлении рыцаря, и тогда все вертели на кухне в один момент придут в быстрое движение!

Этот мир не велик. Относительно к миру, в котором мы обитаем и который имеет также свои границы (в чем нетрудно убедиться: стоит только сделать маленький тур и достигнуть крайнего его предела), – в отношении к нашему миру модный мир представляет собою крошечное пятнышко. В нем есть много хорошего, в нем есть много добрых, справедливых и честных людей, он имеет свое предназначенное место. Зло, которое заключается в нем, состоит в том, что этот мир чрезмерно украшает себя драгоценными тканями и драгоценными камнями, – в том, что он не может слышать стремления больших миров, не может видеть, как эти миры обращаются вокруг солнца. Этот мир остается в каком-то бесчувственном, мертвенном состоянии; за недостатком воздуха, его производительная сила бывает иногда зловредна.

Миледи Дэдлок возвратилась в свой столичный дом на несколько дней до отъезда в Париж, где ее превосходительство намеревается пробыть несколько недель; а оттуда дальнейшие ее следования неизвестны. Так по крайней мере сообщают нам фешенебельные газеты, которым известно все фешенебельное, и сообщают в отраду жителям Парижа. Говорить об этом иначе, было бы не фешенебельно. Миледи Дэдлок находилась, (как она в дружеской беседе выражается) в своей линкольншэйрской "резиденции". В Линкольншэйре сделалось наводнение. Свод каменного моста в парке сначала подмыло, а потом и совершенно смыло. Близлежащие низменные поля, на полмили в ширину, покрылись водой. Печальные деревья представляли в этих огромных лужах маленькие островки, и гладкая поверхность воды в течение целого дня испещрялась крупными каплями дождя. "Резиденция" миледи Дэдлок казалась чрезвычайно скучною. Погода, в продолжение многих дней и ночей, была такая дождливая, что деревья, по-видимому, промокли насквозь; легкие удары и надсечки топора лесничего, подчищавшего аллеи в парке, не производят резкого звука и срубленные сучья не трещат при их падении. Мокрые олени покидают топкие болота, служившие им пастбищем. Звук винтовочного выстрела теряет в влажном воздухе свою пронзительность, и дым, в виде маленького облачка, медленно стелется по зеленой, покрытой кустарником отлогости, составляющей отдаленный план в картине падающего дождя. Вид из окон собственной комнаты миледи Дэдлок не представляет никакого разнообразия: он по очереди то изменяется в картину свинцового цвета, то в картину, нарисованную китайской тушью. Вазы, поставленные на каменной террасе, в течение целого дня собирают дождь, тяжелые капли которого падают и в безмолвии ночи однообразно отдаются на широкой, каменной площадке, называемой с давних времен "Площадкой замогильного призрака". Небольшая церковь в парке в воскресные дни кажется мрачною, покрытою темными, отсырелыми пятнами; из дубовой кафедры выступают капли холодного пота, – и вообще по всей церкви распространяется удушливый, неприятный запах, как будто выходящий из могил покойных Дэдлоков. Миледи Дэдлок (мимоходом сказать, бездетная), взглянув, при начале сумерек, из окна своего будуара на домик привратника, в конце длинной аллеи, видит, как светлый огонек играет в решетчатых окнах этого домика, как серый дым вылетает из трубы его, видит ребенка, который, впереди какой-то женщины, бежит под

дождем навстречу мужчины, подходящего к воротам парка, – видит это все и приходит в самое неприятное расположение духа. Миледи Дэдлок говорит, что ей "скучно до смерти".

Вследствие этой-то скуки, миледи Дэдлок покинула свою линкольншэйрскую резиденцию, оставив ее в полное распоряжение дождя, грачей, кроликов, оленей, куропаток и фазанов. В то время, как управительница домом проходила по его старинным комнатам и записывала ставни, казалось, что портреты Дэдлоков, из которых одни навсегда оставили этот мир, а другие только на время покинули свое поместье, – прятались в отсыревшие стены, выражая на лицах своих упадок духа. Когда же Дэдлоки снова возвратятся в Линкольншэйр? – фешенебельная газета, этот злоедающий демон, которому известно все настоящее и прошлое, кроме одного только будущего, не может сказать утвердительно.

Сэр Лэйстер Дэдлок все еще только баронет, но такой могущественный баронет, каких не отыщется во всей Британии. Древность его фамилии может равняться только с древностью гор, окружающих его поместья, и беспредельно респектабельнее их. Он держится такого мнения, что мир мог бы существовать и без гор, но совершенно бы погиб без Дэдлоков. Он готов допустить, что природа – весьма хорошее произведение (немного простовато, это правда, если не обнесено решеткой), но произведение, которого совершенство вполне зависит от знаменитых фамилий. Это – джентльмен самых строгих правил, – джентльмен, чуждый всему мелочному и низкому и готовый скорее перенести смерть, какую бы вам ни вздумалось назначить, но не подать малейшего повода к упреку касательно его честности и прямодушия. Короче сказать, это – почтенный, твердый в своих правилах, честный, справедливый, великодушный человек, но вместе с тем человек, до высшей степени одаренный предрассудками и лишенный способности судить о предметах основательно.

Сэр Лэйстер ни больше, ни меньше, как двадцатью годами старше миледи. К нему уже не придет вторично шестьдесят-пятый, ни шестьдесят-шестой, ни даже шестьдесят-седьмой год. От времени до времени к нему являются припадки подагры. Походка его немного принуждена. Белокурые волосы, с заметной сединой, седые бакенбарды, тонкая сорочка с пышными манжетами, безукоризненной белизны жилет и синий фрак, постоянно застегнутый золотыми пуговицами, придают его наружности весьма почтенный вид. В отношении к миледи, при каком бы то ни было случае, он соблюдает крайнюю церемонность, выказывает величие своей особы, соблюдает особенную вежливость и личным достоинствам миледи оказывает беспредельное уважение. Его рыцарское внимание к миледи, несколько не изменившееся с тех пор, как он старался ей понравиться, составляет в нем единственную и притом легкую черту романтического настроения души.

И в самом деле, сэр Лэйстер женился на миледи по любви. В фешенебельном мире и теперь еще носится слух, что она происходила из неизвестной фамилии; впрочем, круг фамилии сэра Лэйстера был так обширен, что к распространению его он не предвидел особенной необходимости. Миледи одарена была красотой, гордостью, честолюбием, необузданной решимостью и здравым рассудком в такой степени, что этими качествами можно бы было оделить целый легион прекрасных леди. При помощи этих качеств, а также богатства и положения в обществе, миледи очень скоро взлетела наверх, – так что в течение весьма немногих лет миледи Дэдлок очутилась в центре фешенебельного мира и на самой вершине фешенебельного древа.

Каждому известен исторический факт, как горько плакал Александр Македонский, когда убедился, что для его побед не было других миров; по крайней мере каждый хоть немного, но должен быть знаком с этим замечательным фактом, потому что о нем упоминалось чрезвычайно часто. Миледи Дэдлок, завоевав свой мир, впала в такое расположение духа, которое не согревало, но, вернее, можно сказать, оледенило все ее окружавшее; какое-то истощенное спокойствие, изнуренное смирение, утомленное равнодушие, не возмущаемые ни участием в делах света, ни удовольствием, составляют трофеи ее победы. Она может назваться благовос-

питанною, в строгом смысле этого слова. Если б назавтра ей пришлось взнестись за облака, то, право, она улетела бы туда, не ощутив в душе ни малейшего восторга.

Миледи Дэдлок до сей поры не утратила своей красоты, и если эта красота перешла уже пределы пышной зрелости, зато не достигла еще степени увядания. Лицо у нее прекрасное, – лицо, которое в лучшую пору жизни можно было бы назвать скорее хорошеньким, нежели прекрасным; но, вместе с выражением своего фешенебельного величия, оно усвоило в некоторой степени классичность. Ее стан изящен во всех отношениях, а высокий рост придает еще больший эффект – не потому, чтобы она была действительно высока, но потому, что она "как нельзя правильнее сложена во всех своих статьях", как неоднократно и клятвенно утверждал достопочтеннейший Боб Стэблз, большой знаток и любитель лошадей. Этот же самый авторитет замечает, что она сформировалась вполне, и присовокупляет, в особенности в похвалу волос миледи, что по масти она из целого завода, по всей справедливости, может называться отличнейшею.

Увенчанная такими совершенствами, миледи Дэдлок оставила загородную резиденцию, благополучно прибыла (преследуемая фешенебельной газетой по горячим следам) в Лондон, с тем, чтоб провести в столичном своем доме несколько дней до отъезда в Париж, где миледи намерена пробыть несколько недель, и затем дальнейшее ее следование покрыто мраком неизвестности. В этот же самый грязный и мрачный вечер, о котором мы упомянули, в столичный дом миледи Дэдлок является старомодный, старолетний джентльмен, присяжный стряпчий и вдобавок прокурор Верховного Суда, – джентльмен, имеющий честь действовать в качестве советника фамилии Дэдлоков и в конторе которого хранится множество железных сундуков, украшенных снаружи этим именем, как будто нынешний баронет представлял собою очарованную монету фокусника, по прихоти которого она невидимо переносилась по всему собранию этих сундуков. С помощью дворецкого – настоящего Меркурия в пудре – старый джентльмен проведен был по отлогим лестницам, через огромный зал, вдоль длинных коридоров, мимо множества комнат, которые в течение летнего сезона бывают ослепительно-блестящи, а во все остальное время года невыразимо скучны, которые покажутся волшебным краем для кратковременного посещения, но настоящей пустыней – для постоянного в них пребывания, этот джентльмен, говорю я, проведен был Меркурием в верхние апартаменты и, наконец, представлен пред лицо миледи Дэдлок.

На взгляд старый джентльмен кажется весьма обыкновенным; но, занимаясь составлением аристократических брачных договоров и аристократических духовных завещаний, он приобрел известность и прослыл богачом. Он окружен таинственным кругом фамильных секретов и считается верным и безмолвным хранителем врученных ему тайн. Много есть великолепных мавзолеев, которые в течение столетий пускают корни в уединенные прогалины парков, между высаживаемыми деревьями и кустами папоротника, и в которых, быть может, схоронено гораздо менее тайн в сравнении с тем, что обращается в народе, или с тем, что заперто в груди мистера Толкинхорна. Это человек, как говорится, старой школы – выражение, обыкновенно означающее всякую школу, которая, по-видимому, никогда не была молодою. Он носит коротенькие панталоны, подвязанные на коленях лентами, носит подвязки и чулки. Одна особенность его черной одежды и его черных чулок – будь они шелковые или шерстяные – состоит в том, что ни та, ни другие не имеют лоску. Безмолвный, скрытный, мрачный, – и одежда его вполне соответствует ему. Он никогда не вступает в разговор, если предмет разговора не касается его профессии и если в разговоре не требуют его советов. Его нередко можно найти, молчаливого, но совершенно как в своем собственном доме, за банкетами знаменитых загородных домов и вблизи дверей аристократических гостиных, относительно которых фешенебельная газета всегда бывает особенно красноречива. Здесь каждый знает его, здесь половина английских пэров останавливается перед ним, чтобы сказать: "как вы поживаете, мистер Тол-

кинхорн?" Мистер Толкинхорн принимает эти приветы с серьезным, важным видом и погребает их в груди своей, вместе с другими заветными тайнами.

Сэр Лэйстер Дэдлок находится в одной комнате с миледи и, судя по словам его, очень счастлив видеть мистера Толкинхорна. В наружности, взглядах и приемах мистера Толкинхорна есть что-то особенное, освященное давностью, всегда приятное для сэра Лэйстера, – и сэр Лэйстер принимает это за выражение покорности к своей особе, за дань в своем роде. Сэру Лэйстеру нравится одежда мистера Толкинхорна, и в этом также он видит что-то вроде дани своему высокому достоинству. И действительно, одежда мистера Толкинхорна в высшей степени заслуживает уважения: она напоминает собой вообще что-то ливрейное. Она выражает метр-д'отеля фамильных тайн и вместе с тем дворецкого при погребе Дэдлоков.

Думал ли хоть сколько-нибудь об этом сам мистер Толкинхорн? Быть может, да, – быть может, нет. Впрочем, это замечательное обстоятельство нетрудно объяснить всем тем, что только имеет связь с миледи Дэдлок, как с первейшей женщиной из своего класса, как с единственной предводительницей и представительницей своего маленького мира. Она считает себя за существо неисповедимое, совершенно выступившее из сферы обыкновенных смертных: такую по крайней мере она видит себя в зеркале, – и, действительно, в зеркале она кажется именно такою. Но, несмотря на то, каждая тусклая маленькая звездочка, которая обращается вокруг нее, начиная от горничной и до режиссера Итальянской Оперы, знает все ее слабости, все предрассудки, все недостатки, все прихоти и всю надменность: каждый окружающий ее, сделает такое верное определение, снимет такую аккуратную мерку с ее моральной натуры, какую снимает портниха с ее физических размеров; каждый из них знает, что от этой верности и аккуратности зависит едва ли не самый важный источник их существования. Понадобятся ли ввести новую моду в одежде, особый костюм, потребуются ли дать ход новой певице, новой танцовщице, новой форме бриллиантов, новому гиганту или карлику, нужно ли будет открыть подписку на сооружение нового храма или вообще сделать что-нибудь новое, – и, право, найдется множество услужливых людей из дюжины различных сословий и профессий, которых миледи Дэдлок считает ни более, ни менее, как за своих рабов, но которые вполне изучили ее и, если угодно, научат вас, каким образом должно поступить с миледи, как будто она для них все равно, что маленький ребенок, – которые в течение всей своей жизни ничего больше не делают, как только нянчат ее, которые, показывая вид, будто смиренно и со всею покорностью следуют за ней, водят за собой ее и всю ее свиту, – которые, поймав на крючок одного, на тот же крючок ловят всех и вытаскивают их, как Лемуэль Гулливер вытащил вооруженный флот лилипутов.

...Если вы хотите, сэр, обратиться к нашим, говорят ювелиры Глэйз и Спаркль, подразумеваемая под словом наши – миледи Дэдлок и других, – то не забудьте, что вам придется иметь дело не с обыкновенной публикой: вы должны прежде всего отыскать у наших слабую сторону, – а слабая сторона их находится вот там-то". – "Чтобы пустить в ход этот товар, джентльмены, говорят магазинщики Шин и Глось своим друзьям-фабрикантам: – вы должны пожаловать к нам, потому что мы знаем, откуда можно взять людей фешенебельных, и сумеем сделать ваш товар фешенебельным". – "Если вы хотите, сэр, чтобы эстамп лежал на столах высоких людей, с которыми я нахожусь в хороших отношениях, говорит книгопродавец мистер Сладдери: – или если вы хотите, сэр, поместить этого карлика или этого великана в домах моих высоких знакомых, если вы хотите приобрести для этого увеселения покровительство моих высоких знакомых, то, сделайте одолжение, сэр, предоставьте это мне; потому что я привык уже изучать колонновожатых моих высоких знакомых, и, смею сказать вам, без всякого тщеславия, что могу повернуть их вот так... "вокруг пальца": и действительно, мистер Сладдери, как честный и прямой человек, говорил это без всяких преувеличений.

Из этого можно заключить, что хотя мистер Толкинхорн и показывал вид, будто не знает, что происходило в настоящее время в душе Дэдлока, но весьма вероятно, что он знал.

– Что скажете, мистер Толкинхорн? Верно, дело миледи снова представлялось канцлеру? – спросил сэр Лэйстер, протягивая руку адвокату.

– Да, милорд, представлялось, и не далее, как сегодня, – отвечал мистер Толкинхорн, делая один из своих скромных поклонов миледи, которая сидит на софе перед камином, прикрывая лицо свое веером.

– Бесплезно было бы спрашивать, – говорит миледи, с тем сухим, скучным выражением в лице, которое она вывезла с собой из загородной резиденции, – бесплезно было бы спрашивать, сделано по этому делу что-нибудь или нет.

– Да, миледи, сегодня ровно ничего не сделано, – отвечает мистер Толкинхорн.

– И никогда не будет сделано, – замечает миледи.

Сэр Лэйстер не представляет ни малейшего возражения против нескончаемого процесса, производимого в Верховном Суде, это был медленный, сопряженный с огромными издержками, британский, конституционный процесс. Само собою разумеется, что сэр Лэйстер не принимал живого участия в тяжёлом деле, – а роль, которую миледи разыгрывала в этом деле, составляла единственную собственность, принесенную ею в приданое милорду. Сэр Лэйстер имел неясное убеждение, что для его имени, для имени Дэдлоков быть замешанным в каком-нибудь тяжёлом деле и не находиться во главе того дела было бы самым забавным обстоятельством. Впрочем, он питает к Верховному Суду совершенное уважение, несмотря даже на то, что по временам замечались в нем медленность в оказании правосудия и пустая, не заслуживающая внимания путаница; он уважал его как особенное нечто, которое, вместе с разнообразным множеством других нечто, изобретено человеческой мудростью для прочного благоустройства в мире всего вообще. И во всяком случае сэр Лэйстер был твердо убежден, что подтверждать выражением своего лица какие бы то ни было неудовольствия относительно суда было бы то же самое, что поощрять какое бы то ни было лицо из низшего сословия к возвышению его на каком бы то ни было поприще.

– Сегодня, миледи, ничего не было сделано, – говорит мистер Толкинхорн, – но так как к вашему делу присоединились новые показания, так как эти показания довольно кратки, так как я держусь многотрудного правила передавать моим клиентам, с их позволения, все новости, какие будут открываться при дальнейшем производстве дела (мистер Толкинхорн, как видно, человек весьма осторожный: он не принимает на себя ответственности более того, чего требует необходимость), и, наконец, так как я вижу, что вы отправляетесь в Париж, поэтому я и принес в кармане сегодняшние показания.

(Мимоходом сказать, сэр Лэйстер также отъезжал в Париж; но фешенебельные газеты восхищались отъездом одной только миледи).

Мистер Толкинхорн вынимает из кармана бумаги, просит позволения положить их на стол на том месте, подле которого покоился локоть миледи, надевает очки и, при свете отененной лампы, начинает читать:

"– Заседание Верховного Суда. По тяжёлому делу между Джоном Джорндисом..."

На этом слове миледи прерывает чтение мистера Толкинхорна и просит избавить ее по возможности от всех ужасов приказных формальностей.

Мистер Толкинхорн бросает взгляд через очки и начинает чтение несколькими строками ниже; миледи беспечно и с видом пренебрежения напрягает свое внимание. Сэр Лэйстер, в огромном кресле, посматривает на каминный огонь и, по-видимому с величайшим удовольствием, вслушивается в присяжные выражения, повторения и многоглаголания, составляющие в своем роде национальный оплот. Каминный огонь, на том месте, где сидит миледи, разливает теплоту чрезмерно сильно; веер прекрасен на вид, но не слишком полезен, – драгоценен по своей работе, хотя и очень мал. Миледи, переменив свое место, останавливает взор на деловых бумагах, наклоняется, чтоб взглянуть на них поближе, смотрит на них еще ближе и, под влиянием какой-то непонятной побудительной причины, делает неожиданный вопрос:

– Кто писал эти бумаги?

Мистер Толкинхорн, изумленный одушевлением миледи и необыкновенным тоном ее голоса, внезапно прерывает чтение.

– Неужели это и есть тот почерк, который у вас называется канцелярским? – спрашивает миледи, пристально и с прежней беспечностью взглянув в лицо адвоката и играя веером.

– Нет, миледи: было бы несправедливо с моей стороны подтвердить ваш вопрос, – отвечает мистер Толкинхорн, рассматривая почерк. – Вероятно, сколько я могу судить, что канцелярский почерк этого письма образовался уже после основательного изучения каллиграфии. Но позвольте узнать, миледи, к чему этот вопрос?

– Ни для чего больше, как для разнообразия в этой невыносимой скуке. Продолжайте, пожалуйста!

И мистер Толкинхорн снова приступает к чтению. Жар от каминного огня становится сильнее; миледи закрывает веером лицо. Сэр Лэйстер дремлет. Но вдруг он вскакивает с места и торопливо восклицает:

– Э, что вы говорите?

– Я говорю, – отвечает мистер Толкинхорн, в свою очередь, вставая с места, – я боюсь, что леди Дэдлок нездорова.

– Со мной только обморок, едва внятным голосом произносит миледи Дэдлок, – губы ее побелели, – со мной необыкновенная слабость, очень похожая на слабость предсмертную. Не говорите со мной. Позвоните в колокольчик и снесите меня в мою комнату.

Мистер Толкинхорн удаляется в соседнюю комнату, звонит в колокольчик; шарканье ног и топот шагов долетают до него, и наконец водворяется безмолвие. Спустя несколько минут дворецкий приглашает мистера Толкинхорна пожаловать в прежнюю комнату.

– Миледи теперь лучше, – замечает сэр Лэйстер, предлагая адвокату садиться и продолжать чтение для него одного. – Я очень испугался. До этой минуты я не знал, чтобы с миледи делались обмороки. Впрочем, удивляться тут нечему: погода такая несносная, и притом же миледи, действительно, соскучилась до смерти в нашем поместье.

III. Успех

Мне известно, что я не большой руки умница, и потому не удивительно, что приступить к началу писанья этих страниц мне стоило большого труда. Я всегда знала это. Помню, когда была еще очень маленькой девочкой, как часто, оставаясь наедине с моей куклой, я обращалась к ней с следующими словами: «Послушай, миленькая моя Долли, моя ненаглядная куколка! Ведь ты знаешь, я не умна, – ты знаешь это очень хорошо и потому должна быть терпелива со мной!» И после этих слов моя миленькая Долли обыкновенно помещалась в огромное кресло и, прислонясь к спинке этого кресла, с своим прекрасным личиком и розовыми губками, устремляла на меня взоры... Впрочем, не столько на меня, я думаю, сколько вообще на ничто, между тем, как я деятельно занималась рукоделем и сообщала ей все тайны души моей, – все до одной.

Неоцененная моя старая куколка! Я была такое робкое маленькое создание, что кроме нее ни перед кем другим не решалась раскрыть свои губы, не смела открыть свое сердце. Я едва не плачу при одном воспоминании, каким утешением, какой отрадой служила для меня эта куколка, когда, вернувшись из школы, я убегала наверх в свою комнату и восклицала: «О, дорогая моя, верная, преданная мне Долли! Я знаю, что ты ждешь меня!» И вслед за тем я опускалась на пол, облокачивалась на ручку кресла, в котором сидела моя Долли, и рассказывала ей все, что заметила с минуты нашей разлуки. Я одарена была, в некоторой степени, наблюдательным взглядом, не слишком быстрым, о нет! я молча замечала всё, что происходило перед моими глазами, и старалась усвоить это все, понять его лучше. И понятия мои ни под каким видом не были быстрые. Когда я люблю кого-нибудь, и люблю очень нежно, только тогда, кажется, и проясняются и светлеют мои понятия. Но и в этом предположении скрывается, быть может, одно только мое тщеславие.

Основываясь на моих самых ранних детских воспоминаниях, я, как какая-нибудь принцесса в волшебных сказках, – только принцесса не очарованная, – получила первоначальное воспитание от крестной моей матери. По крайней мере я не иначе звала мою благодетельницу, как только под этим названием. Это была предобрая, добрая женщина! Она ходила в церковь три раза в каждый воскресный день, ходила на утренние молитвы по средам и пятницам и не пропускала ни одной назидательной проповеди, в каком бы то ни было месте. Она была очень хороша собой, и если б только улыбнулась когда-нибудь, то, право, была бы похожа на ангела (по крайней мере, я всегда была такого мнения); но, к сожалению, моя крестная мать никогда не улыбалась. Она постоянно носила на лице своем угрюмый, грозный вид. В душе своей она была до такой степени добра, как казалось мне, что злоба и порочность других людей заставляли ее хмуриться в течение всей своей жизни. Я замечала в себе такое различие от моей крестной матери, даже при всем различии, какое только можно допустить для ребенка и женщины, я чувствовала себя такою жалкою, такою ничтожною, такою отчужденною, что никогда не могла быть откровенна с ней... мало того: никогда не могла любить ее так, как бы хотелось мне. Одна мысль об ее прекрасных качествах и моей недостойности сравнительно с нею всегда пробуждала в душе моей самые горькие, печальные чувства, и при этом случае как пламенно желала бы я иметь лучшее сердце, и часто, очень часто рассуждала об этом с моей неоцененной Долли! Но, несмотря на то, я никогда не любила моей крестной матери так, как мне следовало любить ее, и так, как я, судя по чувствам моим, должна бы полюбить ее, если б даже была и лучшей девочкой.

Все это, смею сказать, как-то особенно располагало меня к той робости и отчуждению, которых не было во мне от природы, и прилепляло меня к моей Долли, как к единственной подруге, перед которой свободно могла я открывать свои чувства. Вероятно, этому чрезвы-

чайно много способствовало одно обстоятельство, случившееся в то время, когда я была еще очень маленьким созданием.

Я никогда и ничего не слышала о моей матери, – ничего не слышала и об отце. Впрочем, душевное влечение к моей матери было во мне гораздо сильнее, чем к отцу. Сколько припоминаю теперь, я никогда не носила траурного платья, мне никогда не показывали могилы моей матери, не говорили даже, где была эта могила. Меня ни за кого больше из родных не учили молиться, как за одну только крестную мать. Не раз обращалась я за разрешением моих недоумений к миссис Рахель, нашей единственной в доме служанке (другой очень доброй женщине, но чрезвычайно строгой ко мне); но каждый раз, как я, ложась в постель, заводила речь об этом предмете, миссис Рахель брала мою свечку и, сказав мне холодным тоном: «Спокойной ночи, Эсфирь!», уходила из комнаты и оставляла меня моим размышлениям.

Хотя в ближайшей школе, где я училась в качестве вольноприходящей, находилось всего только семь девочек, и хотя все они называли меня маленькой Эсфирью Соммерсон, но ни с одной из них я не была в дружеских отношениях. Конечно, все они были старше меня – я была моложе каждой из них многими годами – но кроме различия в возрасте я отличалась от них и тем, что все они были гораздо умнее меня и знали обо всем гораздо больше моего. Одна из них, на первой неделе моего появления в школе – я очень свежо сохранила это в памяти – пригласила меня, к беспредельной моей радости, к себе в дом, на маленький праздник. Но моя крестная мать написала холодный отказ на это приглашение и я осталась дома. Кроме классов я нигде не отлучалась из дому, – нигде и никогда.

Был день моего рождения. Для других в школе этот день был праздничным днем, но для меня – никогда. Другие в этот день, судя по разговорам моих школьных подруг, веселились в своем доме, но я – никогда. День моего рождения был для меня самым печальным днем из целого года.

Я уже сказала, что, если только тщеславие не вводит меня в заблуждение (а может статься, что я очень тщеславна, вовсе не подозревая того; да и действительно я не подозреваю), я уже сказала, что понятия мои оживлялись во мне вместе с тем, как к душе моей пробуждалось чувство любви. Я имела очень нежный характер и, быть может, все еще чувствовала бы боль в душе моей, если б эта боль повторялась несколько раз с той язвительностью, какую ощущала я в памятный день моего рождения.

Кончился обед; скатерть со стола была убрана. Крестная мать и я сидели за столом, перед камином. Часовой маятник стучал, огонь в камине трещал; других звуков не было слышно в комнате, даже в целом доме, – уж я и сама не помню, с какой давней поры. Случайно я отвела взоры мои от рукоделья и, робко взглянув в лицо крестной матери, увидела, что она угрюмо смотрела на меня.

– Гораздо было бы лучше, малютка Эсфирь, – сказала она, – если б ты никогда не знала дня своего рождения; лучше было бы, если б ты совсем не родилась на белый свет.

Для меня довольно было этих слов. Я залилась горькими слезами.

– Дорогая моя крестная мама! – говорила я сквозь слезы. – Скажите мне, ради Бога, скажите мне, неужели моя маменька скончалась в день моего рождения?

– Нет, – возразила она, – но, дитя, никогда не спрашивай меня об этом!

– Нет, ради Бога, скажите мне что-нибудь о ней, – скажите мне теперь, моя добрая крестная мама, – пожалуйста скажите! Скажите, что такое я сделала ей? Каким образом лишилась ее? Почему я так отличаюсь от других детей, и почему я виновата в том? О, скажите мне! Нет, нет, не уходите отсюда, моя крестная мама! Умоляю вас, поговорите со мной!

В эту минуту испуг взял верх над горестью, и я, вцепившись в платье крестной матери, упала перед ней на колени. До этой минуты она непрерывно повторяла: «Пусти меня, пусти!» – но теперь стала как вкопанная.

Мрачное лицо крестной матери имело такую власть надо мной, что в один момент остановило порыв мой. Подняв вверх дрожащие ручки, чтоб сжать ее руки или со всею горячностью души умолять ее прощения, при встрече с ее взглядом я вдруг опустила их и прижала к моему маленькому трепещущему сердцу. Она подняла меня, опустилась в свое кресло, поставила меня перед собой и, как теперь вижу ее нахмуренные брови и вытянутый ко мне указательный палец, – протяжным, тихим, навевающим на душу холод голосом сказала:

– Твоя мать, Эсфирь, позор для тебя, а ты – позор для нее. Наступит время, и наступит даже очень скоро, когда ты лучше поймешь мои слова и так почувствуешь всю силу их, как никто, кроме женщины, не в состоянии почувствовать. Я простила ее! – А между тем суровое выражение лица крестной матери нисколько не смягчалось. – Бог с ней! Я простила ей зло, которое она причинила мне. Я уже не говорю о нем ничего, хотя это зло так велико, что тебе никогда не понять его, никогда не поймет его кто-нибудь другой, кроме меня, страдальцы. Что касается до тебя, несчастный ребенок, осиротевший и обреченный поруганию с самого первого дня рождения, тебе остается только ежедневно молиться, да не падут на голову твою чужие преступления! Забудь свою мать и дай возможность всем другим людям забыть ее! Теперь отправляйся в свою комнату.

Когда я двинулась к выходу из комнаты – до этого я стояла как ледяная статуя – крестная мать остановила меня и прибавила:

– Покорность, самоотвержение, прилежание и трудолюбие – вот что составляет приготовления к жизни, которая началась с наброшенной на нее мрачной тенью. Правда твоя, Эсфирь, ты совсем не похожа на других детей, потому что не родилась, подобно им, в общей всему человечеству греховности. Ты поставлена совершенно в стороне от прочих.

Я ушла наверх в мою комнату, вскарабкалась на постель и приложила щечку Долли к моей щеке, облитой слезами, и потом, прижав эту одинокую подругу к себе на грудь, я плакала до тех пор, пока сон не сомкнул моих глаз. Несмотря на всю неопределенность, неясность понятия о моей печали, я знаю, однако же, что я не служила отрадой для чьего бы то ни было сердца, и что ни для кого на свете я не была тем, чем Долли была для меня.

О, Боже мой! Как много времени проводили мы вместе после того вечера, и как часто повторяла я кукле слова крестной матери, сказанные в день моего рождения, – как часто доверяла ей мое желание стараться, сколько позволят мои силы, исправить, загладить несчастье, с которым родилась и в котором, при всей моей невинности, я чувствовала себя виновною, – как часто обещала я вместе с моим возрастом быть трудолюбивою, довольною своею судьбой, преданной к ближнему, обещала делать добро ближним, и если можно будет, то приобрести любовь тех, в кругу которых стану обращаться! При одном воспоминании об этом я начинаю плакать, и полагаю, что подобные слезы вовсе нельзя приписать моей излишней чувствительности. Моя душа полна признательности, я счастлива, я весела, – но не могу удержаться, чтобы эти слезы не выступали на глаза.

Но вот я отерла их и снова, с спокойным духом, могу продолжать мой рассказ.

После этого памятного дня моего рождения я чувствовала, что меня и крестную мать разделило еще большее расстояние. Я убеждена была, что занимала место в ее доме, которое бы должно быть пусто, и убеждена была в этом так сильно, что доступ к крестной матери казался для меня еще труднее, хотя в душе я более прежнего была признательна к ней. То же самое я чувствовала в отношении к моим школьным подругам, то же самое чувствовала и к миссис Рахель, которая была вдова, и – говорить ли мне? – к ее дочери, которою она гордилась, и которая приезжала однажды на целых две недели! Я была все время в отчуждении, вела самую тихую, спокойную жизнь и старалась быть очень прилежною.

Однажды, в ясный, солнечный день, я возвратилась после полдня из школы, с книгами и портфелем, любуясь в продолжение всей дороги своею длинной тенью, провожавшей меня сбоку, и в то время, как, по обыкновению, легко поднималась по лестнице в свою маленькую

комнатку, крестная мать выглянула из гостиной и велела мне воротиться. В гостиной, вместе с крестной матерью, сидел незнакомец – явление весьма необыкновенное. Это был величественной наружности, с многозначительным выражением в лице джентльмен, весь в черном, с белым галстуком, огромной связкой золотых печатей при часах, в золотых очках и с огромным золотым перстнем на мизинце.

– Вот это и есть тот самый ребенок, о котором мы говорили, – вполголоса сказала крестная мать, и потом, снова приняв обыкновенный суровый тон, прибавила: – Вот это-то и есть Эсфирь.

Джентльмен поправил очки, чтоб взглянуть на меня, и сказал:

– Подойди сюда, дитя мое!

После взаимного пожатия рук он попросил меня снять шляпку, не спуская с меня глаз во все это время.

Когда я исполнила его желание, он произнес сначала протяжное: «А-а!», а потом еще протяжнее: «Да-а!», и затем, сняв очки свои и уложив их в красный футляр, откинулся на спинку кресел, повертел футляр между пальцами и в заключение выразительно кивнул головой моей крестной матери.

При этом сигнале крестная мать обратилась ко мне:

– Эсфирь, ты можешь идти теперь в свою комнату.

Сделав незнакомцу низкий реверанс, я удалилась.

Надобно полагать, что после этого события прошло более двух лет, и уже мне было около четырнадцати, когда, в один ужасный вечер, крестная мать и я сидели подле камина. Я читала вслух, а она внимательно слушала меня. Здесь следует заметить, что, по заведенному порядку, я должна была к девяти часам каждого вечера спускаться вниз и читать для крестной матери главу из Нового Завета. На этот раз я читала Евангелие от Св. Иоанна – о том, как Спаситель, нагнувшись над песком, чертил пальцем слова, когда ученики представили пред Него блудницу.

«...И когда ученики продолжали вопрошать Его, Он приподнялся и сказал им: тот из вас, кто не знает за собой греха, пусть первый бросит камень в нее!»

Дальнейшее чтение мое было остановлено на этом месте моей крестной матерью. Она быстро вскочила с места, приложила руку к голове и страшным голосом закричала слова, совершенно из другой части Библии:

«Бдите же, да не придет Он внезапно и не застанет вас спящими. То, что говорю Я вам, Я говорю всем. Бдите!»

Произнося эти слова, крестная мать пристально глядела на меня, но едва только выговорила последнее слово, как всею тяжестью своей повалилась на пол. Мне не нужно было призывать кого-нибудь на помощь: ее крик не только раздался по всему дому, но слышен был даже на улице.

Крестную мать уложили в постель. Она пролежала больше недели. В течение этого времени наружность ее очень мало изменилась. Прекрасное хмуренье бровей, которое так хорошо мне было знакомо, ни на минуту не покидало ее лица. Много и много раз, днем и ночью, приклонившись к самой подушке, на которой лежала страдалница, чтобы шепот мой был внятнее, я целовала ее, благодарила ее, молилась за нее, просила ее благословить меня и простить, в чем я виновата перед ней, – умоляла ее подать мне хоть малейший признак, что она узнает или слышит меня. Но все было тщетно. Ее лицо упорно сохраняло свою неподвижность. До последней минуты ее жизни, и даже несколькими днями позже, ее нахмуренные брови нисколько не смягчались.

На другой день после похорон моей доброй крестной матери, в нашем доме снова появился джентльмен в черном платье и в белом шейном платке. Миссис Рахель предложила

мне спуститься вниз, и я увидела черного незнакомца на том же самом месте, в том же самом положении, как будто после первого нашего свидания он не трогался с этого места.

– Меня зовут Кендж, – сказал он. – Вероятно, дитя мое, вы помните это имя, – Кендж и Карбой, из Линкольн-Иннского Суда.

Я отвечала, что помню его очень хорошо, и что уже имела удовольствие видеть его.

– Пожалуйста, садитесь... сюда, сюда... поближе ко мне. Миссис Рахель, кажется, мне не зачем говорить вам, которая была вполне знакома с делами покойной мисс Барбари, – мне не зачем говорить, что вместе с кончиной этой особы кончились и средства к ее материальному существованию, и что эта юная леди, после кончины своей тетушки...

– Моей тетушки, сэр!

– Конечно, тетушки; теперь нет никакой необходимости оставлять вас в неведении, особливо, когда в этом не предвидится существенной выгоды, – сказал мистер Кендж, весьма протяжным, мягким голосом. – Она ваша тетушка по факту, но не по закону. Не печальтесь, мой друг, не плачьте, не дрожите! Миссис Рахель, без всякого сомнения, наша юная подруга слышала что-нибудь и... о... о тяжбе Джорндис и Джорндис.

– Никогда не слышала, – отвечала миссис Рахель.

– Возможно ли? – продолжал мистер Кендж, подпернув очки. – Возможно ли, чтобы наша юная подруга (прошу вас не печалиться) никогда не слышала о тяжбе Джорндис и Джорндис!

Я отрицательно покачала головой, вовсе не постигая, что бы такое могло означать это название.

– Не слышать о Джорндис и Джорндис? – сказал мистер Кендж, взглянув на меня сквозь очки и тихо повертывая между пальцами красный футляр, как будто он ласкал какой-то одушевленный предмет. – Не слышать об одной из величайших тяжб Верховного Суда? Не слышать о Джорндис и Джорндис, об этом... об этом, так сказать, колоссе, воздвигнутом практикой Верховного Суда? Не слышать о тяжбе, в которой, смею сказать, каждое затруднение, каждое случайное обстоятельство, каждая мастерская увертка, каждая форма судопроизводства рассмотрены и пересмотрены по несколько тысяч раз? Это такая тяжба, которая, кроме нашего свободного и великого государства, больше нигде не может существовать. Смею сказать, миссис Рахель, – я страшно испугалась внезапному обращению его к миссис Рахель и приписывала это моей видимой невнимательности – смею сказать, миссис Рахель, что накопление судебных издержек по делу Джорндис и Джорндис простирается в эту минуту на сумму от 60 до 70 тысяч фунтов стерлингов!

Сказав это, мистер Кендж откинулся на спинку кресел. Я чувствовала себя совершенной невеждой в этом деле. Да и что же стала бы я делать? Для меня этот предмет был так незнаком, что я решительно ничего не понимала в нем.

– И она действительно никогда не слышала об этой тяжбе? – сказал мистер Кендж. – Удивительно, очень удивительно!

– Мисс Барбари, сэр, – возразила миссис Рахель, – мисс Барбари, которой душа витает теперь между серафимами...

– Я надеюсь, я уверен в том, – весьма учтиво сказал мистер Кендж.

– Мисс Барбари, сэр, желала, чтобы Эсфирь знала только то, что могло быть полезно для нее. И из всего воспитания, которое она получила, она больше ничего не знает.

– И прекрасно! – сказал мистер Кендж. – Судя по всему, это сделано было весьма благоразумно. Теперь приступимте к делу (слова эти относились ко мне). Мисс Барбари, ваша единственная родственница (то есть родственница по факту, ибо я обязан заметить вам, что законных родственников вы не имеете), – мисс Барбари скончалась, и как, по весьма натуральному порядку вещей, нельзя ожидать, чтобы миссис Рахель...

– О, сохрани Бог! – сказала миссис Рахель весьма поспешно.

– Конечно, конечно, – сказал мистер Кендж, подтверждая ее слова, – нельзя ожидать, чтобы миссис Рахель приняла на себя обязанность содержать вас (прошу вас не печалиться!), а потому вы находитесь в таком положении, что, по необходимости, должны принять возобновление предложения, которое, года два тому назад, поручено было сделать мисс Барбары, и которое, хоть и было тогда отвергнуто, но я тогда же видел, что этому предложению суждено возобновиться при более плачевных обстоятельствах, которые и случились весьма недавно. Конечно, я могу сказать с полной уверенностью, что в деле Джорндис и Джорндис я представляю человека в высшей степени человеколюбивого и в то же время весьма странного, но все же, мне кажется, я нисколько не повредил себе, употребив тогда некоторое напряжение моей предусмотрительности, – сказал мистер Кендж, снова откинувшись на спинку кресел и спокойно оглядывая нас обеих.

Казалось, что мистер Кендж находил беспредельное удовольствие в звуках своего собственного голоса. Я нисколько не удивлялась этому, потому что голос его был очень приятный и звучный и придавал особенную выразительность каждому произнесенному им слову. Мистер Кендж прислушивался к самому себе с очевидным удовольствием и иногда покачиванием головы выбивал такт своей собственной музыке или округлял сентенции легкими и плавными размахами руки. Он произвел на меня сильное впечатление, даже и в ту пору, когда я еще не знала, что он образовал себя по образцу какого-то великого лорда, своего клиента, и что его обыкновенно называли Сладкоречивым Кенджем.

– Мистер Джорндис, – продолжал мистер Кендж, – узнав о положении нашей юной подруги – я хотел бы сказать даже: о самом жалком положении – предлагает поместить ее в один из первоклассных пансионов, где ее воспитание даст ей всякий комфорт, где предупреждены будут все ее умеренные желания, где она вполне будет приготовлена к исполнению своих обязанностей в том положении жизни, к которому угодно будет Провидению призвать ее.

Мое сердце до такой степени было переполнено как словами мистера Кенджа, так и неподдельным чистосердечием, с которым произнесены были эти слова, – до такой степени, что, при всем желании выразить чувства свои, я не могла произнести и одного слова.

– Мистер Джорндис, – продолжал мистер Кендж, – не делает в этом случае никаких условий, кроме изъявления своих ожиданий, что наша юная подруга ни в какое время не решится оставить помянутое заведение без его ведома и согласия, что она со всем усердием посвятит себя приобретению тех полезных знаний, от применения которых к делу она вполне обеспечит свою будущность, что она будет подвигаться по стезе добродетели и чести, и что... и что... и так далее.

В эту минуту я сильнее прежнего чувствовала неспособность выражаться.

– Теперь посмотрим, что скажет на это наша юная подруга, – продолжал мистер Кендж. – Подумайте хорошенько, не торопитесь отвечать. Я могу подождать вашего ответа. Но главное – не торопитесь.

Что именно хотело отвечать осиротевшее создание на подобное предложение, мне не нужно повторять. Что отвечало оно, я могла бы сказать без всякого труда, если б только это стоило того. Что оно чувствовало и что будет чувствовать до последней минуты жизни, я никогда не могла бы выразить.

Это свидание случилось в Виндзоре, где, сколько мне помнится, я провела ранние дни моей жизни. В тот памятный день я оставила Виндзор и, обильно снабженная всеми необходимостями, отправилась, внутри почтовой кареты, в Ридинг.

Миссис Рахель была слишком добра, чтобы предаваться при разлуке излишнему волнению; но зато я была слишком уж чувствительна и плакала горько. Я воображала, что после столь многих лет, проведенных в одном доме, мне бы следовало знать миссис Рахель гораздо лучше, и что в эти годы я должна бы, кажется, приобрести ее любовь по крайней мере настолько, чтоб могла пробудить в ее душе чувство сожаления. Она только подарила меня одним холодным

прощальным поцелуем, который упал мне на лоб, как талая капля с каменного портика. День был очень морозный. Я чувствовала себя такою несчастною, так сильно упрекала себя, что после этого поцелуя я прильнула к ней и с полным убеждением обвиняла себя в том, что она простилась со мной так хладнокровно.

– Нет, Эсфирь! – возражала она. – Это не вина твоя, но твое несчастье.

Карете следовало подъехать к маленькой калитке нашего палисадника. Мы не выходили из дому, пока не услышали стука ее колес, и таким образом я простилась с миссис Рахель под влиянием весьма прискорбного чувства. Она воротилась домой, не дождавшись, когда уложат мой багаж наверху кареты, и заперла за собой дверь. До тех пор, пока дом наш не скрылся из виду, я сквозь слезы смотрела на него в окно кареты. Крестная мать оставила миссис Рахель все богатство, которым она обладала. Все ее имущество назначено было к аукционной продаже, – и каминный ковер с букетами роз, который всегда казался мне драгоценнейшею вещью в мире, был вывешен на двор на мороз и снег. Дня за два до отъезда, я завернула мою неоцененную куклу в ее собственную шаль и преспокойно уложила ее – мне стыдно даже признаться в том – в землю под деревом, которое, в летнюю пору, бросало в окно моей комнатки прохладную тень. Кроме канарейки, которую я везла с собой в клетке, у меня не оставалось больше ни одной подруги в целом свете.

Когда дом наш совершенно скрылся из виду, я села в переднем месте кареты, на подушке, опущенной довольно низко. В ногах моих стояла птичья клетка, укутанная в солому. Для развлечения я стала поглядывать в окно, которое для моего роста было поднято очень высоко. Я любовалась деревьями, покрытыми инеем, любовалась полями, сглаженными и убеленными вчерашним снегом, любовалась солнцем, которое казалось раскаленным, но нисколько не грело, любовалась льдом, темным как металл, с которого любители катанья усердно сметали выпавший снег. На противоположном конце кареты сидел джентльмен, укутанный в бесчисленное множество шарфов и платков и казавшийся мне человеком огромнейших размеров; впрочем, он, так же как и я, смотрел в другое окно и вовсе не обращал на меня внимания.

Я вспоминала о моей покойной крестной матери, о страшном вечере, когда я читала для нее главу из Нового Завета, об ее нахмуренных бровях и суровом неподвижном выражении лица, с которым она лежала в постели, размышляя о незнакомом месте, в которое отправлялась, о незнакомых людях, которых встречу в этом месте, представляла себе, на кого эти люди похожи, догадывалась, о чем они будут говорить со мной, – как вдруг незнакомый голос внутри кареты заставил меня вздрогнуть в невыразимом ужасе.

– Кой черт! Вы плачете? – произнес этот голос.

Я до такой степени перепугалась, что совершенно потеряла голос и только шепотом могла спросить:

– Кто же плачет, сэр?

Без всякого сомнения, я догадалась, что этот голос принадлежал джентльмену в бесчисленном множестве шарфов и платков, хотя он все еще продолжал смотреть в окно.

– Конечно, вы, – отвечал он, обернувшись ко мне.

– Мне кажется, сэр, я не плакала, – произнесла я робким голосом.

– Вы и теперь плачете, – сказал джентльмен. – Взгляните сюда!

И он придвинулся ко мне с противоположного конца кареты, провел меховым обшлагом по моим глазам и показал мне, что обшлаг был мокрый.

– Вот видите, вы плачете, – сказал он, – или опять скажете, что нет?

– Плачу, сэр, – отвечала я.

– О чем же вы плачете? – спросил джентльмен. – Разве вы не хотите ехать туда?

– Куда, сэр?

– Как куда? Разумеется, туда, куда едете!

– О, нет, сэр, я еду туда с удовольствием.

– В таком случае и показывайте вид, что едете с удовольствием! – сказал джентльмен.

С первого раза он показался мне весьма странным, или по крайней мере то, что я видела в нем, было для меня чрезвычайно странно. До самого носу он укутан был в шарфы, но почти все лицо его скрывалось в меховой шапке, по сторонам которой опускались меховые наушники и застегивались над самым подбородком. Спустя немного времени я совершенно успокоилась и уже больше не боялась его. Поэтому я призналась ему, что действительно я плакала, – во-первых, потому, что вспомнила о потере крестной матери, а во-вторых, потому, что миссис Рахель, разлучаясь со мной, нисколько не печалилась.

– Проклятая миссис Рахель! – сказал джентльмен. – Пусть она улетит вместе с вихрем, верхом на помеле!

Теперь я не на шутку начинала бояться его и глядела на него с величайшим изумлением. Но в то же время мне казалось, что у него были приятные глаза, хотя он и продолжал бормотать что-то про себя довольно сердито и вслух произносить проклятия на миссис Рахель.

Спустя несколько минут, он распустил верхний свой шарф, который показался мне таким длинным, что можно было бы обернуть им всю карету, и потом опустил руку в глубокий боковой карман.

– Взгляните сюда! – сказал он. – В этой бумажке (которая, мимоходом сказать, была очень мило сложена), – в этой бумажке завернуто прекрасное пирожное с коринкою; одного салате. Тут же завернут маленький пирожок, испеченный во Франхару на целый дюйм, точь-в-точь, как жир на бараньей котлете (настоящая драгоценность, как по величине своей, так и по достоинству). И, как вы полагаете, из чего он приготовлен? Из печенки откормленных гусей. Вот так уж пирог! Посмотрим, как вы станете кушать их!

– Благодарю вас, сэр, – отвечала я, – благодарю вас, и надеюсь, что вы не обидитесь моим отказом... Мне кажется, что они слишком жирны.

– Вот тебе раз, срезала меня, – сказал джентльмен.

Но я решительно не поняла, что он хотел сказать этими словами, с окончанием которых пирог и пирожное полетели за окно.

После этого он уже не говорил со мной до самого выхода своего из кареты, в весьма недалеком расстоянии от Ридинга. Здесь он посоветовал мне быть доброй девочкой, учиться прилежно и на прощанье пожал мою руку. Должно сказать, что, вместе с его уходом, мне стало легче на душе. Мы расстались с ним у мильного столба. Впоследствии я часто гуляла около этого места, и никогда без того, чтобы не вспомнить о странном джентльмене и не понадеяться на встречу с ним. Однако ж, слабая надежда моя никогда не осуществлялась, а потом, с течением времени, я наконец совершенно забыла о нем.

Когда карета остановилась окончательно, в одно из окон ее взглянула какая-то леди, весьма опрятно и даже щегольски одетая, и сказала:

– Мисс Донни.

– Извините, мадам, – меня зовут Эсфирь Соммерсон.

– Совершенно справедливо, – сказала леди, – но меня зовут мисс Донни.

Только теперь я поняла, что под этим именем она рекомендовала мне свою особу, и потому я немедленно попросила извинения мисс Донни за мою ошибку и, по ее требованию, указала ей мои коробки. Под присмотром очень опрятной служанки весь мой багаж перенесен был в небольшую карету зеленого цвета, а затем мисс Донни, служанка и я поместились в ту же карету, и лошади помчались.

– Для вас, Эсфирь, все уже готово, – сказала мисс Донни, – и план ваших занятий составлен согласно с желаниями вашего опекуна, мистера Джорндиса.

– Согласно с желаниями кого... вы изволили сказать, мадам?

– Вашего опекуна, мистера Джорндиса, – повторила мисс Донни.

Это открытие поставило меня в такое замешательство, что мисс Донни подумала, что, вероятно, холод действовал на меня слишком жестоко, и потому дала мне понюхать спирту из своего флакона.

– А вы знаете, сударыня, моего... моего опекуна, мистера Джорндиса? – спросила я, после долгого колебания.

– Лично я с ним не знакома, – отвечала мисс Донни, – но знаю его очень хорошо чрез стряпчих по его делам, мистера Кенджа и мистера Карбоя. Мистер Кендж – человек превосходнейший во всех отношениях, – одарен необыкновенным даром красноречия; некоторые из его периодов поражают своим величием!

Я соглашалась, что слова мисс Донни были весьма справедливы, но, при моем крайнем смущении, не могла обратить на них особенного внимания. Быстрое прибытие к месту нашего назначения, – до того быстрое, что я не успела даже успокоиться, – еще более увеличивало мое замешательство; и я никогда не забуду того неопределенного вида, в каком казался мне в тот вечер каждый предмет в Зеленолиственном (так назывался дом мисс Донни).

Впрочем, я скоро привыкла к этому. В короткое время я так применилась к рутине Зеленолиственного, как будто жила в нем очень долго, как будто прежняя моя жизнь в доме крестной матери была для меня не действительностью, но минувшим, резко напечатленным в моей памяти сновидением. Ничто, кажется, не могло представлять собою такой точности, верности и порядка, какие установились в Зеленолиственном. Там каждая минута вокруг всего часового циферблата имела свое назначение, и все совершалось в назначенный момент.

Нас было двенадцать пансионеров и, кроме того, две сестры мисс Донни, близнецы между собой. Положено было, чтобы круг моего воспитания ограничился приобретением познаний, необходимых для занятия должности гувернантки; и таким образом меня не только учили всему, что преподавалось в пансионе, но вскоре поручили мне обучать других пансионеров. Хотя во всех других отношениях со мной обходились точно так же, как и с прочими, но это особенное отличие уже было сделано для меня с самого начала. Вместе с приобретением познаний мне должно было передавать эти познания другим в той же степени; так что в течение времени у меня явилось много занятий, но я всегда с особенным удовольствием исполняла их, тем более, что это исполнение с каждым днем увеличивало любовь ко мне моих маленьких подруг. Эта любовь наконец до того усилилась, что каждый раз, как только поступала в наш пансион новая ученица, какой-нибудь заброшенный, несчастный ребенок, она уже была уверена – не знаю только почему – найти во мне преданную подругу, и потому все новые пансионеры поручались моему попечению. Все они старались уверить меня, что я была добра и нежна; но для меня, напротив того, казалось, что они были добры и нежны. Я часто вспоминала о твердой решимости, сделанной мною в помянутый день моего рождения, и именно: стараться быть трудолюбивой, преданной своей судьбе, довольной своим положением, быть чистосердечной, оказывать добро ближнему и всеми силами снискивать любовь тех, в кругу которых буду находиться, и, право, мне даже становилось стыдно при одной мысли, что я делала так мало, а снискала очень, очень много.

Я провела в Зеленолиственном шесть счастливых лет, – шесть лет невозмутимого спокойствия. Здесь, благодаря Всевышнего, в день моего рождения я ни разу не встречала на окружающих меня лицах того выражения, которое говорило бы мне, что лучше было бы, если б я никогда не являлась на Божий свет. С каждым наступлением этого дня передо мной являлось такое множество существенных выражений искренней и нежной преданности ко мне, что моя комната пленительно украшалась ими от одного нового года до другого.

В течение этих шести лет я никуда не отлучалась из Зеленолиственного, исключая только на кратковременные визиты к ближайшим соседям, и то в праздничные дни. После первого полугодия обе мисс Донни объявили мне, что, по их мнению, было бы весьма прилично с моей стороны написать к мистеру Кенджу и в нескольких строчках выразить ему мою призна-

тельность и счастье, которое я испытывала в новом образе моей жизни. Я весьма охотно приняла совет моих наставниц и под их руководством написала такое письмо. Следующая почта принесла мне на мое послание официальный ответ, в котором уведомляли меня о получении письма и в заключение прибавляли: «Мы обратили особенное внимание на ваше письмо и в надлежащее время сообщим его нашему клиенту». После этого мне часто случалось слышать, как мисс Донни и ее сестрица упоминали в своем разговоре о весьма аккуратной уплате денег за мое воспитание, и потому я поставила за правило писать подобные письма два раза в течение года. С возвращением почты я получала на мое письмо всегда один и тот же ответ, написанный одним и тем же красивым, размашистым почерком, от которого весьма заметно отличался почерк слов: «Кендж и Карбой»; я полагала, что это была собственноручная подпись мистера Кенджа.

Для меня кажется довольно странным и даже забавным быть в необходимости писать так много исключительно о себе: как будто это повествование должно служить моей биографией! Впрочем, моей маленькой особе в скором времени суждено будет занять место на заднем плане картины.

Прошло шесть счастливейших лет в Зеленолиственном (я повторяю это вторично), и в течение этого времени я видела в окружавших себя, как в зеркале, каждый период моего собственного возраста и все перемены, неизбежно связанные с этим возрастом, когда, в одно ноябрьское утро, я получила следующее письмо. Я не упоминаю здесь числа и года этого письма.

Старый Сквер, близ Линкольн-Иннского Суда.

По делу Джорндис и Джорндис.

«Милостивая государыня!

С разрешения Верховного Суда, наш клиент мистер Джорндис, имея намерение принять к себе в дом молодую леди, находившуюся до сего времени, как участница помянутого дела, под опекой Верховного Суда, желает доставить для нее образованную компаньонку и вследствие этого приказал уведомить вас, что он с удовольствием готов принять ваши услуги в качестве вышепомянутого лица.

Сообщая вам об этом, мы, с своей стороны, сделав надлежащие распоряжения, предлагаем вам прибыть в понедельник поутру, в восьмичасовом дилижансе, из Ридинга в Лондон, на улицу Пикадилли, и остановиться у винного погреба под вывеской «Белая Лошадь», где один из наших клерков будет ожидать вас и потом доставит вас в нашу контору.

Остаемся, милостивая государыня,

нашими покорнейшими слугами

«Кендж и Карбой».

Мисс Эсфирь Саммерсон.

О, никогда, никогда и никогда не забуду и того душевного волнения, какое произвело это письмо во всех моих маленьких подругах, во всем пансионе! Сколько трогательной нежности выражалось с их стороны в участии и сожалении ко мне! Сколько милосердия Небесного Отца, не позабывшего меня, проявлялось в том, что мой одинокий путь в этой жизни, – путь бесприютной сироты, был так гладок и легкий, и в том, что Он расположил ко мне такое множество юных, невинных сердец! О, все это и я с трудом могла перенести, – не потому, чтобы мне хотелось видеть в них, при разлуке со мной, как можно меньше печали – о, нет, я боюсь,

что совсем не потому, но удовольствие, которое я испытывала при этом, и скорбь, и гордость, и тайное грустное чувство, что сердце мое готово было разорваться и в то же время было полно беспредельного восторга.

Полученное письмо давало мне всего только пять дней на приготовление к отъезду. Можете представить себе, в каком положении находилось мое сердце, когда с каждой минутой, в течение этих пяти дней, мне представлялись новые доказательства любви и преданности, когда, наконец, с наступлением рокового утра меня водили по всем комнатам пансиона, с тем, чтобы я осмотрела их в последний раз, когда одни со слезами упрашивали меня: «Эсфирь, милая, добрая наша Эсфирь, проститесь со мной вот здесь, подле моей кровати, где вы прежде так ласково, так нежно говорили со мной!», когда другие умоляли только написать их имена моей рукой и прибавить к ним выражение моей любви, и они все окружили меня с прощальными подарками и, заливаясь слезами, говорили: «Что мы будем делать, когда наша неоцененная Эсфирь уедет от нас?», – когда я старалась высказать им, как кротки, как терпеливы и как добры все они были ко мне, и как благословляла и благодарила я каждую из них!

Можете представить, в каком положении находилось мое бедное сердце, когда обе мисс Донни столько же сокрушались при разлуке со мной, сколько и самая крошечная из всех пансионеров, когда горничные говорили мне: «Да благословит вас Небо, Эсфирь, куда бы вы ни уехали от нас!», и когда безобразный, хромоногий, старый садовник, который, казалось мне, в течение всех шести лет вовсе не знал о моем существовании, но теперь, едва переводя дух, догнал дилижанс, вручил мне маленький букет гераний и сказал, что я всегда была свет его очей... да, да! действительно он сказал мне эти самые слова!

Могла ли я, если ко всему этому прибавить обстоятельство, что когда, при проезде мимо маленькой приходской школы, меня поразило неожиданное зрелище бедных малюток, которые нарочно выстроились подле дома, чтобы послать мне прощальный привет, когда старый, убеленный сединами джентльмен и его почтенная супруга, которых дочь пользовалась моими наставлениями, которых дом я часто посещала, и которые считались в здешнем местечке самыми надменными людьми, когда и эти люди, забыв всякое приличие, кричали мне вслед: «Прощайте, Эсфирь, прощайте! Будьте счастливы, очень счастливы!», – могла ли я после этого не предаться молитве в карете и в немногих словах выразить всю благодарность, всю признательность моей души и повторить эти слова много и много раз!

Но, разумеется, я вскоре подумала, что, после всего сделанного для меня, мне не следовало привозить слезы туда, куда я отправлялась. Вследствие этого я подавила слезы и старалась успокоиться, беспрестанно повторяя: «Перестань, Эсфирь, это очень, очень дурно!» Наконец я успела развеселиться, хотя и не так скоро, как бы этому должно быть, и когда я прохлладила глаза мои лавандовой водой, то было уже время ожидать появления Лондона.

Впрочем, я находилась в таком положении, что не успели еще мы отъехать от Ридинга на десять миль, как я была убеждена, что мы въезжали уже в Лондон, а когда мы и в самом деле въехали, мне казалось, что никогда не доедем до него. Как бы то ни было, когда карета наша начала скакать по мостовой, и особенно, когда встречные экипажи, по-видимому, наезжали на нас, и когда мы сами, по-видимому, наезжали на встречные экипажи, я начинала полагать, что мы приближались к концу нашего путешествия. И действительно, вскоре после этого дилижанс остановился.

На тротуаре стоял молодой джентльмен, вероятно, нечаянно замазанный чернилами.

– Позвольте доложить, сударыня, что я из конторы Кенджа и Карбоя, из Линкольн-Иннского Суда, – сказал он, обращаясь ко мне.

– Очень приятно, сэр, – отвечала я.

Молодой джентльмен был очень обязателен, и в то время, как он, осмотрев сначала, весь ли багаж мой был снят с дилижанса, помогал мне сесть в наемную карету, я спросила его, нет

ли где-нибудь сильного пожара; потому что улицы до такой степени были заполнены густым темным дымом, что сквозь него почти ничего не было видно.

– О, нет, мисс, – отвечал он. – Это лондонская особенность.

Признаюсь, прежде я никогда не слыхала об этом.

– Это туман, мисс, – сказал молодой джентльмен.

– В самом деле? – сказала я.

Мы подвигались вперед медленно по самым грязнейшим и самым мрачнейшим улицам, какие когда-либо существовали в мире (так по крайней мере я думала), и среди такой ужасной суматохи, что я не могла надивиться, каким образом здешнее народонаселение сохраняет свой здравый рассудок. Наконец, мы миновали арку каких-то старинных ворот, внезапно очутились в тишине, проехали мимо безмолвного сквера и остановились в мрачном углу, подле крутой, каменной, с широкими ступенями лестницы, похожей на церковную лестницу. Да и в самом деле, недалеко отсюда находилось кладбище, обнесенное длинной колоннадой; поднимаясь по лестнице, я увидела из первого окна множество надгробных памятников.

Здесь находилась контора Кенджа и Карбоа. Молодой джентльмен провел меня мимо самой конторы в комнату Кенджа, где, мимоходом сказать, не было ни души, и весьма учтиво поставил для меня кресло подле яркого камина. После того он обратил мое внимание на маленькое зеркало, повешенное на гвозде с одной стороны камина.

– Быть может, мисс, вам угодно будет взглянуть на свой туалет после дороги, тем более, что вам предстоит явиться к канцлеру. Впрочем, я не говорю, чтобы это было совершенно необходимо, – учтиво сказал молодой джентльмен.

– Мне явиться к канцлеру? – спросила я, с крайним изумлением, которое, однако, в ту же минуту исчезло.

– Не беспокойтесь, мисс, – заметил молодой джентльмен, – вы явитесь для одной только формы. Мистер Кендж теперь в заседании. Он приказал вам свидетельствовать свое почтение, а между прочим, не угодно ли вам подкрепить себя (показывая на маленький столик, на котором стоял графин с вином и несколько бисквитов) и для препровождения времени взглянуть в газету (вручая мне ее)?

Вслед за тем он поправил огонь в камине и вышел из комнаты.

В комнате мистера Кенджа до такой степени было все странно, и тем страннее, что, несмотря на дневное время, она представляла из себя совершенную ночь, – свечи горели бледным пламенем, и вас окружали сырость и холод, – до такой степени было все странно в этой комнате, что, читая слова в газете, я вовсе не понимала их значения и находила, что перечитывала те же самые места по нескольку раз. Бесполезно было бы продолжать это занятие, и потому, оставив газету, я заглянула в зеркало, чтоб удостовериться в порядке своего туалета, бросила взгляд на комнату, вполнину освещенную, на истертые, покрытые пылью письменные столы, на кипы бумаг на столах и на шкафы, полные книг неизъяснимой наружности, хотя каждая из них во всякое время готова была сказать за себя что-нибудь дельное. После того я углубилась в размышления, думала, задумывалась, передумывала; уголь в камине горел, перегорал и потухал; свечи оплывали, горели тусклым, волнующимся огоньком, светильня нагорала, а снять было нечем, до тех пор, пока молодой джентльмен не принес грязных щипцов, и то уже спустя два часа после нашего приезда.

Наконец, явился и мистер Кендж. Я не заметила в нем никакой перемены; но он с своей стороны был очень изумлен моей переменой и, по-видимому, остался этим очень доволен.

– Так как вам, мисс Соммерсон, предназначено нами занять место компаньонки при одной молодой леди, которая находится теперь в кабинете лорда-канцлера, – сказал мистер Кендж, – поэтому мы считаем не лишним, если вы будете находиться теперь вместе с этой леди. Надеюсь, вы не будете чувствовать беспокойства или затруднения перед лицом великого канцлера.

– Нет, сэр, – отвечала я, – мне кажется, что это несколько не должно беспокоить меня.

И действительно, после минутного размышления, я не видела ни малейшей причины, которая бы могла потревожить меня.

Вслед за тем мистер Кендж подал мне руку, и мы пошли по длинной колоннаде, обогнули угол и вошли в боковую дверь. Длинным коридором мы пробрались, наконец, в весьма комфортабельную комнату, где, перед ярко пылающим, огромным и громко-ревушим каминным огнем, я увидела молодого джентльмена и молоденькую леди. Они стояли, облокотившись на экран, поставленный между ними и камином, и о чем-то говорили.

При нашем входе они взглянули на меня, и яркий свет камина, отражавшийся на молоденькой леди, показал мне в ней прелестную девушку, – девушку с такими роскошными золотистыми волосами, с такими нежными маленькими губками и с таким открытым, невинным, внушающим доверие личиком.

– Мисс Ада, – сказал мистер Кендж, – рекомендую вам мисс Sommerson.

Мисс Ада, чтоб встретить меня, выступила с радушной улыбкой и протянутой рукой; но, по-видимому, ее намерение в один момент изменилось, и, вместо обычного приветствия, она поцеловалась со мной. Короче сказать, она имела такую милую, неподдельную, пленительную манеру, что через несколько минут мы уже сидели в углублении окна и, при каминном огне, разливавшем розовый свет по всей комнате, говорили друг с другом так свободно и были так счастливы, как только могли быть счастливы две молоденькие девушки в первые минуты их знакомства.

О, какое тяжкое бремя спало с души моей! Я ощущала беспредельный восторг при одной мысли, что мисс Ада была откровенна со мной и обнаруживала свое расположение ко мне! Это было так мило, так великодушно с ее стороны и как нельзя более ободрило меня!

Молодой джентльмен, как говорила мисс Ада, был ее отдаленный кузен, и его звали Ричард Карстон. Это был юноша приятной наружности, с умным лицом и необыкновенным расположением к всегдашней веселости. Когда мисс Ада подозвала его к тому месту, где мы сидели, он стал подле нас и беседовал с нами как добрый, веселый и беспечный юноша. Он был очень молод, не более девятнадцати лет; было ли еще и столько, во всяком случае он казался двумя годами старше своей кузины. Как тот, так и другая были сироты, и, что всего неожиданнее и страннее было для меня, до этого дня они еще ни разу не встречались. Наша тройственная встреча в первый раз и в таком необыкновенном месте служила предметом нашего разговора, и мы говорили об этом без умолку, между тем как огонь, прекративший свое глубокое завыванье, подмигивал нам и щурил своими красными глазами, как бронзовый лев – по замечанию Ричарда поставленный перед входом в Верховный Суд.

Мы говорили вполголоса, потому что в комнату, где мы находились, беспрестанно входил и выходил из нее джентльмен в полном адвокатском облачении, в парике с косичкой, и при каждом его выходе и входе до нас долетал из отдаления глухой протяжный звук, который, по словам джентльмена, принадлежал одному из адвокатов, читавшему объяснение по нашей тяжбе перед лордом-канцлером. Наконец, он объявил мистеру Кенджу, что канцлер будет в кабинете через пять минут, и в скором времени мы услышали необыкновенный шум от множества ног. Мистер Кендж сказал нам, что заседание кончилось, и что лорд-канцлер находится уже в соседней комнате.

Почти вслед за этим, джентльмен в парике отворил дверь и попросил мистера Кенджа войти. При этом мы все отправились в соседнюю комнату. Мистер Кендж шел впереди, вместе с любимицей моей души... Я до такой степени усвоила это название, так привыкла к нему, что не могу удержаться, чтоб не выразить его на бумаге. В комнате, в которую мы вошли, сидел лорд-канцлер за столом подле камина; он одет был очень просто; его черная мантия, обшитая прекрасным золотым галуном, небрежно лежала на ближайшем к нему стуле. При

нашем входе милорд окинул нас пронизательным взглядом, выражая в то же время в своих приемах вежливость и благосклонность.

Джентльмен в парике разложил на столе милорда кипы бумаг. Милорд выбрал одну из кип и начал перелистывать.

– Мисс Клэр, – сказал лорд-канцлер. – Мисс Ада Клэр?

Мистер Кендж представил ее, и милорд предложил ей сесть рядом с ним. Что он восхищался ею и принимал в ней участие, это заметила я с первого раза. Мне больно стало подумать, что родительский кров такого прелестного юного создания заменялся этим сухим официальным местом. Великий канцлер, при всех его прекрасных качествах, при всем его величии, казался самой жалкой заменой той любви и гордости, которых можно ожидать от одних только кровных родителей.

– Джорндис, которого тяжба рассматривается в нашем суде, – сказал великий канцлер, продолжая перевертывать листы, – кажется, тот самый, что называется Джорндис из Холодного Дома?

– Точно так, милорд, – отвечал мистер Кендж. – Он называется Джорндис из Холодного Дома.

– Какое скучное название! – заметил канцлер.

– Но в настоящее время это не скучное место, – сказал мистер Кендж.

– И Холодный Дом, – спросил милорд, – находится...

– В Хартфордшире, милорд.

– Мистер Джорндис из Холодного Дома не женат?

– Нет, милорд, – отвечал мистер Кендж.

Наступило молчание.

– Здесь ли молодой мистер Ричард Карстон? – спросил великий канцлер, обращаясь к молодому джентльмену.

Ричард поклонился и выступил вперед.

– Гм! – произнес великий канцлер, перевернув еще несколько листов.

– Если смею напомнить милорду, – сказал мистер Кендж, весьма тихим голосом, – мистер Джорндис из Холодного Дома желает доставить умную и благовоспитанную компаньонку для...

– Для мистера Ричарда Карстона?

Мне послышалось (впрочем, я не говорю наверное), мне послышалось, что это сказал милорд тоже тихим голосом и улыбнулся.

– Для мисс Ады Клэр, милорд. И вот именно эту молодую леди: мисс Sommerson.

Великий канцлер бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс весьма грациозно:

– Мне кажется, что мисс Sommerson не находится в родственных связях ни с кем из тяжущихся лиц?

– Ни с кем, милорд!

Мистер Кендж не договорил еще этих слов, наклонился к милорду и начал что-то шептать. Милорд, устремив взоры свои на бумаги, внимательно слушал его, раза три кивнул головой, перевернул еще несколько листов и уже больше ни разу не взглянул на меня до нашего ухода.

После этого мистер Кендж и Ричард Карстон подошли к тому месту, где я стояла, оставив любимицу души моей (замечаете, что я снова не могу удержаться, чтоб не назвать ее этим именем!) сидеть подле великого канцлера. Милорд довольно тихо разговаривал с ней, спрашивал ее – как она мне впоследствии рассказала – хорошо ли она обдумала предложенное распоряжение, полагала ли она, что будет счастлива под кровлею Холодного Дома мистера Джорндиса, и почему именно она так полагала? Окончив это, он встал, величественно отпустил от себя

мисс Аду и в течение двух-трех минут занялся разговором с Ричардом Карстоном. Он говорил с ним не сидя, но стоя, и уже с большей свободой и меньшей церемонией, как будто он хотя и был великий канцлер, но знал, каким образом вызвать чистосердечие юноши.

– Очень хорошо! – сказал великий канцлер вслух. – Я отдам приказание. Сколько могу судить, мистер Джорндис из Холодного Дома выбрал очень хорошую компаньонку для молодой леди. Эти слова сопровождались взглядом, устремленным на меня, и, сколько позволяют обстоятельства, все вообще распоряжения сделаны превосходно.

Он отпустил нас с видимым удовольствием, и мы вышли из его кабинета как нельзя более обязанные ему за его ласковый и вежливый прием, чрез который, разумеется, он нисколько не терял своего достоинства, но, напротив, нам казалось, что он приобретал его.

Когда мы дошли до колоннады, мистер Кендж вспомнил, что ему нужно воротиться на минуту и спросить у милорда несколько слов, и он оставил нас в густом тумане, вместе с каретой великого канцлера и лакеями, ожидавшими его выхода.

– Ну, слава Богу! – сказал Ричард. – Одно дело кончено. Не скажете, мисс Sommerсон, куда мы отправимся теперь?

– А разве вы не знаете? – спросила я.

– Решительно не знаю.

– И вы тоже не знаете, душа моя? – спросила я Аду.

– Вовсе не знаю. А вы?

– Столько же знаю, сколько и вы.

Мы взглянули друг на друга, едва удерживаясь от смеха. Мы были похожи в эту минуту на сказочных детей в дремучем лесу! Как вдруг к нам подошла какая-то странная, небольшого роста старушка, в измятой шляпке и с ридикюлем в руке. Она присела перед нами и улыбнулась нам как-то особенно церемонно.

– О! – сказала она. – Да тут вся опека мистера Джорндиса. Очень, очень счастлива иметь эту честь! Признаюсь, для молодости, для надежды и для красоты это чудесный признак, когда они очутятся в здешнем месте и потом не знают, как выбраться из него.

– Сумасшедшая! – прошептал Ричард, вовсе не подозревая, что старушка услышит его.

– Правда, правда, молодой джентльмен: сумасшедшая, – подхватила она так быстро, что бедный Ричард сгорел от стыда, – я сама находилась под опекой; а тогда я не была сумасшедшей, – продолжала она, приседая низко и улыбаясь при конце каждой коротенькой сентенции. – У меня были и юность и надежда... я думаю, и красота. Теперь это все равно. Ни одно из этих трех прекрасных качеств не послужило мне в пользу, не спасло меня. Я имею честь присутствовать в суде, не пропуская ни одного заседания... присутствую с моими документами. Я ожидаю суда... то есть... дня Страшного Суда. Я сделала открытие, что шестая печать, о которой упоминается в Апокалипсисе, это – печать великого канцлера. Она уже давным-давно открыта! Пожалуйста, примите мое благословение!

В то время, как Ада начала обнаруживать страх, я, чтоб успокоить немного бедную старушку, сказала, что мы очень благодарны ей.

– Д-д-да-с, благодарны-с, – отвечала она, весьма жеманно. – Я воображаю, как вы благодарны. А вот и Сладкоречивый Кендж. У него есть свои документы! Как поживает ваше высокопочтение?

– Помаленьку, помаленьку. Пожалуйста, добрая душа моя, не беспокой молодых людей, не будь им в тягость, – сказал мистер Кендж, уводя нас по направлению к своей конторе.

– О, нет, ни под каким видом, – сказала полоумная старуха, продолжая следовать за нами около меня и Ады. – Сохрани меня Бог быть кому-нибудь в тягость! Я намерена передать им все мое имение; а это, мне кажется, не значит беспокоить их! Я ожидаю суда... то есть... ожидаю дня Страшного Суда. А знаете ли, для вас это чудный признак... Примите же мое благословение.

Она остановилась внизу крутой, с широкими ступенями, каменной лестницы. Поднявшись наверх этой лестницы, мы оглянулись назад и увидели, что старушка все еще стояла на том же месте и продолжала говорить, приседая и улыбаясь при каждой коротенькой сентенции.

– Юность, и надежда, и красота, и Верховный Суд, и Сладкоречивый Кендж... Ха, ха!.. Пожалуйста, примите же мое благословение!

IV. Телескопическая филантропия



Мистер Кендж, когда мы прибыли в его контору, объявил, что мы проведем ночь в доме миссис Джэллиби, и потом, обратившись ко мне, сказал, что, по его мнению, я непременно должна знать, кто такая эта миссис Джэллиби.

– Совсем нет, сэр, я ее не знаю, – возразила я. – Может быть, мистер Карстон... или мисс Ада...

Но нет, они решительно ничего не знали об этой леди.

– И в самом деле! Так, позвольте, я вот что скажу вам. Миссис Джэллиби, – сказал мистер Кендж, повернувшись к камину спиной и устремив свои взоры в пыльный, передкаминный ковер, как будто в узорах этого ковра была начертана биография миссис Джэллиби, – я должен вам сказать, что миссис Джэллиби весьма замечательная женщина, по необыкновенной силе своего характера и по тому еще, что она совершенно посвящает себя публичным предприятиям. Она посвящала себя, в разные периоды, бесконечному разнообразию публичных проектов и в настоящее время (пока внимание ее не обратилось на какой-нибудь другой предмет) посвятила себя африканскому проекту, имеющему целью всеобщее разведение кофейного дерева и учреждение, из излишнего народонаселения нашего отечества, счастливых колоний

на берегах африканских рек. Мистер Джорндис, всегда готовый помогать всякому предприятию, которое можно назвать добрым предприятием, – мистер Джорндис, к которому обращаются и которого уважают все филантропы, имеет, как мне кажется, весьма высокое понятие о миссис Джэллиби.

При этих словах мистер Кендж поправил свой галстук и взглянул на нас.

– А позвольте узнать, сэр, что за особа мистер Джэллиби? – спросил Ричард.

– А! о! Мистер Джэллиби, – сказал мистер Кендж, – мистер Джэллиби такая особа... такая особа... впрочем, мне кажется, вернее описания его особы нельзя представить, как только сказать вам, что он муж миссис Джэллиби.

– Это верно какая-нибудь диковинка, сэр, существо небывалое, – сказал Ричард шутливым тоном.

– Нет, я не говорю этого, – возразил мистер Кендж, весьма серьезно. – Тем более я не могу сказать этого, что вовсе не знаю мистера Джэллиби. Быть может, он и превосходный человек; одно только, он ужасно, так сказать, углублен... погружен в более блестящие качества своей жены.

После этого мистер Кендж объяснил нам, что так как дорога в Холодный Дом показалась бы нам в такую ночь крайне длинною, мрачною и скучною, и так как мы и без того уже проехали сегодня очень много, то мистер Джорндис сам предложил сделать это распоряжение, но что завтра до обеда к дверям дома мистера Джэллиби явится карета, которая и вывезет нас из Лондона.

Вслед за тем он позвонил в колокольчик, и в комнату вошел молодой джентльмен. Мистер Кендж, назвав этого джентльмена именем Гуппи, спросил его, отосланы ли вещи мисс Соммерсон «по принадлежности». Мистер Гуппи отвечал утвердительно и прибавил, что у подъезда уже давно дожидается карета отвезти и нас по принадлежности, если нам угодно.

– Мне остается только, – сказал мистер Кендж, прощаясь с нами пожатием руки, – выразить мое искреннее удовольствие (добрый день, мисс Клэр!), что распоряжения этого дня кончились (прощайте, мисс Соммерсон!), и мою искреннюю надежду, что это распоряжение непременно поведет всех, до кого оно относится, к счастью (очень рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон!), поведет к благополучию и к тем существенным выгодам, которые ожидают нас впереди! Гуппи, смотри, чтобы дорогие мои гости доехали туда благополучно.

– Где же это «туда», мистер Гуппи? – спросил Ричард в то время, как мы спускались с лестницы.

– Весьма недалеко отсюда, – отвечал мистер Гуппи, – это будет за домом Тавия; вы ведь знаете этот дом?

– Напротив, я утвердительно могу сказать: не знаю, потому что приехал сюда из Винчестера, и для Лондона – совершенно чужой человек.

– Это будет сейчас за угол, – сказал мистер Гуппи. – Мы сейчас завернем в Канцлерский переулок, проедем немного по улице Голборн и минут через пять будем на месте; словом сказать, это отсюда как рукой подать. – А вот и опять лондонская особенность, – не правда ли, мисс?

По-видимому, он очень восхищался этим выражением и употребил его, собственно, затем, чтоб подтрунить на мой счет.

– Да, туман все еще густой, – сказала я.

– Надобно надеяться, что он не тяжел для вас, – заметил мистер Гуппи, поднимая ступеньки кареты. – Напротив того, мне кажется, судя по вашей наружности, он производит на вас благотворное влияние.

Я знала, что мистер Гуппи хотел этими словами выразить мне комплимент, и потому, когда он захлопнул дверцы кареты и отправился на козлы, я от души посмеялась над тем, что

при его словах сильная краска выступила мне на лицо. Мы все трое смеялись над этим, шутиливо рассуждали о нашей неопытности и о Лондоне, как месте, совершенно незнакомом нам, до тех пор, пока карета наша не подъехала под какую-то арку, в узенькую улицу с высокими домами, подобную продольной цистерне для хранения тумана, и, наконец, к месту нашего ночлега. Около дома, у которого мы остановились, и на дверях которого красовалась полированная медная дощечка с надписью: Джэллиби, – около этого дома собралась толпа народа, но преимущественно ребятишек.

– Не испугайтесь! – сказал мистер Гуппи, заглянув в окно кареты. – Один из маленьких Джэллиби завяз головой в железной решетке.

– О, бедный ребенок! – вскричала я. – Пожалуйста, мистер Гуппи, выпустите меня поскорей!

– Сделайте одолжение, мисс, будьте осторожней, поберегите себя. Надобно вам сказать, что маленькие Джэллиби ни на минуту без проказ, – заметил мистер Гуппи.

Я отправилась прямо к ребенку, который был один из самых грязных маленьких несчастных созданий, каких когда-либо случилось мне встречать. Его лицо пылало; сам он, стиснутый по шее между двумя железными стойками, был очень перепуган и громко ревел, между тем как продавец молока и полицейский сторож, движимые чувством сострадания, старались освободить его из этого положения, тянули его за ноги, в том убеждении, что чрез это средство череп ребенка немного сожмется, и тогда успех их будет несомненный. Успокоив немного ребенка и увидев, что это был маленький мальчик с огромной головой, я подумала, что если в отверстие прошла голова, то непременно должно пройти и туловище, а потому предложила, как самое лучшее средство для спасения ребенка, протолкнуть его вперед. Это предложение было так радушно принято продавцом молока и полицейским, что несчастный мальчик непременно полетел бы вниз головой в глубокую яму, если б я не успела схватить его за рубашонку и если б в то же время Ричард и мистер Гуппи не успели пробежать через кухню и подхватить его снизу. Наконец, ребенок благополучно был поставлен на ноги; но, вместо благодарности, несчастный шалун принялся с исступлением бить мистера Гуппи палкой, которою до приключения своего катал по улице обруч.

Из всей толпы, окружавшей дом, никто, по-видимому, не принадлежал к этому дому, исключая женщины в деревянных башмаках, которая, при виде ребенка в опасном положении, совала в него из кухни метлой. Не знаю, с какой именно целью она поступала таким образом, – думаю, однако, что и она не знала. Из всего этого я заключила, что миссис Джэллиби не было дома, но можете представить мое положение, когда та же самая женщина явилась в коридоре, без башмаков, и, поднявшись впереди меня и Ады в заднюю комнату первого этажа, доложила о нашем приезде.

– Две молодые барышни приехали, миссис Джэллиби!

Поднимаясь по лестнице, мы встретили еще несколько детей, с которыми в потемках трудно было не столкнуться; и в то время, как мы представлялись миссис Джэллиби, один из бедных маленьких созданий упал с самого верха лестницы и пролетел, как мне слышалось, до самого низу, с величайшим стуком и криком.

Миссис Джэллиби, не обнаруживая ни легчайшей тени того беспокойства, которого мы не могли скрыть на наших лицах в то время, как голова несчастного ребенка возвещала о своем полете громким стуком о каждую ступеньку – а этих ступенек, как говорил впоследствии Ричард, считалось всего семь, кроме площадки – приняла нас с совершенным равнодушием. Она была недурна собой, невысокого роста, довольно полная женщина, от сорока до пятидесяти лет, с приятными глазами, хотя они и имели странную привычку смотреть в недостижимую даль. Как будто – я опять сошлюсь на выражение Ричарда – как будто ближе Африки другого они ничего перед собой не видели.

– Очень рада, что имею честь принять вас в моем доме, – сказала миссис Джэллиби приятным голосом. – При моем уважении к мистеру Джорндису, я не могу оставаться равнодушной к тем, в ком он принимает живое участие.

Мы выразили нашу благодарность и сели подле двери, на хромоногую, увечную софу. Миссис Джэллиби имела прекрасные волосы; но, при обширнейших занятиях по африканскому проекту, она никогда не убирала их. Шаль, слегка накинутая на плечи, упала на стул, когда миссис Джэллиби встала, чтобы встретить нас; и когда она снова возвращалась к стулу, мы не могли не заметить, что платье ее не сходилось сзади на несколько дюймов, и что открытое пространство было задернуто решеточкой из корсетных шнурков, точно как окно в летней беседке.

Комната, усыпанная различными бумагами и крайне стесненная огромным письменным столом, заваленным тем же самым материалом, который валялся на полу, была не только очень неопрятна, но и очень грязна. Все это по необходимости поражало орган нашего зрения, между тем как слухом мы провожали бедного ребенка, слетевшего с лестницы, как кажется, на кухню, где кто-то старался если не задуть его, то заглушить его рыдания.

Но что всего более поразило нас, так это изнуренная, болезненного вида, хотя ни под каким видом не простая девушка, которая сидела за письменным столом, грызла перо и, выпучив глаза, смотрела на нас. Мне кажется, никто еще не бывал перебрызган и перепачкан так чернилами, как эта девушка, и, начиная с ее взъерошенных волос до хороших ножек, которые уродовались истасканными, истертыми, изорванными и стоптанными на сторону атласными башмачками, ни одна вещь из ее наряда, до последней булавки, не имела надлежащего вида, не находилась в надлежащем месте.

– Вы застаете меня, мои милые, – сказала миссис Джэллиби, снимая нагоревшую свечильню с двух огромных свечей в жестяных подсвечниках, – свечей, от которых разливался по комнате сильный запах топленого сала (огонь в камине давно уже потух и на решетке камина ничего больше не было, кроме холодной золы, вязки дров и маленькой кочерги), – вы застаете меня, мои милые, за всегдашними занятиями и, вероятно, извините меня, если стану продолжать их. Африканский проект поглощает все мое время. Он вовлекает меня в огромную переписку с различными обществами, торговыми домами и частными лицами, которые пекутся о благоденствии своих единоземцев, и, признаюсь, с особенным удовольствием могу сказать, что это дело подвигается вперед. Мы надеемся, что на будущий год около этого времени от ста пятидесяти до двухсот здоровых семей будут возделывать кофе и просвещать туземцев из племени Борриобула-Ха, на левом берегу реки Нигера.

В то время, как Ада ничего не говорила, но только смотрела на меня, я решилась заметить, что это занятие должно быть очень приятно.

– И еще как приятно, если б вы знали! – сказала миссис Джэллиби. – Оно поглощает всю энергию моей души; но это ничего не значит, если я вижу впереди успех и если с каждым днем более и более удостоверяюсь в этом успехе. Знаете ли, мисс Соммерсон, меня немного удивляет, почему вы сами не вздумали обратить ваше внимание на Африку, сосредоточить ваши мысли над этой частью света...

Этот быстрый вопрос до такой степени был для меня неожиданным, что я решительно не знала, как мне принять его. Я намекнула что-то на тамошний климат.

– Прекраснейший климат во всем мире! – сказала миссис Джэллиби.

– В самом деле, сударыня?

– Могу вас уверить. Конечно, и там требуются маленькие предосторожности. Без предосторожности подите вы по Голборну, и через вас переедут. С предосторожностью идите вы по той же улице Голборн, и вас пальцем не заденут. Это же самое можно применить и к Африке.

– С этим я совершенно согласна, – сказала я.

Но, само собою разумеется, я соглашалась в этом с мнением о предосторожностях на улице Голборн.

– Не угодно ли вам просмотреть несколько замечаний, собственно, по этому предмету и вообще по всему африканскому делу? – сказала миссис Джэллиби, подавая нам кипу бумаг. – А я между тем кончу письмо, которое диктую теперь моей старшей дочери – моему домашнему секретарю...

Девушка, сидевшая за столом, перестала грызть перо и на наш поклон отвечала также поклоном, с полужастенчивым, с полуугрюмым видом.

– ...и тем заключаю на этот раз мои занятия, – продолжала миссис Джэллиби с сладенькой улыбкой, – хотя мои занятия, можно сказать, бесконечны... На чем остановились мы, Кадди?

– ...Свидетельствует свое почтение мистеру Суолло и просит... – сказала Кадди.

– ...и просит, – сказала миссис Джэллиби, продолжая диктовать, – уведомить ее касательно вопросительного письма по африканскому проекту.

– Ах, Пипи, ради Бога, не ходи сюда!

Пипи был тот несчастный ребенок (добровольно принявший на себя это название), который упал с лестницы, и который прервал корреспонденцию появлением своей особы с разбитым лбом, залепленным кусочком пластыря, и с очевидным намерением показать ушибы на ногах.

Ада и я не знали, что больше всего заслуживало сожаления – ушибы ли ребенка, или грязь, которой он был покрыт. Миссис Джэллиби не обратила особенного внимания на несчастного. Она только прибавила, с невозмутимым спокойствием, с которым она говорила вообще обо всем: «Уйди отсюда вон, негодный Пипи!», и снова устремила свои прекрасные глаза на Африку и снова приступила к диктовке. В это время, не думая прервать ее занятий, я решилась остановить бедного Пипи, выходявшего из комнаты, и взять его на руки. Казалось, эта ласка и поцелуи Ады очень изумили ребенка. Продолжая всхлипывать реже и реже, он совершенно успокоился и, наконец, заснул у меня на руках. Я до такой степени занялась маленьким Пипи, что совершенно упустила из виду подробное содержание африканского проекта, хотя общее впечатление этого проекта о громадной важности Африки и совершенной ничтожности всех других мест и предметов было таково, что мне стало стыдно за мое невнимание.

– Скажите пожалуйста, уж шесть часов! – сказала миссис Джэллиби. – А наш обеденный час назначен в пять. Я говорю только: назначен, потому, что мы обедаем в каком часу придется... Кадди, покажи мисс Клэр и мисс Sommerсон их комнаты... Быть может, вам угодно сделать какие-нибудь перемены в вашем туалете? Я знаю, что при моих занятиях вы извините меня... О, какой этот негодный мальчик! Сделайте одолжение, мисс Sommerсон, пустите его на пол!

Я попросила позволения держать его на руках, чистосердечно уверяя, что Пипи не делает мне ни малейшего беспокойства и труда, и вслед за тем снесла его наверх и положила на мою постель.

Аде и мне отведены были две верхние комнаты, между которыми находилась дверь. Обе они были чрезвычайно пусты и неопрятны. Занавеска у окна моей комнаты прикреплялась старой изломанной вилкой.

– Вам, вероятно, нужно горячей воды? – сказала мисс Джэллиби, которой взоры старались встретиться с рукомойником и старались тщетно.

– Не мешало бы, – сказали мы, – если только это не составит большого беспокойства.

– О, ни малейшего, – возразила мисс Джэллиби, – но дело в том, найдется ли у нас хоть сколько-нибудь горячей воды.

Вечер был такой холодный и комната имела такой сырой, болотный запах, что, должно признаться, мы находились в весьма жалком положении. Бедная Ада едва не плакала. Как бы то ни было, мы вскоре развеселились и деятельно занялись своим туалетом. Между тем воз-

вратилась мисс Джэллиби, с известием, что, к крайнему ее сожалению, горячей воды не отыскалось ни капли, что нигде не могут найти чайника, и что котел на плите оказывается негодным к употреблению.

Мы просили ее не беспокоиться и употребили всевозможную поспешность спуститься вниз к камину. В течение этого времени все маленькие дети собрались на площадке лестницы за дверями нашей комнаты, удивляясь небывалому феномену, по которому Пипи очутился на моей постели, и привлекали наше внимание к своим носам и пальцам, которым беспрестанно угрожала опасность быть прищемленными между дверями. Затворить дверь которой-либо комнаты не было возможности: на моем замке не было ни ключа, ни рукоятки, а на замке дверей, ведущих в комнату Ады, хотя и была рукоятка, но она так гладко вертелась во все стороны, что на самую дверь не производила желаемого действия. Вследствие этого я предложила всем детям войти в мою комнату, расположиться около стола и слушать сказку про «Красную Шапочку», которую вызвалась рассказывать им во время моего туалета. Дети исполнили это и были так тихи, как мышки, – в том числе и Пипи, который проснулся как раз к тому времени, когда в сказке является на сцену серый волк.

Спускаясь вниз, мы увидели на окне лестницы глиняную кружку с надписью: «Подарок с Торнбриджских минеральных вод»; в этой кружке плавала горящая свечка и тускло освещала коридор. В гостиной (которая соединялась с кабинетом миссис Джэллиби посредством открытой двери) мы застали молодую женщину с распухшим и закутанным в фланель лицом. Она усердно раздувала огонь в камине и задыхалась от сильного дыма, который так свободно разгуливал по комнате, что мы кашляли от него и плакали, и сидели с полчаса при открытых окнах, между тем как миссис Джэллиби распоряжалась африканскими письмами с невозмутимым спокойствием духа. На этот раз я от души радовалась ее многотрудным занятиям: они представляли Ричарду возможность рассказать нам, каким образом он умывал себе руки в паштетном блюде, каким образом на его туалетном столике очутился чайник вместо умывальника, – и Ричард представлял нам это в таком забавном виде, что Ада от души хохотала, увлекая и меня в непринужденный смех.

Вскоре после семи часов мы отправились в столовую к обеду и спускались, по совету самой миссис Джэллиби, весьма осторожно, потому что ковры, кроме того, что имели большой недостаток в проволоках, которыми они прикреплялись к лестнице, были до такой степени изорваны, что на каждом шагу представляли опасную ловушку. Нам подали прекрасную треску, кусок ростбифа, блюдо котлет и пудинг. Обед был бы превосходный, если б все было приготовлено надлежащим образом; но, к сожалению, он подан был чуть-чуть не в сыром виде. Молодая женщина в фланелевой подвязке прислуживала за столом, ставила на стол каждое блюдо куда и как ни попало и ничего не убирала до самого конца. Молодая женщина, которую я видела в деревянных башмаках, и которая, как я полагала, исполняла в доме обязанность кухарки, часто подходила к дверям столовой и бранилась с женщиной в фланелевой подвязке; а из этого я заключила, что они жили в сильном раздоре.

В течение всего обеда, продолжительного вследствие неожиданных казусов – как, например, блюдо картофелю опрокинулось в угольный ящик, ручка от штопора нечаянно оторвалась, и молодая женщина вовсе неумышленно нанесла себе сильный удар в подбородок – в течение всего обеда, повторяю я, миссис Джэллиби сохраняла удивительную ровность своего характера. Она рассказывала нам множество интересных подробностей об африканском племени Боррибула-Ха и получала такое множество писем, что Ричард, сидевший подле нее, сразу увидел, что в его тарелке с супом плавали четыре конверта. Некоторые из писем сообщали ей о совещаниях дамских комитетов или о следствиях дамских митингов, о чем она немедленно прочитывала нам; другие служили просьбами от частных лиц, принимавших живейшее участие во всем, что касалось воздвигания кофе и распространения просвещения между дикими народами; третьи требовали немедленных ответов, для отправления которых миссис Джэллиби

раза три или четыре высылала старшую дочь из-за стола. Короче сказать, у миссис Джэллиби были полные руки дела, и, судя по ее словам, она неоспоримо была всей душой предана африканскому проекту.

Меня подстрекало сильное любопытство узнать, кто такой был кроткий джентльмен с порядочной лысиной и в очках, который занял за столом пустой стул уже после того, как мы кончили рыбу, и который, по-видимому, разыгрывая страдательную роль по всем, что касалось Борриобула-Ха, не принимал деятельного участия в этом громадном проекте. Во время обеда он не проговорил ни слова, а потому его легко можно было бы принять за африканского туземца, если б этому предположению не противоречил цвет его лица. До самого окончания обеда и до тех пор, пока этот джентльмен не остался с Ричардом наедине за опустелым столом, мне и в голову не пришло подумать, что это был мистер Джэллиби. Но оказалось, что это действительно был сам мистер Джэллиби; к тому же, болтливый молодой человек, по имени мистер Квэйль, с огромными лоснящимися выпуклостями вместо висков, и с волосами, зачесанными совершенно назад, который пришел к нам поздно вечером, и который объявил Аде, что он филантроп, объявил вместе с тем, что супружеский союз миссис Джэллиби с мистером Джэллиби он называет союзом души и тела.

Этот молодой человек, кроме того, что имел очень много сказать с своей стороны насчет Африки и насчет собственного своего проекта инструкции колонистам, каким образом им должно внедрить просвещение между туземцами и распространять внутреннюю и внешнюю торговлю, – кроме этого, он находил особенное удовольствие выставлять на вид неутомимые труды миссис Джэллиби.

– Я уверен, миссис Джэллиби, – говорил он, – что вы получили сегодня по крайней мере от полутора до двухсот писем насчет Африки, – не правда ли? Или, если память не изменяет мне, миссис Джэллиби, то, кажется, вы говорили когда-то, что послали с одной почтой сразу пять тысяч циркуляров?

И, получив ответ от миссис Джэллиби, молодой человек каждый раз повторял его нам, как будто он был для нас переводчиком. В течение всего вечера мистер Джэллиби молча сидел в углу, прислонясь к стене головой; нам казалось, что он находился под влиянием самого неприятного расположения духа. Я замечала, что мистер Джэллиби, оставшись после обеда наедине с Ричардом, несколько раз открывал рот, как будто хотел признаться ему в том, что именно тяготило его душу – и, не сказав ни слова, закрывал рот, к величайшему смущению Ричарда.

Миссис Джэллиби сидела как в гнезде, свитом из негодных бумаг, пила беспрестанно кофе и от времени до времени диктовала старшей дочери. Изредка она вступала с мистером Квэйлем в горячие прения, предметом которых, сколько понимала я, было учреждение Человеколюбивого Братства, и, между прочим, выражала теплые чувства и прекрасные мысли. Не могу похвалиться, что я была такой внимательной слушательницей, какой бы мне хотелось быть, потому что Пипи и другие дети целой ватагой окружили Аду и меня в углу гостиной и неотступно просили рассказать им новенькую сказку. Уступая их желаниям, мы сели между ними и шепотом говорили им сказку о «Коте в сапогах», – говорили множество подобных пустяков, до тех пор, пока миссис Джэллиби случайно вспомнила о детях и приказала им отправиться спать. При этом Пипи так горько расплакался и так убедительно просил меня проводить его до постели, что я принуждена была снести его наверх. Здесь молодая женщина в фланелевой подвязке как дракон налетела на толпу малюток и в несколько минут уложила их в постели.

После этого я занялась нашей маленькой комнаткой, – старалась, сколько от меня зависело, придать ей веселый вид, старалась приласкать огонь в камине, который при моем приходе выглядывал оттуда весьма сердито, но вскоре запылал ярко и отрадно. По возвращении в гостиную, я заметила, что миссис Джэллиби поглядывала на меня весьма неблагосклонно, за мое ребячество. Я очень сожалела об этом, но в то же время была убеждена, что имела на это ребячество полное право.

Было уже около полночи, когда для нас представился удобный случай отправиться наверх; но даже и тогда мы оставили миссис Джэллиби за бумагами и за кофе, а мисс Джэллиби – за пером, которое она грызла беспрестанно.

– Какой странный, какой удивительный дом! – сказала Ада, когда мы очутились в нашей комнате. – Я удивляюсь, почему вздумалось моему кузену Джорндису отправить нас сюда!

– Душа моя, – сказала я, – это и меня крайне смущает. Я всячески стараюсь разгадать, постичь – и не могу, при всем моем желании.

– Чего же ты не можешь разгадать? – спросила Ада, сопровождая вопрос своей пленительной улыбкой.

– Всего, что относится до здешнего дома, – отвечала я. – Конечно, что и говорить – со стороны миссис Джэллиби весьма благородно, весьма великодушно принять на себя столько трудов и попечения для блага и пользы диких народов; но... но Пипи, но домашнее хозяйство!

Ада громко засмеялась, и в то время, как я задумчиво смотрела на пылающий огонь в камине, она обвила ручкой мою шею и говорила, что я тихое, прекрасное и доброе создание, и что я вполне обворожила ее.

– Вы так задумчивы, Эсфирь, – говорила она, – и вместе с тем так веселы. Вы делаете так много, и делаете все так мило, так чистосердечно! Мне кажется, что при вас и в здешнем доме было бы отрадно!

О, добренькая, простенькая любимица моей души! Она вовсе не знала, что этими словами выражала похвалу самой себе, и что, собственно, по доброте своей души она видела во мне такое множество прекрасных качеств!

– Могу ли я предложить вам один вопрос? – сказала я, когда, спустя немного, мы обе сели перед камином.

– Не один, а пятьсот, если угодно, – сказала Ада.

– Этот вопрос касается вашего кузена, мистера Джорндиса. Я ему очень, очень много обязана. Не можете ли вы описать мне его наружность?

Откинув назад золотистые локоны, Ада устремила на меня свои глазки с таким смеющимся удивлением, что я сама невольно удивилась, частью ее красоте, а частью ее удивлению.

– Эсфирь! – вскричала она.

– Душа моя!

– Вы хотите, чтоб я описала вам наружность моего кузена Джорндиса?

– Да; ведь я никогда не видела его.

– Но ведь и я никогда не видела! – возразила Ада.

– Неужели это и в самом деле правда?

Да, да, она действительно еще ни разу не видела мистера Джорндиса. Как ни была молода Ада при кончине своей матери, но очень хорошо помнила слезы, выступившие на глаза умирающей, когда она говорила о нем, когда говорила о его благородном, великодушном характере, которому должно верить более всего земного, – и Ада вверялась ему. Несколько месяцев тому назад мистер Джорндис написал своей кузине «безыскусственное, правдивое письмо», как выражалась Ада, в котором извещал о распоряжениях относительно нас и упоминал, что «это распоряжение излечит со временем некоторые раны, нанесенные несчастной тяжбой в Верховном Суде». Ада отвечала на это выражением душевной признательности за его предложение. Ричард также получил подобное письмо и также послал на него подобный ответ. Он видел мистера Джорндиса раз, – но один только раз, пять лет тому назад, в Винчестерской школе. В кабинете канцлера, в то время, когда Ада и Ричард стояли перед камином, облокотившись на экран, и когда я впервые встретила с ними, Ричард говорил Аде, что в его воспоминании мистер Джорндис сохранился, как «тучный, краснощекий мужчина». Вот все, что могла передать мне Ада о личности ее кузена.

Это описание до такой степени углубило меня в размышление, что Ада уже давно заснула, а я все еще оставалась перед камином, мечтая и уносясь воображением в Холодный Дом, снова мечтая и снова уносясь воображением так далеко, что все события минувшего дня казалось мне, как будто совершались когда-то очень, очень давно. Не знаю, где именно блуждали мои мысли в то время, когда легкий удар в дверь нашей комнатки снова привел их в надлежащий порядок.

Я тихо отворила дверь и увидела там мисс Джэллиби, которая, с изломанной свечей, поставленной в изломанный подсвечник, в одной руке, и каменной чашечкой для вареного яйца в другой, дрожала от холода.

– Спокойной ночи! – сказала она, чрезвычайно угрюмо.

– Спокойной ночи! – отвечала я.

– Могу ли я войти к вам? – спросила она, весьма поспешно, совершенно неожиданно и с прежней угрюмостью.

– Конечно, можете, – сказала я. – Но, пожалуйста, не разбудите мисс Клэр.

Она не хотела присесть, но, став подле камина, беспрестанно обмакивала запачканный чернилами средний палец правой руки в каменную чашечку, в которой находился уксус, и натирала им чернильные брызги и пятна на лице, не переставая в то же время хмуриться и казаться угрюмою.

– Я от души желаю этой Африке провалиться! – сказала она вовсе неожиданно.

Я хотела сделать какое-то возражение.

– Да, я желаю! – продолжала она. – Пожалуйста, мисс Sommerсон, не возражайте. Я презираю, я ненавижу ее. Это какое-то страшное чудовище, отвратительное животное!

Я сказала ей, что она очень устала, и что мне очень жаль ее. Вслед за тем я приложила руку к ее голове и заметила, что она очень горяча теперь, но что к утру это пройдет. Мисс Джэллиби все еще стояла у камина, продолжая хмуриться и бросать на меня сердитые взгляды; но вдруг она поставила на пол каменную чашечку и тихо подошла к постели, где лежала Ада.

– Она очень хороша! – сказала мисс Джэллиби, с тем же мрачным видом и с тою же жесткой, неприятной манерой.

Одной только улыбкой я выразила свое согласие.

– Ведь она сирота, – не правда ли?

– Правда.

– Однако, я полагаю, она знает кое-что? Вероятно, умеет и танцевать, и играть на фортепьяно, и петь? Умеет говорить по-французски, знает географию, и глобусы, и рукоделье и... и... решительно все?

– Без сомнения, – отвечала я.

– А я так ничего не знаю, – возразила она. – Кроме одного письма, я ровно ничего не знаю. Я всегда пишу для моей мамы, удивляюсь, право, как вам не стыдно было войти в наш кабинет сегодня и увидеть, что, кроме письма, я ничего другого не смыслю. Как это мило с вашей стороны! А поди-ка, еще считаете себя прекрасными девицами!

Я видела, что бедная девушка с трудом удерживала слезы. Не сказав ей ни слова, я опустилась на стул и стала смотреть на нее так кротко и с таким участием, каким только моя душа могла располагать.

– Стыд! позор! – сказала она. – Вы знаете, что это так. Позор всему дому. Позор для всех детей. Позор для меня. Папа мой жалкий человек, и в этом нет ничего удивительного! Присцилла пьет, она постоянно бывает пьяна. Большой стыд и большая ложь будет с вашей стороны, если скажете, что вы не заметили, как страшно разило от нее вином. Когда она прислуживала за столом, это было все равно, что в каком-нибудь трактире; вы сами знаете, что это правда... вы сами заметили это.

– Милая моя, я ничего не заметила, – сказала я.

– Вы заметили, – сказала мисс Джэллиби, весьма откровенно, – вы не смеее сказать, что не заметили. Вы заметили.

– О, друг мой, – сказала я, – если вы хотите, чтобы я говорила...

– Да ведь вы же и говорите. Вы сами знаете, что говорите. Нет, мисс Sommerсон, меня вы не обманете.

– Послушайте, – сказала я, – до тех пор, пока вы не захотите выслушать меня...

– Я не хочу выслушивать вас.

– А мне кажется, что вы хотите выслушать, – сказала я, – в противном случае с вашей стороны было бы весьма неблагоразумно. Я вовсе не знала о том, что вы рассказали мне, потому что во время обеда ваша служанка не подходила ко мне близко; но, во всяком случае, я нисколько не сомневаюсь в ваших словах, и мне очень неприятно слышать их.

– Вероятно, вы не будете рассказывать об этом другим, – сказала она.

– Зачем же, душа моя? Это было бы очень глупо.

Мисс Джэллиби все еще стояла подле кровати и с тем же недовольным видом нагнулась и поцеловала Аду. Сделав это, она тихо отошла от постели и стала подле моего стула. Грудь ее поднималась необыкновенно тяжело, и мне было очень жаль ее; но, несмотря на то, я рассудила за лучшее не говорить с ней.

– Я желала бы лучше умереть! – сказала она наконец. – Я желаю, чтобы все мы умерли; это было бы для нас лучше всего.

Спустя минуту, она упала подле меня на колени и, спрятав лицо свое в складках моего платья, с горячностью просила у меня прощения и горько плакала. Я утешала ее, хотела поднять ее; но она сопротивлялась и непременно хотела оставаться в этом положении.

– Вы учили маленьких девочек, – сказала она. – Если б вы могли только выучить меня, я стала бы учиться у вас! Я такая жалкая, несчастная, но я люблю вас, – очень, очень люблю.

Я никак не могла убедить ее сесть подле меня или сделать что-нибудь для своего облегчения; наконец она решилась только пододвинуть растрепанный стул к тому месту, где стояла на коленях, села на него и по-прежнему скрыла лицо свое в складках моего платья. Мало-помалу, бледная, утомленная девушка, стала засыпать. Я приподняла ее голову так, чтобы она могла покоиться на моих коленях, и потом прикрыла как ее, так и себя теплыми платками. Огонь в камине погас, а бедная мисс Джэллиби проспала в этом положении перед камином с холодной золой в течение всей ночи. Сначала я с болезненным чувством преодолевала сон и тщетно старалась с сомкнутыми глазами забыться и потерять из виду сцены минувшего дня. Наконец с медленной постепенностью они становились неясны, неопределенны, смутны. Я начала терять сознание о том, чья голова покоилась на моих коленях. То казалось мне, что это была Ада, то – одна из моих пансионеров, с которыми я так недавно разлучилась, хотя никак не могла уверить себя, что эта разлука случилась недавно. То представлялось мне, что это была маленькая безумная старушка, утомленная до крайности своими непрерывными приседаниями и улыбками, то – кто-нибудь из старейших и властительных членов Холодного Дома. Наконец ничего и никого не представлялось мне более, и я потеряла всякое сознание о своем существовании.

Близорукий, подслеповатый день слабо боролся с туманом, когда я открыла глаза мои, чтобы увидеть наяву грязнолицее маленькое привидение, которого взоры пристально устремлены были на меня. Это был Пипи. Оставив свою маленькую кроватку, он пробрался в нашу комнату, в спальную сорочке и шапочке, и до такой степени перезяб, так продрог, что зубы его громко стучали.

V. Утреннее приключение

Хотя утро было холодное и сырое и хотя туман все казался густым и тяжелым – я говорю: казался, потому, что окна нашей комнаты покрыты были таким толстым слоем грязи, что даже и яркое летнее солнце проникало бы сквозь них тусклыми лучами – но я заранее предвидела то неприятное положение, которое привелось бы испытать нам, оставаясь в комнате в такое раннее время дня, и потому предложение, сделанное со стороны мисс Джэллиби выйти из дому и прогуляться, показалось мне прекрасным, тем более, что любопытство видеть Лондон сильно подстрекало меня.

– Мама нескоро еще встанет, – говорила мисс Джэллиби, – и когда встанет, то придется ждать завтрака не менее часу – у нас всегда ужасно мешкают. Что касается папа, он позавтракает, чем Бог пошлет и потом отправляется в должность. Он даже и не знает того, что, по-вашему, называется настоящим завтраком. Присцилла с вечера оставляет ему кусок хлеба и немного молока, если только молоко найдется в нашем доме. Иногда его совсем не бывает, а если и найдется, то случается, что кошка выпьет его ночью. Я только боюсь, что вы очень устали, мисс Соммерсон, и вместо прогулки для вас, может быть, лучше отдохнуть в постели.

– Я вовсе не устала, душа моя, – сказала я, – и очень охотно иду прогуляться.

– Если вы уверены в этом, – возразила мисс Джэллиби, – так я пойду и оденусь.

Ада тоже вызвалась идти вместе с нами и деятельно занялась своим туалетом. Не предвидя никакой возможности сделать что-нибудь лучшее для Пипи, я предложила ему умыться и снова уложить спать в мою постель. Он согласился с этим без малейшего сопротивления. Во время умыванья он глядел на меня выпучив глаза, как будто никогда он не был и никогда не будет в течение всей своей жизни приведен в такое крайнее изумление; в то же время, он казался чрезвычайно жалким, не произносил ни одной жалобы и весьма охотно отправился спать, лишь только кончилось умыванье. Сначала я находилась в крайней нерешимости касательно нашей прогулки; я считала этот поступок за непростительную вольность – но вскоре размыслила, что в здешнем доме едва ли кто обратит на это внимание.

Среди хлопот, которые наделял мне Пипи, среди приготовлений к прогулке и приведения в порядок туалета Ады, я вскоре оправилась от неприятного чувства, которое тяготило меня после дурно проведенной ночи, и щеки мои покрылись ярким румянцем.

Мы спустились в кабинет и увидели, что мисс Джэллиби старалась согреться перед камином, который Присцилла затопляла, с запачканным донельзя комнатным подсвечником, выбросив из него сальный огарок, для лучшей и скорейшей растопки. Как в кабинете, так и в столовой, каждый предмет оставался в том же самом виде, в каком находился накануне, и, по-видимому, должен был сохранить этот вид в течение наступившего дня. Скатерть со стола не снималась, но лежала приготовленною для завтрака. Крошки, пыль и черновые бумаги встречались на каждом шагу. Несколько оловянных кружек и молочный кувшин висели на той самой решетке, где завязла голова бедного Пипи. Дверь на улицу стояла настежь. Завернув за ближайший угол, мы встретили кухарку, которая только что вышла из водочной лавочки и утирала себе рот. Проходя мимо нас, она сказала, что заходила туда узнать который час.

Еще до встречи с кухаркой, мы встретили Ричарда, который, на небольшой площадке усердно занимался пляской, стараясь отогреть себе ноги. Раннее появление наше на улице приятно изумило Ричарда, и он с величайшим удовольствием вызвался разделить с нами прогулку. Вследствие этого, он взял на свое попечение Аду, а мисс Джэллиби и я пошли впереди. Здесь должно упомянуть, что мисс Джэллиби снова углубилась в мрачное расположение духа, и, право, я ни под каким видом не решилась бы подумать, что она любит меня, если б сама она не призналась в том.

– Куда же вы хотите идти? – спросила она.

– Куда-нибудь, моя милая, – отвечала я.

– Куда-нибудь, по-моему, все равно, что никуда, – сказала мисс Джэллиби и остановилась с явным выражением сильной досады.

– Во всяком случае, надо же идти куда-нибудь, – сказала я.

И она повела меня вперед самым скорым шагом.

– Мне все равно! – говорила она. – Можете быть моей свидетельницей, мисс Соммерсон. Я говорю вам теперь, что мне все равно, что я ни о чем не забочусь, ни до чего мне нет дела, но если он, с своим лоснящимся костлявым лбом, будет ходить в ваш дом, вечер за вечером, до тех пор, пока не достигнет мафусаиловых лет, я и тогда бы ничего ему не сказала. О, если бы вы знали, в каких ослов превращают себя он и моя мама!

– Что ты это говоришь! – возразила я, с видом упрека за внезапный эпитет и сильное ударение, которое мисс Джэллиби нарочно сделала над ним. – Не забудьте, ваш долг, как дочери...

– Позвольте, позвольте, мисс Соммерсон! Не говорите мне о долге дочери, а скажите прежде, исполняет ли мама долг матери? Мне кажется, она душой и телом предана публике и Африке. В таком случае, пусть публика и Африка и оказывают ей долг дочери: это скорее касается до них, это скорее их дело, а отнюдь не мое. Для вас это кажется ужасно, как я замечаю. И прекрасно, для меня это тоже ужасно, для нас обеих ужасно, и потому мы кончим говорить об этом.

И вместе с этим мисс Джэллиби повлекла меня вперед быстрее прежнего.

– Но все же, я снова повторю, пусть он приходит к нам, приходит и приходит, а я не промолвлю с ним ни слова, и терпеть его не могу. Если есть в мире предмет, который я презираю и ненавижу, то это предмет, о котором он и мама так горячо рассуждают. Меня удивляет, каким образом у камней на мостовой против нашего дома достает столько терпения, чтоб оставаться на месте и быть свидетелями таких несообразностей и безрассудства, какие обнаруживаются во всей этой великолепно-звучной нелепости и в распоряжениях моей мамы!

Мне нетрудно было понять, что слова мисс Джэллиби относились к мистеру Квэйлю, молодому джентльмену, который являлся вчера после обеда. К счастью, я была избавлена от неприятной необходимости продолжать этот разговор. Ричард и Ада, обогнав нас, громко засмеялись и спросили, не намерены ли мы начать правильный бег взапуски. Прерванная таким образом мисс Джэллиби сделалась безмолвна и шла подле меня с весьма угрюмым видом, между тем как я любовалась нескончаемой последовательностью и разнообразием улиц, множеством народа, снующего взад и вперед мимо нас, множеством телег, тянувшихся по всем направлениям, любовалась деятельными приготовлениями в магазинах, уборкой окон блестящими товарами и выметанием на улицу сора, около которого бродили какие-то странные создания в лохмотьях, стараясь проникнуть своими взорами, не скрывается ли в нем булавочек или других ценных вещей.

– Скажите на милость, кузина, – раздался позади меня веселый голос Ричарда, – кажется, нам никогда не удалиться от Верховного Суда! Хотя и другой совершенно дорогой, но мы снова пришли к месту вчерашней нашей встречи, и, клянусь печатью великого канцлера, и старая леди здесь!

И в самом деле, перед нами очутилась вчерашняя полоумная старушка: она приседала, улыбалась и с вчерашним видом покровительства говорила:

– Ах, какое счастье! Я снова вижу несовершеннолетних по делу Джорндис! Уж подлинно, что счастье!

– Вы очень рано выходите из дому, сударыня, – сказала я, в ответ на ее реверанс.

– Д-д-да! Я обыкновенно гуляю здесь очень рано... гуляю перед тем, как начнется заседание. Это место довольно уединенное. Здесь я привожу в порядок мои мысли для дневных занятий, – говорила старая леди, чрезвычайно жеманно. – Знаете, для моих дневных занятий

непременно нужно иметь огромнейший запас здравого смысла. За правосудием Верховного Суда чрезвычайно трудно следить.

– Скажите, мисс Соммерсон, кто это? – прошептала мисс Джэллиби, прижимая мою руку крепче и крепче.

Старушка-леди одарена была, как видно, весьма тонким слухом. Она в ту же минуту отвечала на шепот моей спутницы:

– Я, дитя мое, я просительница – так называют меня в суде. Я просительница, к вашим услугам. Я имею честь регулярно присутствовать в заседаниях Верховного Суда... так себе, знаете... с моими документами. Не имею ли я удовольствия говорить еще с одной из юных особ, участвующих в деле Джорндис? – спросила старая леди, выправляясь от слишком низкого приседания и наклоняя голову набок.

Ричард, желая исправить вчерашнее легкомыслие, весьма учтиво объяснил, что мисс Джэллиби не имела никакой связи с нашим тяжёлым делом.

– Ха! вот как! – сказала старая леди. – Значит она не ждет суда? Все же она состарится... но не будет чересчур стара. О, нет, нет! А знаете ли, ведь это сад Линкольн-Иннского Суда. Я называю его своим садом. В летнюю пору здесь столько тени, что не найдешь в другой беседке. Птички здесь поют так сладко, сладко! Я провожу здесь большую часть летних вакансий. А вы знаете, что эти вакансии бывают чрезвычайно длинны. Неужели вы не знаете?

Мы ответили, что не знаем, и, по-видимому, ответили сообразно с ее ожиданиями.

– Эти вакансии тогда кончаются, – продолжала старая леди, – когда листья с деревьев падают, и когда не найдется уже больше ни цветочка, чтобы делать букеты для великого канцлера, и тогда шестая печать, о которой упоминается в Апокалипсисе, снова открывается. Сделайте одолжение, загляните в мою квартиру. Это послужит для меня превосходным признаком – верной приметой. Юность, надежда и красота очень редко бывают у меня. Много прошло времени с тех пор, как они не бывали у меня.

Старая леди взяла меня за руку и, уводя меня и мисс Джэллиби с собой, кивнула Ричарду и Аде, следовать за ней. Я не знала, как отказаться от этого, и взглядом просила Ричарда помочь мне. Но в то время, как Ричард, вполонину изумленный и вполонину увлекаемый любопытством и вообще находившийся в крайнем недоумении, обдумывал, как бы отделаться от старой леди, не оскорбив ее, старая леди продолжала тащить нас вперед, а Ричард и Ада продолжали следовать за нами. Но все это время наша странная путеводительница, с улыбающейся снисходительностью, уверяла нас, что живет близенько.

Вскоре оказалось, что она говорила совершенную истину. Она жила так близко от места нашей встречи, что мы не успели еще привести ее в приятное расположение, хотя бы на несколько секунд, как она была уже дома. Припустив нас чрез небольшие боковые ворота, старая леди самым неожиданным образом очутилась вместе с нами в узком переулке, составляющем часть дворов и других переулков, как раз за стеною Линкольн-Иннского Суда.

– Вот и квартира моя, – сказала она. – Прошу покорно, войдите.

Она остановилась перед лавкой, над которой находилась вывеска: Крук, складочное место тряпья и бутылок. Под этою надписью длинными и тоненькими буквами прибавлялось: Крук, продавец морских принадлежностей. С одной стороны окна была выставлена картина, изображающая красную бумажную фабрику, подле которой стояла телега, и из нее выгружали огромнейший запас мешков с старыми тряпками. С другой стороны выглядывал билет: здесь покупаются кости. Далее другой билет: здесь покупается кухонная старая посуда. Потом еще билет: здесь покупается старое железо. Потом еще: здесь покупается старая бумага. Потом еще: здесь покупается старое платье мужское и дамское. Короче сказать, в этой лавке, по-видимому, все покупалось, но ничего не продавалось. Все окно заставлено было бесчисленным множеством грязной стеклянной посуды, как-то винных бутылок, бутылок из-под ваксы, аптекарских склянок, бутылок из-под имбирного пива и содовой воды, банок из-под пикулей и чер-

нильных склянок. Упомянув о последних, я должна сказать, что лавка Крука во множестве маленьких подробностей прямо показывала, что находится в ближайшем соседстве с присутственным местом. Коллекция чернильных склянок была в особенности велика. На наружной стороне дверей висела небольшая, ежеминутно угрожающая падением полочка, нагруженная истасканными, оборванными старинными томаами, украшенными бумажным ярлычком, с надписью: Книги законов, каждая по девяти пенсов. Некоторые из надписей, замеченных мною, были написаны красивым приказным почерком, подобным тому, какой я видела на бумагах в конторе Кенджа и Карбоя и письмах, которые так долго получала от этой фирмы. Между ними одна, написанная тем же почерком, в особенности обращала на себя внимание: она не имела никакой связи с торговыми оборотами лавки, но служила простым объявлением, что почтенный человек сорока пяти лет желает заняться перепиской бумаг и обещает исполнить порученную ему работу красивым почерком и с возможною поспешностью: адресоваться в магазин мистера Крука, на имя Немо. На другой половинке двери развешено было множество подержанных мешков, синих и красных. Почти при самом входе в лавку, лежали груды старых хрупких пергаментных свитков, и полинялых, с загнутыми временем уголками, приказных бумаг. Мне представлялось, что все ржавые ключи, которые сотнями валялись в грудах старого железа, принадлежали некогда к замкам дверей или крепких сундуков в адвокатских конторах. Связки ветошек, накиданных на одну из чашек и около чашки деревянных весов, на конце рычага которых не находилось ни малейшей тяжести, составляли, по-видимому, изорванные мантии и другие принадлежности судейской одежды. В дополнение всей картины, оставалось только представить себе, как прошептал Ричард Аде и мне, когда мы стояли у самого входа в лавку, не решаясь двинуться вперед, – оставалось только представить себе, что кости, сваленные в угол в одну страшную груду и как нельзя лучше очищенные от мясистых частиц, были кости клиентов! Погода все еще была туманная и совершенно затемнялась стеною Линкольн-Иннского Суда, перехватывающей свет дневной на расстоянии от окна лавки не более трех ярдов, а потому мы бы ничего не увидели внутри лавки без помощи зажженного фонаря, который переносился с одного места на другое каким-то стариком в очках и в мохнатой шапке. Повернувшись случайно к дверям, он увидел нас. Это был старик невысокого роста, с синевато-мертвенным морщинистым лицом; его голова утопала в его плечах, и из груди его вылетал белый пар, как будто внутри ее происходил пожар. Его грудь, подбородок и брови до того покрывались белыми, как будто подернутыми инеем волосами и морщиноватой кожей, что от пояса и до головы он казался старой коряжиной, прикрытой выпавшим снегом.

– Хе, хе! – сказал старик, приближаясь к дверям. – Вы, верно, продаете что-нибудь?

Весьма натурально мы отступили назад на несколько шагов и взглянули на нашу проводницу, которая всячески старалась открыть наружную дверь дома ключом, вынутым ею из кармана, и мистер Ричард сказал теперь, что так как мы уже имели удовольствие узнать, где она живет, то на этот раз должны проститься с ней, тем более, что срок нашей прогулки кончился. Но не так легко было проститься с ней, как мы предполагали. Она так причудливо и так убедительно умоляла нас войти хоть на минуточку и взглянуть на ее квартиру, и, убежденная в том, что появление наше в ее комнате послужило бы верным признаком к перемене ее счастья, она так сильно влекла меня за собой, что мне, да и всем другим, больше ничего не оставалось, как только согласиться. Я полагаю, что всех нас, более или менее, подстрекало любопытство, и, наконец, когда старик лавочник присоединил свои просьбы к просьбам старушки, говоря нам: «Ну, что же, угодите старухе! Ведь это займет у вас не больше минуты! Войдите, войдите! Пройдите через лавку, уж если уличная дверь не отпирается!», – мы окончательно решились войти, ободряемые откровенным смехом Ричарда и вполне полагаясь на его защиту.

– Это, извольте видеть, Крук – домовый хозяин, – сказала старушка, представляя нас владельцу дома и оказывая ему величайшую честь таким снисхождением. – Между здешними соседями он слышет под именем великого канцлера, а его лавка называется Верховным Судом.

Я вам скажу, это человек весьма эксцентричный... чрезвычайно странный... о, уверяю вас, чрезвычайно странный!

Вместе с этим она сильно потрясла головой и постучала пальцем по лбу, стараясь дать нам понять, чтобы мы были добры и извинили его странности.

– Я вам скажу, ведь он того немного... ну, знаете, того... сума... – сказала старая леди, с выражением сознания в собственном своем достоинстве.

Старик подслушал эти слова и громко засмеялся.

– Что правда, то правда! – сказал он, освещая впереди нашу дорогу. – Меня действительно зовут здесь великим канцлером, а лавку мою Верховным Судом! А как вы думаете, почему нам дали эти названия?

– Вот уж, право, не знаю! – сказал Ричард весьма беспечно.

– Видите ли почему, – возразил старик, внезапно остановившись и повернувшись к нам лицом, – они... Хе, хе!.. Да какие чудные волосы-то! Вот прелесть, так прелесть! У меня в подвале три мешка битком набиты дамскими волосами; но между ними не найдется ни одного волоска такого прелестного, такого драгоценного! Какой цвет, какая густота, какая мягкость!

– Все это прекрасно, мой добрый друг! – сказал Ричард, крайне недовольный тем, что старик, взяв один из локонов Ады, перепускал его в своей желтой рукою. – Вы можете восхищаться этим, как восхищается каждый из нас, отнюдь не позволяя себе вольности.

Старик бросил на Ричарда быстрый, пронизательный взгляд, отклонивший мое внимание от Ады, которая в эту минуту, возбуждаемая страхом и стыдливым смущением, была так прекрасна, что даже блуждающее внимание старой леди сосредоточилось на ней. Но когда Ада вступилась за старика и со смехом сказала, что нисколько не оскорблялась этим поступком, а напротив, гордилась таким истинным, неподдельным восхищением, мистер Крук также внезапно спрятался в самого себя и съезжился, как за минуту перед этим выскочил из себя и выпрямился.

– Вы видите, какое множество самых разнообразных предметов находится здесь, – снова начал старик, поднимая кверху фонарь, для лучшего освещения своего магазина, – видите, какое их множество! И все они, как думают мои соседи (которые, к слову сказать, ровно ничего не знают), обречены мною гниению и разрушению; вот поэтому-то и дали такое название мне и моему магазину. У меня, как вы видите, крупнейший запас старинных пергаментных свертков и бумаг. Я, как видите, люблю-таки и ржавчину, и плесень, и паутины. У меня все то рыба, что попадает в мои сети. Мне трудно расстаться с тем, что я уже однажды залучил к себе (так по крайней мере думают мои соседи; да, впрочем, к слову сказать, что смыслят эти соседи? ровно ничего!); что было раз поставлено на место, того я и пальцем не трону... терпеть не могу подметания, убирания, чищенья и холения. Вот почему я получил такое название. Впрочем, мне до этого и нужды нет. Пускай себе, что хотят, то и говорят. Когда мой благородный и ученый собрат открывает заседание в Линкольн-Иннском Суде, я каждое заседание хожу туда повидаться с ним. Он не замечает меня; но я так его замечая. Между нами нет большого различия. Мы оба роемся в пыли, плесени и ржавчине. Хе! Леди Джэн, поди сюда!

При этом огромная серая кошка спрыгнула с ближайшей полки к нему на плечо, и мы все вздрогнули от внезапного испуга.

– Хе, хе! леди Джэн. Покажи-ка им, как ты умеешь царапаться... Ха, хе! разорви, разорви это, миледи! – сказал мистер Крук.

Серая кошка соскочила на пол и вцепилась своими тигровыми когтями в связку ветоши с таким пронзительным, ужасным визгом, что при первых звуках его, мне показалось, что волосы на моей голове становятся дыбом.

– Она во всякое время готова сделать это же самое с каждым, на кого укажу, – сказал старик. – Надобно заметить вам, что, между прочими обыкновенными предметами, я собираю и кошачьи шкурки: по этому-то случаю Миледи и завелась в моем доме. А у нее прекрасная

шкурка, вы сами это видите; однако, я не решился содрать ее, хотя это и не совсем-то согласно с моим обыкновением.

В это время он провел нас через всю свою лавку и в задней стене ее отворил маленькую дверь, выходящую на общее крыльцо. Когда он стоял у этой двери, положив свою руку на рукоятку замка, старушка-леди, до выхода из лавки, грациозно заметила ему:

– Благодарю вас, Крук, благодарю. Вы поступили прекрасно, жаль только, что долго задержали нас. Молодые мои друзья очень торопятся; да и у меня нет лишнего времени: через несколько минут наступит пора, когда мне должно отправляться в суд. А вы знаете, что дорогие мои гости тоже участвуют в суде: они находятся у него под опекой по делу Джорндис.

– Джорндис! – сказал старик, принимая изумленный вид.

– Да, Джорндис и Джорндис. Самая огромнейшая тяжба, Крук! – возразила его квартирантка.

– Хе, хе! – воскликнул старик, тоном, выражающим изумление, и в то же время более прежнего выпучил свои глаза. – Вот оно что! Скажите на милость!

Он до такой степени поражен был этим открытием и с таким любопытством глядел на нас, что Ричард решился наконец сказать ему:

– По всему видно, мистер Крук, что тяжбы, которыми занимается ваш благородный и ученый собрат, другой великий канцлер, сильно беспокоят вас.

– Да, – отвечал старик весьма рассеяннo, – по всему видно, что так! Поэтому... значит вас зовут...

– Ричард Карстон.

– Карстон, – повторил он, медленно откладывая как это имя на один из своих костлявых пальцев, так и другие, которые он упоминал, на другие пальцы, – так, так. В этой тяжбе запутано имя и мисс Барбари, и имя Клэр, и имя Дэдлок... не так ли?

– Помилуйте! – сказал Ричард, обращаясь к Аде и ко мне, – да он знает об этой тяжбе чуть ли не больше настоящего великого канцлера!

– А что вы думаете! – возразил старик, медленно оставляя свою рассеянность. – Конечно, знаю! Том Джорндис – вы, вероятно, извините мою простоту; впрочем, надобно вам сказать, что в Суде только и знали его под этим именем, и что он был известен там точь-в-точь, как и она (слегка кивая при этих словах на свою постоялицу) – Том Джорндис частенько захаживал сюда. Во время тяжбы своей он как-то свылся с беспокойной привычкой бродить по нашему кварталу, заходить к нашему брату лавочникам. Он чуть-чуть было не наложил руки на себя, вот на самом том месте, где стоит теперь молоденькая девушка, – то есть решительно чуть-чуть не наложил.

Признаюсь, мы слушали старика с неизъяснимым ужасом.

– Я вам скажу, как это было. Он, извольте видеть, вошел в эту дверь, – говорил старик, медленно показывая пальцем воображаемую дорогу, по которой проходил Том Джорндис, – а надобно вам сказать, что все соседи задолго еще говорили, что рано или поздно, а он непременно что-нибудь да сделает над собой; ну, так извольте видеть, в тот самый день, как он убил себя, вошел он в эту дверь, дошел до скамеечки, которая стояла вон на этом месте, сел на нее и попросил меня принести ему кружку вина... Конечно, вы можете представить себе, что в ту пору я был человеком куда как моложе теперешнего. «Знаешь, Крук, – сказал он мне, – сегодня я сильно расстроен: следствие по моей тяжбе снова началось, и мне кажется, что дело мое решится гораздо раньше, чем можно ожидать». Я себе на уме – «нет уж, думаю, нельзя его оставить одного», и потому уговорил его отправиться в таверну, а это было так близенько, что стоило только перейти наш переулок. Он согласился. Я проводил его, заглянул в окно и увидел, что он преспокойно уселся подле камина, между многими другими джентльменами. Не успел я вернуться домой, как вдруг раздался выстрел, и отголосок его загрохотал вон за этой стеной

Линкольн-Иннского Суда. Я назад; соседи выбежали на улицу, и нас человек двадцать в один голос прокричали, что это «Том Джорндис решил свое дело!»

Старик замолчал, пристально взглянув сначала на нас, потом на фонарь, погасил в нем огонь и запер его.

– Кажется, не нужно досказывать моим слушателям, что догадка наша совершенно оправдалась... Хе, хе! Не нужно, я думаю, говорить о том, как в тот же вечер все соседи толпой ввалились в суд, в котором производилось следствие по тяжбе Джорндиса! Не нужно говорить о том, как благородный и ученый собрат мой и вся его собратия рылись, по обыкновению, в пыли и плесени и старались показывать вид, как будто они вовсе и не слышали о несчастном событии, как будто они... Ну да что тут толковать! Если они и слышали о нем, так, право, пользы-то в том было бы ровно ничего!

Румянец на щеках Ады совершенно исчез, да и Ричард был едва ли менее бледен. Судя по своему собственному внутреннему волнению, хотя я не участвовала в тяжбе Джорндис, я нисколько не удивлялась, что принять в наследство тяжбу со всеми следствиями, – тяжбу, оставлявшую в умах множества людей такие страшные воспоминания, служило сильным ударом для сердец столь неопытных и чуждых еще житейских треволнений. Кроме того, меня беспокоило и другое обстоятельство, что печальный рассказ этот как нельзя более применялся к положению бедного, полоумного создания, которое завело нас сюда. Однако, к крайнему моему изумлению, старушка-леди, по-видимому, оставалась совершенно равнодушной к рассказу и снова сделалась нашей путеводительницей по лестнице, стараясь, с снисходительностью более превосходного создания к слабостям обыкновенного смертного, убедить нас окончательно, что хозяин дома, в котором она квартировала, был «немного... знаете того... сума...»

Старушка-леди помещалась в самых верхних пределах здания, в довольно просторной комнате, из окон которой виднелась часть кровли Линкольн-Иннского Суда. По-видимому, эта-то кровля и послужила ей первоначально самой главной побудительной причиной избрать своей резиденцией такое высокое место. Ей, говорила старушка, представлялась возможность смотреть на это место даже ночью, а особенно при лунном свете. Ее комната была опрятна; зато в ней оказывался весьма, весьма большой недостаток в мебели. В этом отношении я заметила одни только необходимые принадлежности. На стенах наклеплено было несколько картинок из книг, несколько портретов каких-то канцлеров и адвокатов, между которыми висело с полдюжины ридикюлей и мешков женского рукоделья; но в них, по словам старушки-леди, «хранились документы». В камине не было видно ни угля, ни золы, и, кроме того, я нигде не заметила ни одного предмета из женского костюма, ни малейших признаков какой-нибудь пищи. На полке открытого шкафа стояло несколько тарелок, несколько чашек и т. п.; но все они были сухи и пусты. Окинув взором всю комнату, мне показалось, что угнетенная наружность владельницы этой комнаты внушала к себе сострадание гораздо более прежнего.

– Вы оказали мне величайшую честь своим посещением, – сказала наша бедная хозяйка, придавая словам своим особенную нежность. – Очень, очень много обязана я за это доброе предзнаменование. Конечно, моя квартира весьма уединенная; но, принимая в расчет необходимость присутствовать в Верховном Суде, я должна стеснять себя. Я прожила здесь много лет. Дни мои я провожу в суде, а вечера и ночи здесь. И, знаете ли, я нахожу, что ночи бывают как-то особенно длинны: сплю я мало, а думаю очень много. Такое состояние, без всякого сомнения, неизбежно для того, кто имеет дело. Мне очень жаль, что не могу предложить вам шоколаду. Я ожидаю решения моего дела в самом непродолжительном времени, и тогда, надеюсь, хозяйство мое примет обширные размеры. В настоящую пору я нисколько не стесняюсь, признаться наследникам Джорндис (но по секрету), что иногда нахожусь в большом затруднении поддерживать свою наружность прилично порядочной леди... Часто случалось мне испытывать здесь холод, часто случалось испытывать состояние несноснее холода. Но, впрочем, кому

какая нужда до этого!.. Пожалуйста извините меня, что я распространяюсь о таких ничтожных предметах.

Вместе с этим она отдернула часть занавески, скрывавшей длинное, низенькое окно, пробитое в скате кровли, и обратила наше внимание на множество птичьих клеток; а в некоторых из них сидело по нескольку птиц. Это были жаворонки, коноплянки и щеглыта, – по крайней мере штук двадцать.

– Я завела этих маленьких созданий, – сказала она, – с целью, которую наследники Джорндиса весьма легко поймут – с целью выпустить их, – но не раньше того, как состоится решение моего дела. Да-а, не раньше! Знаете ли, я сомневаюсь, доживет ли хоть одна из них до окончания дела; а надобно вам сказать, они все еще молоды. Это убийственно, – не правда ли?

Хотя старушка-леди от времени до времени обращалась к нам с вопросами, но, по-видимому, вовсе не ожидала на них ответов; она делала это как будто по привычке, как будто в комнате, кроме ее, никого больше не было.

– В самом деле, – продолжала она, – я положительно сомневаюсь, – уверяю вас, мне не дожидаться поры, когда дело мое приведется в порядок и вскроется шестая, или великая печать. – Я сомневаюсь, что доживу до той поры; мне все думается, что наступит день, когда найдут в этой комнате мой окоченелый труп так точно, как я находила уже множество трупов этих птичек!

Ричард, отвечая на выражение сострадательных взоров Ады, тихо и незаметно положил на камин несколько денег, и вслед затем мы все приблизились к клеткам, показывая вид, что хотим рассмотреть птичек.

– Я не могу позволить им петь слишком много, – сказала старушка-леди, – потому что – вам покажется странным, но это так – потому что ум мой приходит в какое-то смутное состояние от одной мысли, что они поют в то время, как я должна следить за ходом дела моего в Суде. А вы знаете, что ум мой постоянно должен быть светел! В другое время я скажу вам, как они зовутся у меня, – в другой раз... не теперь... А сегодня, в день такого счастливого предзнаменования, они будут петь сколько им угодно... будут петь в честь юности (улыбка и реверанс), в честь надежды (еще улыбка и реверанс) и в честь красоты (еще улыбка и реверанс). Итак, мы дадим им полюбоваться светом.

Птички начали порхать и чирикать.

– Я не могу открыть окна для них (комната была совершенно закупорена, и это шло к ней как нельзя лучше), – не могу потому, что кошка, которую вы видели внизу – ее зовут леди Джен – давно уже точит на них свои зубки. Она по целым часам караулит их на самом краю парапета. Если бы вы знали, как трудно держать ее подальше от моих дверей.

Где-то по соседству раздался звон часов: он напомнил бедному созданию, что уже половина десятого, и для приведения к концу нашего визита сделал так много, что сами мы ни под каким видом не могли бы сделать того. Старушка-леди торопливо схватила свой мешок с документами, который по приходе в комнату был положен на стол, и потом спросила, не отправляемся ли мы в Суд. Получив от нас отрицательный ответ и уверение в том, что мы ни под каким видом не задерживаем ее, она отворила дверь, с намерением проводить нас вниз.

– С таким счастливым предзнаменованием мне необходимее обыкновенного должно явиться в Суд до прихода канцлера, – сказала она, – быть может, он вспомнит о моем деле прежде всего, у меня даже есть предчувствие, что он непременно напомнит о нем прежде всех других дел.

В то время, как мы спускались с лестницы, она вдруг остановилась, чтобы сказать нам шепотом, что весь дом этот наполнен странным хламом, который владелец дома покупал поштучно и ни за что теперь не хочет продавать, – «но это происходит оттого, что он немного, знаете того... сума...» Это было сказано в верхнем этаже. Но она сделала еще остановку в среднем этаже и молча указала нам на мрачную дверь.

– Здесь живет другой постоялец, – произнесла она шепотом, в пояснение своего указания, – какой-то переписчик. Ребятишки из здешнего квартала говорят, что он продал себя нечистой силе. Я, право, не могу понять, к чему он продавал себя: на что могли понадобиться ему деньги! Тсс!

По-видимому, она не доверяла своему шепоту и полагала, что, при всей ее осторожности, постоялец мог услышать ее. Повторив еще раз «тсс», она пошла впереди нас на цыпочках, как будто опасаясь, что самые звуки ее шагов обнаружат постояльцу то, что она говорила.

Проходя мимо лавки к выходу на улицу тем же самым путем, который служил нам входом в этот дом, мы увидели, что старик стоял перед отверстием, сделанным в полу, и укладывал в него множество свертков грязной бумаги. Он весьма усердно занимался этой работой, потому что пот крупными каплями выступал у него на лбу. В руке его находился кусок мелу, которым, при каждой отдельно спущенной вниз пачке или свертке грязной бумаги, он ставил на деревянной панели крючковатые знаки.

Ричард, Ада, мисс Джэллиби и старушка-леди прошли мимо него без остановки. Но когда я только что сравнялась с ним, он дотронулся до моей руки, сделав знак, чтобы я остановилась, и мелом написал на стене букву Д, написал странным образом, начав выводить ее с правой стороны и нагнув ее на левую. Буква заглавная и не печатная, но точь-в-точь такая, какую написал бы каждый из писцов конторы Кенджа и Карбоя.

– Понимаете ли, что я написал? – спросил он, бросив на меня проницательный взгляд.

– Разумеется, – отвечала я, – ясно как день, что это буква.

– А какая именно?

– Буква Д.

Бросив на меня еще взгляд и взгляд на уличную дверь, он стер эту букву, вместо нее поставил ж (но на этот раз не заглавное) и спросил:

– А это какая буква?

Я отвечала ему. Он стер и эту, заменил ее буквой о и снова обратился ко мне с тем же вопросом. Перемена букв продолжалась быстро, до тех пор, пока из всех их вместе составилось слово «Джорндис», хотя на стене не оставалось и следов писанных букв.

– Ну, что я написал? – спросил он.

Я сказала ему, он расхохотался и потом с такими же странными приемами и с той же быстротой, приступил писать поодиночке другие буквы, из которых образовались слова: «Холодный Дом». С изумлением я прочитала и эти слова; и старик снова рассмеялся.

– Хе, хе! – сказал он, положив в сторону мел. – Видите, мисс, как я умею писать! Не забудьте, это написано на память: я отроду не учился ни читать, ни писать.

Лицо его приняло такое неприятное выражение, и его кошка так злобно поглядывала на меня, как будто я была кровной родней пернатым затворницам, и мне становилось так неловко, что когда Ричард появился в дверях лавки, то как будто камень отвалился от моего сердца.

– Мисс Sommerсон, – сказал Ричард, – надеюсь, что вы не договариваетесь о продаже ваших волос. Сохрани вас Бог от этого! Трех мешков весьма достаточно для мистера Крука.

Я не теряла ни минуты пожелать мистеру Круку доброго утра и, присоединяясь к подругам, ожидавшим меня на улице, вместе с ними простилась с старушкой-леди, которая с величайшей церемонией наделяла нас своими благословениями и возобновила вчерашние свои уверения отказать в духовной все свои поместья мне и Аде. До окончательного нашего выхода из этого квартала, мы оглянулись назад и увидели, что мистер Крук стоял на пороге своей лавки и сквозь очки глядел на нас; на плече его сидела кошка, пушистый хвост которой торчал на стороне его мохнатой шапки как высокий султан.

– Это настоящее утреннее приключение в Лондоне! – сказал Ричард, со вздохом. – Ах, кухня, кухня, если бы вы знали, какое тяжелое, какое неприятное чувство пробуждает во мне слово Суд!

– И для меня это слово также неприятно и всегда было неприятно с тех пор, как я начинаю его помнить, – возразила Ада. – Меня очень печалит мысль, что мне суждено быть врагом, каким я не считаю себя, – врагом множества родственников и других лиц, и что они, в свою очередь, должны быть моими врагами, за которых я не считаю их, и что все мы должны губить друг друга, не зная вовсе, каким образом и зачем, – и, наконец, в течение всей нашей жизни находиться друг у друга в постоянном подозрении и в постоянном раздоре. Ведь справедливость должна же где-нибудь существовать, а между тем не странным ли это покажется, что ни один еще честный и правдивый судья, при всем своем желании, не мог отыскать ее в течение всех этих лет.

– Да, кухня, очень странно! – сказал Ричард. – Вся эта разорительная, медленная шахматная игра кажется чрезвычайно странною. Видеть этот суд, как мы видели его вчера, – видеть его спокойствие в неправильной игре и подумать о жалкой участи пешек на шахматной доске – право, моей голове и сердцу моему становится и тяжело и больно. Голова болит от удивления, почему это творится таким образом, если люди не глупцы и не бездельники; а сердцу тяжело от одной мысли, что эти же самые люди легко могут сделаться теми и другими. Но во всяком случае, Ада... могу ли я называть вас Адой?

– Без всякого сомнения можете, кузен Ричард!

– Во всяком случае, Ада, Суд не произведет на нас своего дурного влияния. Благодаря нашему доброму родственнику, мы, к счастью, встретились друг с другом, и теперь этот суд не в силах разлучить нас.

– Надеюсь, ничто не разлучит нас, кузен Ричард, – тихо произнесла Ада.

Мисс Джэллиби сжала мою руку и в то же время бросила на меня выразительный взгляд. Я отвечала ей улыбкой, и остальная часть прогулки прошла как нельзя приятнее.

Спустя полчаса после нашего прибытия появилась миссис Джэллиби, а в течение следующего часа в столовую появлялись один за другим предметы, составляющие необходимую принадлежность всякого завтрака. Я нисколько не сомневалась, что миссис Джэллиби ложилась на ночь спать, и что в свое время оставила ночное ложе, но по наружным признакам нельзя было заметить, чтобы она снимала свое платье. Во время завтрака она была очень занята: утренняя почта доставила ей тяжелую корреспонденцию касательно Борриобула-Ха, а это обстоятельство предвещало, по ее словам, хлопоты на целый день. Дети резвились и на оборванных ножонках своих, которые и без того уже служили свидетельством их шалостей, клали новые отметины своих подвигов. Пипи пропал целых полтора часа и был приведен, наконец, с Ньюгетского рынка полицейским стражем. Равнодушие, которое миссис Джэллиби сохраняла как во время его отсутствия, так и при его возвращении в семейный кружок, изумило нас всех.

Завтрак кончился и миссис Джэллиби деятельно принялась диктовать своей Кадди, а Кадди быстро погружалась в то чернильное состояние, в котором мы застали ее накануне. В час пополудни за нами приехала открытая коляска и телега за нашим багажом. Миссис Джэллиби обременила нас множеством напоминаний о себе своему доброму другу мистеру Джорндису; Кадди оставила свою работу. В коридоре она поцеловала меня и, утирая слезы и кусая перо, смотрела с лестницы за нашим отъездом. Пипи – я с удовольствием могу сказать – спал в это время и избавил нас от лишних ощущений горести, неизбежной при разлуке (предположения мои, что он убежал к Ньюгетскому рынку отыскивать меня, имели свою основательность); прочие дети вешались позади нашего экипажа. Проезжая мимо двора Тавия, мы с состраданием и беспокойством увидели, как все они рассыпались по поверхности этого двора.

VI. Совершенно дома

День значительно прояснился и, вместе с тем, как коляска наша двигалась к западу, все еще продолжал выяснивать. Мы проехали, озаренные солнечным светом, по свежему воздуху, удивляясь более и более протяжению улиц, великолепию магазинов, обширной торговле и толпам народа, которых прекрасная погода, по-видимому, вызвала на улицу, как собрание пестрых цветов. Но вот мы начали оставлять удивительный город и проезжать по его предместьям, которые, на мой взгляд, сами по себе могли бы составить довольно обширный город; наконец снова выбрались на настоящую загородную дорогу, с ее ветряными мельницами, с ее скирдами сена, с мыльными столбами, с вагонами фермеров, с запахом сена, с вывесками, качающимися от ветра, и колодами для водопоя, – с ее деревьями, полями и живыми изгородями. Для нас было восхитительно видеть впереди зеленеющий ландшафт, а назад – огромную столицу; и когда вагон, запряженный парой прекрасных лошадей, в красных сеточках на головах и с звучными колокольчиками на шеях, прошел мимо нас с своей музыкой, мне кажется, что в ту минуту мы все трое готовы были вторить звукам этих колокольчиков: такое отрадное влияние производило на нас все окружающее.

– Вся эта дорога живо напоминает мне моего тезку Виттингтона, – сказал Ричард, – и этот вагон составляет окончательный штрих в картине. Алло! что это значит?

Мы остановились; в то же время остановился и вагон. Вместе с этой остановкой и музыка вагона изменилась и перешла в нежное брнчанье, рассыпавшееся от времени до времени дробью серебристых звуков колокольчика, когда которая-нибудь из лошадей махала головой или отряжалась.

– Наш ямщик все время поджидал этого вагонщика, – сказал Ричард, – и вот вагонщик подходит теперь к нам... Добрый день, приятель!

Вагонщик стоял у дворец нашей коляски.

– Что за странная вещь! – прибавил Ричард, внимательно осматривая человека. – Посмотрите, Ада, у него на шляпе выставлено ваше имя!

На его шляпе находились имена всех нас. За ленточкой были заткнуты три небольшие записки: одна – на имя Ады, другая – на имя Ричарда, и третья – на мое. Вагонщик, прочитав сначала надпись, передал каждую записку прямо по адресу. На вопрос Ричарда, от кого они посланы, вагонщик отвечал отрывисто: «От господина, сэр», и, надев шляпу, которая была похожа на мягкий таз, хлопнул бичом, пробудил свою музыку, и мелодические звуки ее стали долетать до нас слабее и слабее.

– Чей это вагон? не мистера ли Джорндиса? – спросил Ричард нашего ямщика.

– Точно так, сэр, – отвечал ямщик. – Отправляется в Лондон.

Мы распечатали записки. Каждая из них была дубликатом другой и заключала в себе следующие слова, написанные четким и красивым почерком:

«Я ожидаю, мои милые, нашей встречи весьма спокойно, и при этом случае не желал бы видеть принуждения ни с той, ни с другой стороны. Вследствие такого желания, предупреждаю вас, что мы встретимся как старые друзья, и о прошедшем не должно быть помину. Для вас это будет служить весьма вероятным, а для меня – совершенным облегчением, и потому с любовью к вам остаюсь

Джон Джорндис».

Быть может, я более моих спутников имела причины изумляться такому посланию, потому что мне до сих пор не представлялось случая выразить свою благодарность тому, кто в течение столь многих лет был моим благодетелем и моей единственной в мире опорой. Мне никогда еще не приводилось подумать о том, буду ли я в состоянии выразить всю мою признательность, которая слишком глубоко лежала в моем сердце. Только теперь я начала думать и

обдумывать о том, каким образом я встречу с ним не поблагодарив его, и чувствовала, что исполнить это будет чрезвычайно трудно.

В душе Ричарда и Ады полученные записки пробудили одинаковое ощущение. Сами не зная почему, они убеждены были, что выражение благодарности за какое бы то ни было благодеяние будет неприятно для их кузена Джорндиса, и что, во избежание подобных объяснений, он согласится прибегнуть к самым странным средствам и уверткам, – он даже готов будет убежать от них. Ада слабо припоминала слова своей матери, переданные ей во время раннего ее детства, что когда, при одном необыкновенно великодушном и щедром с его стороны поступке, Ада отправилась к нему на дом поблагодарить его, он случайно увидел из окна, как она подходила к дверям, в ту же минуту вышел через заднее крыльцо и в течение трех месяцев никто не знал, куда он девался. Разговор наш на одну и ту же тему развивался более и более; он занимал нас в течение целого дня, и о другом мы почти ни о чем не говорили, а если и случалось переходить на другой предмет, то очень скоро возвращались к прежнему. Мы старались отгадать, какую наружность имел дом мистера Джорндиса; доехав до него, увидим ли мы мистера Джорндиса сейчас же после нашего приезда, или спустя некоторое время, о чем он будет говорить с нами, и что будем мы отвечать ему. Обо всем этом мы судили, догадывались, делали свои заключения и повторяли это снова и снова.

Дорога была очень тяжела для лошадей, но тропинка для пешеходов находилась в самом хорошем состоянии; и потому мы выходили из коляски и пешком поднимались на вершины гор. Нам так нравилась эта прогулка, что мы продолжали ее, достигнув возвышения, где дорога снова становилась ровною и гладкою. В Бэрнете нас ожидала новая смена лошадей. Лошадей этих только что перед нами накормили, и нам нужно было подождать; вследствие этого мы снова сделали прогулку, и довольно длинную, по широкому полю, ознаменованному какой-то кровопролитной битвой, и гуляли до тех пор, пока коляска не догнала нас. Эти прогулки до такой степени замедляли нашу поездку, что коротенький день совершенно прошел, и длинная ночь наступила задолго перед тем, как нам приехать в Сент-Альфанс, близ которого, как нам известно было, находился Холодный Дом.

В это время мы испытывали такое нетерпение, такое душевное волнение, что, когда коляска наша прыгала и стучала по каменной мостовой старинной улицы, Ричард признался, что чувствовал безрассудное желание воротиться назад. С наступлением ночи задул резкий ветер и сделался мороз, так что Ада, которую Ричард с величайшей заботливостью укутал, и я дрожали с головы до ног. Когда, обогнув угол, коляска наша выехала за город, и когда Ричард сказал нам, что ямщик, который обнаруживал сострадание к нашему так высоко настроенному нетерпению, оглядывается и кивает головой, мы приподнялись в коляске на ноги (Ричард поддерживал Аду, из опасения, чтоб она не упала) и старались открыть взорами, на открытом пространстве, освещенном сиянием звезд, место нашего назначения. На вершине холма, возвышавшегося впереди, мерцал огонек. Указав бичом на этот огонек и воскликнув: «Вон Холодный Дом!», ямщик, несмотря, что дорога шла в гору, пустил лошадей в галоп, и они помчали нас с такой быстротой, что из-под колес поднималось облако страшной пыли, которое осыпало нас будто брызгами из-под колес водяной мельницы. Огонек то скрывался от наших взоров и опять открывался, то снова прятался и снова появлялся; наконец мы повернули в аллею и вскоре примчали к тому месту, где тот же самый огонек светил уже довольно ярко. Он находился в окне – так по крайней мере казалось нам в темноте ночи – старинного дома, с тремя шпицами на кровле лицевого фасада и с полуциркульным подъездом, ведущим к portalу. Вместе с тем, как мы остановились, раздался звон колокольчика, и среди звуков его, звонко разливавшихся по тихому воздуху, среди отдаленного лая нескольких собак, среди яркой полосы света, вырывавшегося из открытых дверей, среди клубов пару, поднимавшегося с усталых лошадей, и при усиленном биении наших сердец, мы вышли из коляски в сильном смущении.

– Ада, душа моя! Эсфирь, моя милая! здравствуйте, здравствуйте! Как я рад, что вижу вас!.. Рик, если б в эту минуту у меня была еще рука, я подал бы ее тебе!

Джентльмен, произносивший эти слова, чистым, звучным гостеприимным голосом, одной рукой обнял стан Ады, а другой – мой, целовал нас с отеческой нежностью и наконец провел через залу в уютную комнатку, озаренную ярким, красноватым светом пылающего камина. Здесь он снова поцеловал нас и, освободив свои руки, посадил меня и Аду друг подле друга на софу, нарочно придвинутую поближе к камину. Я чувствовала, что, если бы в эту минуту мы стали стеснять себя, он в одну секунду убежал бы от нас.

– Теперь, Рик, твоя очередь, – сказал он, – моя рука свободна теперь. Одно слово от чистого сердца заменяет хорошую речь. Я от души, от всей души рад видеть тебя. Будь здесь совершенно как дома и прежде всего обогрейся.

Ричард с чувством уважения и искренности, явно выражавшимся на его лице, сжал его руку обеими руками и сказал (хотя и с некоторою горячностью, которая сильно тревожила меня: я одного только и боялась теперь, что, при малейшей с нашей стороны опрометчивости, мистер Джорндис внезапно исчезнет):

– Вы очень добры, сэр! Мы чрезвычайно много обязаны вам.

Вместе с этим Ричард положил свою шляпу и пальто и подсел к камину.

– Теперь скажите, понравилась ли вам эта поездка и понравилась ли вам миссис Джэллиби? – сказал мистер Джорндис, обращаясь к Аде.

В то время, как Ада отвечала на этот вопрос, я взглянула (не считая за нужное говорить, с каким любопытством взглянула я) на лицо мистера Джорндиса. Это было приятное, умное, одушевленное лицо, быстро отражающее на себе все малейшие движения души; в волосах его просвечивала серебристая проседь. По моему мнению, лета его скорее приближались к шестидесяти, а не к пятидесяти; но, несмотря на то, он имел прямой стан, мужественную осанку и крепкое телосложение. С самой той минуты, как он заговорил с нами, его голос отзывался в душе моей знакомыми звуками, которых я не могла определить; но вслед за тем что-то особенное, выразительное в его манере, какое-то особенно приятное выражение в его глазах в ту же минуту напомнили мне джентльмена, с которым, шесть лет тому назад, в незабвенный день моего отъезда в Ридинг, я встретила в дилижансе. Я была уверена, что это был тот самый джентльмен. Во всю жизнь мою я не испытывала такого страха, как при этом открытии, потому что мистер Джорндис уловил мой взор и, по-видимому, читая в нем мои сокровенные мысли, бросил на дверь такой выразительный взгляд, что я невольным образом подумала, что мы тотчас лишимся его.

Как бы то ни было, мне приятно сказать, что он остался на месте и спросил мое мнение о миссис Джэллиби.

– Она слишком занята африканским делом, сэр, – отвечала я.

– Благородно! – возразил мистер Джорндис. – Но вы отвечаете мне словами Ады. (Мимоходом сказать, я вовсе не слышала, что отвечала ему Ада.) У вас у всех, как я вижу, на уме совсем другое.

– Ваша правда, сэр, – сказала я, взглянув на Ричарда и Аду, которые взорами умоляли меня отвечать за них. – Мы думали, что миссис Джэллиби, при своих занятиях, сделалась немного беспечна к своему семейству.

– Ну, опять срезала! – вскричал мистер Джорндис.

Это восклицание снова встревожило меня.

– Однако, я опять вам скажу, что мне хотелось бы знать ваше настоящее мнение, моя милая. Почему вы знаете, быть может, я отправил вас туда именно с этой целью.

– Мы полагаем, сэр, – сказала я, с заметной нерешимостью, – мы полагали, сэр, что всего справедливее начать с семейных обязанностей, и что если на эти обязанности смотрят сквозь пальцы и пренебрегают ими, то другие и подавно не будут служить для них заменой.

– Маленькие Джэллиби, – сказал Ричард, являясь мне на помощь, – находятся... извините, сэр, но я должен употребить более сильное выражение... они находятся в самом жалком положении.

– Ну, так и есть! она правду говорит, – сказал мистер Джорндис, весьма торопливо. – Ветер дует восточный.

– Ветер был северный, когда мы ехали сюда, – заметил Ричард.

– Любезный мой Рик, – сказал мистер Джорндис, поправляя в камине огонь, – я готов побожиться, что ветер или уже сделался, или хочет сделаться восточным. Я всегда испытываю неприятное ощущение, лишь только ветер начинает задуть с востока.

– Вероятно, это следствие ревматизма, сэр? – сказал Ричард.

– Я сам то же думаю, Рик. Я даже уверен, что это ревматизм. Итак, маленькие Джэллиби... да нет, насчет ветра мне что-то не верится... так маленькие Джэллиби находятся в самом... ах, Боже мой! так и есть: непременно восточный ветер! – сказал мистер Джорндис.

Произнося эти слова, он раза три и, по-видимому, без всякой цели прошелся по комнате. В одной руке держал он маленькую кочергу, а другой приглаживал волосы, выражая на кротком лице своем досаду в одно и то же время такую странную и такую милую, что, мне кажется, при этом мы уже не пугались, но приходили в восторг, которого не выразить никакими словами. Он подал одну руку Аде, а другую мне, и, приказав Ричарду взять свечу, приготовился вывести нас из этой комнаты, как вдруг повернулся назад, и мы снова остались на своих местах.

– Так эти маленькие Джэллиби... Разве вы не могли... разве... ну, как вы думаете, если б вдруг на них посыпался дождь в виде конфет или треугольных пирожков с малиновым вареньем, или что-нибудь в этом роде! – сказал мистер Джорндис.

– О, кузен!.. – начала было Ада, довольно поспешно.

– Ну, вот это так, моя милочка. Я люблю, когда зовут меня кузеном. Еще бы лучше было, если б ты сказала: кузен Джон.

– Я вам вот что скажу, кузен Джон!.. – снова начала было Ада и громко рассмеялась.

– Ха, ха! Вот это мило, прекрасно! – сказал мистер Джорндис, с величайшим удовольствием. – Это звучит необыкновенно как натурально. Ну, что же ты скажешь, душа моя?

– А то, что для них выпал дождь гораздо лучше этого: для них сахарный дождь заменялся самой Эсфирью.

– Это как так? – сказал мистер Джорндис. – Что же сделала для них Эсфирь?

– Вот что... я сейчас расскажу вам все, кузен Джон, – сказала Ада, сложив свои ручки на его руке и кивая мне головкой, потому что в это время я сделала ей знак, чтобы она не говорила обо мне. – Эсфирь с первого разу подружилась с ними. Эсфирь нянчила их, убаюкивала, умывала и одевала, рассказывала им сказки, удерживала их от шалостей, купала им игрушки (Моя милая, добрая Ада! после того, как отыскался бедный Пипи, я прогулялась с ним и купила для него одну только оловянную лошадку!)... и вот еще что, кузен Джон: она утешала бедную Каролину, старшую дочь миссис Джэллиби... и если б вы знали, как она заботлива была ко мне, как мила и как любезна!.. Нет, нет, пожалуйста, Эсфирь, не возражай! ты сама знаешь, что это правда!

Признательная любимица души моей нагнулась ко мне, поцеловала меня и потом, взглянув в лицо кузена, смело сказала ему:

– Во всяком случае, кузен Джон, я хочу, я должна благодарить вас за подругу, которую вы подарили мне.

При этих словах я чувствовала, будто Ада нарочно возбуждала желание в своем кузене убежать от нас. Однако, он не убежал.

– Как ты давеча сказал, Рик, откуда дует ветер? – спросил мистер Джорндис.

– С севера; но это было, когда мы ехали сюда.

– Ты сказал правду. Восточного ветра совсем теперь нет. Это моя ошибка. Пойдемте же, мои милые, пойдемте: посмотрите ваше новое жилище, ваш дом.

Это был один из тех очаровательно-неправильных домов, где вы поднимаетесь и спускаетесь по ступенькам из одной комнаты в другую, где перед вами являются еще комнаты, в то время, как вы полагали, что уже больше не увидите их; где встречаете еще обильный запас маленьких гостиных и коридоров, между которыми неожиданно встречаете еще маленькие сельские комнатки, с жалюзи в окнах, сквозь которые пробиваются плющ и яркая зелень. Моя комната, первая из предстоящих для нашего осмотра, имела именно вот эту наружность, с прибавлением к ней потолка из стрельчатого свода, от которого являлось такое множество углов, какого впоследствии я никаким образом не могла насчитать, и камина, вымощенного вокруг чистыми белыми изразцами, в каждом из которых пылающий в камине огонек отражался в миниатюрном виде. Из этой комнаты вы спускаетесь по двум ступенькам и входите в очаровательную маленькую гостиную, выходящую в цветочный сад. Этой комнате предназначено было принадлежать отныне мне и Аде. Из этой гостиной, по трем ступенькам, вы поднимаетесь в спальню Ады, с прекрасным венецианским окном, из которого представлялся пленительный вид (впрочем, во время нашего осмотра за окнами представлялся один только непроницаемый мрак, под сводом темно-голубого, усеянного звездами неба). В просвете окна находилось углубление, и в нем устроено было место для сиденья; но это место замечательно тем, что, не вставая с него, посредством пружины, не одна, но три прелестных Ады, в один момент, могли бы исчезнуть из этой комнаты и очутиться в самом миниатюрном кабинете. Из спальни Ады вы вступаете в небольшую галерею, с которой соединялись другие парадные комнаты (между прочим, всего только две), и чрез нее, по маленькой лестнице, с отлогими ступенями, вы входите в приемную залу. Но если б, вместо того, чтоб выйти из комнаты Ады в коридор, вы вздумали вернуться в мою комнату и из нее подняться на несколько ступенек по извилистой лестнице, которая совершенно неожиданно отделялась от главной лестницы, вы заблудились бы в коридорах, между катками и шкафами, треугольными столиками и настоящим индийским стулом, который вместе с тем служил и софой, и сундуком, и кроватью... короче сказать, стул этот имел сходство с чем-то средним между бамбуковым остовом крошечного здания и огромнейшей птичьей клеткой, и который привезен был из Индии неизвестно кем и когда. Из этих коридоров вы входите в комнату Ричарда, которая частью была библиотека, частью гостиная и частью спальня; вообще, можно сказать, что она имела вид комфортабельного соединения множества комнат. Из комнаты Ричарда, перейдя еще один коридор, вы вступали в простую комнату, где почивал мистер Джорндис круглый год с открытым окном. Кроме кровати, в ней не было никакой другой мебели; да и самая кровать стояла на самой середине для того, чтобы, в строгом смысле слова, спать на чистом воздухе. В небольшой комнатке, примыкавшей к этой спальне, была устроена холодная ванна, из которой вы еще раз входите в коридор, где находились задние лестницы, и где звуки скребницы, которою чистили лошадей, крики: «Стой! сюда! вот так!» и стук лошадиных копыт о булыжную мостовую долетали до вас из конюшен, вероятно, находившихся в весьма близком расстоянии. А если б из той же спальни мистера Джорндиса вы вышли в другую дверь (надобно заметить, что в каждой комнате находилось по крайней мере двое дверей) и спустились бы по каким-нибудь шести-семи ступенькам, то снова явились бы в приемной зале и стали бы изумляться тому, каким образом вы снова очутились в нем или в какие двери выходили из него.

Мебель, скорее старинная, чем старая, как и самый дом, отличалась приятной иррегулярностью. Спальня Ады была вся в цветах: цветы на ситцах и шпалерах, на бархате, на гарусном шитье и на парче двух массивных, жестких, некогда парадных стульев, поставленных, вместе с двумя другими маленькими стульями, по обе стороны камина. Наша гостиная была зеленая. По стенам ее, в рамках за стеклом и без стекол, развешено было множество удивительных и удивленных птиц, которые, выпучив глаза, смотрели из своих рамок, – одни – на настоящую

форель под стеклянным колпаком, такую коричневую и блестящую, как будто она была облита соусом, другие – на смерть капитана Кука, а самая большая часть из них – на весь процесс приготовления в Китае чаю, изображенный китайскими артистами. В моей комнате находились гравюры овальной формы, изображающие эмблемы месяцев, – как, например, июнь изображался дамами, собирающими сено, в платьях с коротенькими талиями и огромных шляпках, туго подвязанных под самым подбородком, а октябрь – нобльменами в штиблетах, указывающими треугольными шляпами на церковный шпиль отдаленной деревни. Портреты, в половину роста, рисованные карандашом, наполняли весь дом; но они в таком беспорядке были рассеяны по комнатам, что брата молодого офицера, висевшего в моей спальне, я нашла в китайском кабинете, а убеленная сединами старушка – повторение премиленькой молоденькой невесты, с цветком на груди, висевшей тоже в моей комнате, находилась в столовой. Вместо того повешены были: старинная гравюра времен королевы Анны, изображающая четырех ангелов, в венках, с некоторым затруднением поднимающих на небо какого-то джентльмена, и шитье по канве, представлявшее какое-то смешение плодов и заглавных букв всей азбуки. Вся прочая подвижность, начиная от гардеробных шкафов до стульев, столов, занавесей, зеркал, даже до булавочных подушек и хрустальных флакончиков, представляла то же самое разнообразие. Все комнаты ни в чем больше не согласовались между собой, как в одной только удивительной опрятности и чистоте и в значительном запасе розовых листьев и душистой лаванды, и в особенностях в ящиках комодов, где всего удобнее помещался этот запас. Таковы были первые впечатления, произведенные на нас Холодным Домом, с его окнами, из которых вырывался яркий свет, смягчаемый в некоторых местах занавесями, с его пылающим камином, отрадной теплотой и комфортом, с его гостеприимными звуками, долетавшими до нас из отдаленных комнат и говорившими о приготовлениях к обеду, с лицом его великодушного хозяина, – лицом, озаренным неподдельной радостью и отражавшим это чувство на все, с чем встречались наши взоры, и, наконец, легким гулом только что задувшего ветра, уныло, но вместе с тем приятно вторившим всему, что мы слышали.

– Я очень рад, что мой дом понравился вам, – сказал мистер Джорндис, по возвращении нашем в комнату Ады. – В нем нет лишнего, правда; но, надеюсь, что этот уголок довольно комфортабелен и будет еще комфортабельнее под влиянием таких светлых, юношеских взоров. Однако, вам остается всего полчаса до обеда. Здесь вы никого не увидите, кроме одного прекраснейшего создания в свете – одного ребенка.

– Радуйся, Эсфирь! и здесь есть дети! – сказала Ада.

– Пожалуйста вы не сочтите этого создания в буквальном смысле за ребенка, – продолжал мистер Джорндис. – Относительно возраста его нельзя назвать ребенком: он уже взрослый мужчина и летами своими едва ли не старше меня; но, по простоте своей, по свежести чувств своих, по энтузиазму и вполне непритворной неспособности ко всем мирским делам, он настоящий ребенок.

Мы чувствовали, что это лицо должно быть очень интересно.

– Он знаком с миссис Джэллиби, – сказал мистер Джорндис. – Он музыкант, то есть музыкант в душе, хотя и мог бы быть музыкантом на самом деле; он артист, и тоже в душе, хотя мог бы быть артистом на самом деле. Вообще он человек с большими дарованиями и пленительными манерами. Он был несчастлив в своих делах, несчастлив в своем призвании и, наконец, несчастлив в своем семействе; но его нисколько не тревожит это: он настоящий ребенок!

– Вы, кажется, сказали, что он имел своих детей? – спросил Ричард.

– Да, Рик, имел, с полдюжины и даже больше... почти дюжину, так по крайней мере я должен полагать. Но он нисколько не заботился о них, – да и мог ли он? Нужно было, чтобы кто-нибудь о нем позаботился. Ведь я сказал вам, что он сам ребенок! – отвечал мистер Джорндис.

– Но, позвольте спросить, заботились ли о себе хоть сколько-нибудь его дети? – спросил Ричард.

– В этом отношении я предоставляю тебе самому сделать заключение, – сказал мистер Джорндис, и выражение лица его вдруг приняло недовольный вид. – Дети Гарольда Скимполя, как и всякого бедного человека, не получили приличного образования, а между тем, так или иначе, успели, однако же, шагнуть несколько вперед... Что это, неужели ветер снова повернул к востоку? да, да, я чувствую, что повернул.

Ричард сделал замечание, что Холодный Дом построен на таком месте, которое совершенно открыто для северного ветра.

– Да, действительно открыто, – сказал мистер Джорндис. – Без всякого сомнения, это и есть главная причина моего беспокойства насчет ветра, – сказал мистер Джорндис. – Уж одно название «Холодный Дом» ясно говорит, что он открыт для северного ветра... Однако, нам, кажется, с тобой по пути: так пойдем же вместе!

Наше имущество, заранее отправленное из Лондона, прибыло сюда до нашего приезда, и мне предстояло посвятить моему туалету всего несколько минут. Окончив его, я занялась приведением в порядок моего мирского достояния, как вдруг в комнату мою вошла служанка (не та, которой назначено было находиться при Аде, но которой я еще не видела) и в небольшой коробочке принесла две связки ключей, с маленькими ярлычками на каждом.

– Это для вас, мисс, – сказала она.

– Для меня? – спросила я.

– Точно так, мисс. – Это ключи от домашнего хозяйства.

Вместо ответа на лице моем выразилось крайнее изумление тем более, что служанка, едва ли не с таким же изумлением прибавила:

– Мне приказано принести их к вам, мисс, как только останетесь вы наедине. Кажется, если не ошибаюсь, я имею удовольствие говорить с мисс Соммерсон?

– Да, – отвечала я, – это мое имя.

– В большой связке находятся ключи от замков, которые вы увидите в комнатах, а в маленькой – от погребов. Не угодно ли вам назначить время на завтрашнее утро, и я покажу вам, к каким именно замкам они принадлежат и что под теми замками находится.

Я отвечала, что буду готова в половине седьмого, и, по уходе служанки, устремила взоры на ключи, совершенно теряясь в громадности возлагаемого на меня поручения. Ада застала меня в этом положении, и когда я показала ей ключи и рассказала, почему они очутились в моей комнате, она выразила такую очаровательную уверенность в мое умение вести хозяйство, что с моей стороны было бы верх бесчувственности и неблагодарности не видеть в словах ее одобрения. Разумеется, я знала, что Ада не была уверена в своих словах: она высказала их по свойственному ей добродушию; но мне приятно было показывать вид, что я совершенно не замечаю ее милого заблуждения.

Когда мы спустились в столовую, нас представили мистеру Скимполю, который стоял перед камином и рассказывал Ричарду, как любил он, в бытность свою в школе, играть в мяч. Это было небольшое создание, с довольно большой головой, но приятным лицом, нежным голосом и какой-то особенной прелестью, которая обнаруживалась во всей его особе. Все, что говорилось им, было до такой степени чуждо всякой натяжки и произносилось с такой пленительной откровенностью, с таким веселым расположением духа, что слушать его служило для нас настоящим очарованием. При более стройном, в сравнении с мистером Джорндисом, стане, при более свежем, румяном лице и темных волосах, он казался гораздо моложе. Вернее, можно сказать, что он, во всех отношениях, имел наружность молодого человека, утратившего свою молодость, нежели на пожилых лет мужчину, сохранившего физические силы. В его обращении, в его манере заметна была какая-то легкая небрежность; то же самое замечалось и в одежде (не говоря уже про беспечную прическу волос и свободную, небрежную повязку

шейного платка, с которыми, сколько я замечала, художники пишут свои собственные портреты), – все это вместе сливалось в одну идею о романтическом юноше, испытывавшем на себе необыкновенный процесс унижения своего достоинства. Меня поражало то обстоятельство, что, по наружности своей и по манере, он не имел ни малейшего сходства с человеком, который подвинулся в жизни по обыкновенной дороге, проложенной годами, заботами и испытаниями.

Я узнала из разговора, что мистер Скимполь воспитывался и приготавливал себя к медицинской профессии и некоторое время принадлежал к свите какого-то германского принца, в качестве медика. Он сказывал, что, касательно значения аптекарского веса и меры, он постоянно был ребенком, что он ровно ничего не знал о них (за исключением разве того, что они внушали к себе сильное отвращение), а вследствие того он никогда не мог прописывать рецепты с тою аккуратностью и с теми мельчайшими подробностями, каких требовали наука и состояние пациентов. Судя по его словам, его голова была не так устроена, чтобы вмещать в себе подробности. Он с величайшим юмором рассказывал нам, что когда его приглашали пустить кровь принцу или подать помощь кому-нибудь из домашних, то, по обыкновению, его заставляли или в постели, где он любовался потолком, или за чтением газеты, или за каким-нибудь фантастическим рисунком, – и, само собою разумеется, не мог же он оторваться от подобных занятий. Принцу крайне не нравилось это. Сначала он делал замечания, и делал их совершенно справедливо, как говорил мистер Скимполь с неподражаемым простосердечием, и, наконец, уничтожил условие. Скимполь, не имея никаких средств, кроме любви, к своему существованию (это было сказано с очаровательной наивностью), влюбился, женился и окружил себя розовыми купидончиками. Его добрый друг Джорндис и некоторые другие из его добрых друзей старались, в более быстрой или медленной последовательности, открывать для него различные дороги в жизни; но старания их остались безуспешны, и неудивительно, если принять в соображение два самые странные недостатка, в которых он чистосердечно признавался, и именно: один из них состоял в том, что мистер Скимполь не имел никакого понятия о времени, а другой – в том, что он не имел никакого понятия о деньгах. Вследствие этих недостатков, мистер Скимполь всегда забывал о назначенных свиданиях, никогда не мог вести дела надлежащим образом и никогда не знал надлежащей цены всякого рода предметам. Что станете делать! Он делал успехи в жизни по-своему и, подвигаясь по своей дороге, очутился с нами в одном и том же месте. Он очень любил читать газеты, любил рисовать фантастические этюды, любил природу, любил искусство. От общества он просил только одного, чтоб ему позволено было жить на свободе. Кажется, это немного! Его нужды были весьма немногие. Дайте ему газеты, представьте ему случай побеседовать, дайте ему музыку, баранины, кофе, ландшафт, свежие плоды в летний сезон, несколько листов бристольской бумаги, немного красного вина, – и, право, он больше ничего не стал бы просить. В кругу людей он был настоящий ребенок, – но не такой ребенок, который бы расплакался, не получив желаемой игрушки. Раз и навсегда он сказал всем людям: «Идите с миром каждый по своей дороге! носите красные мундиры, синие фраки, батистовые нарукавники, носите перья за ушами, носите фартуки; ищите славы и стремитесь за ней, следите за торговлей, занимайтесь ремеслом, делайте что вам угодно, но только дайте Гарольду Скимполю жить на свободе!»

Все это и многое другое он рассказывал нам не только с беспредельным юмором и наслаждением, но и в некоторой степени с одушевлением и чистосердечием. Он говорил о своих деяниях и подвигах, как будто никогда не принимал в них участия, как будто Скимполь был третье лицо, как будто он знал, что Скимполь имел свои странности, свои особенности, но вместе с тем имел и свои права, которыми пользовались другие люди, и потому ни под каким видом не должны быть нарушены. Он был очарователен, в строгом смысле этого слова. Если идеи мои в ту раннюю пору моей жизни были еще довольно смутны, то, стараясь примирить все сказанное им с тем, что я считала обязанностью и ответственностью в жизни, я находилась

еще в большем недоумении, не постигая вполне, почему он освобождался от них. Что он был свободен от них, в этом я почти не сомневалась; да он и сам был уверен в этом.

– Я ничего не ищу, ничего не домогаюсь, – сказал мистер Скимполь, с прежней беспечностью и без принуждения. – Быть владельцем чего-нибудь, делать приобретения не имеет для меня ни малейшей привлекательности. Например, вот этот прекраснейший дом принадлежит моему другу Джорндису. Я чувствую себя вполне обязанным ему за то, что он владеет этим домом. Я могу срисовывать этот дом, могу делать в своем рисунке различные изменения, я могу огласить его музыкой. Бывая здесь, я достаточно владею этим домом и, к тому же, не знаю ни хлопот, ни забот, ни издержек, ни ответственности. Короче вам сказать, имя моего домоправителя Джорндис, – и уж он, поверьте, не обманет меня... Мы заговорили было о миссис Джэллиби. Надобно вам сказать, эта женщина одарена светлым взглядом, силою воли и беспредельной способностью заниматься делами и вникать во все их подробности, – женщина, которая бросается в предприятия с изумительным рвением! С своей стороны я не сожалею, что природа не наделила меня силой воли и необыкновенной способностью заниматься делами, чтобы бросаться в предприятия с изумительным рвением. Я могу восхищаться способностями этой женщины без всякой зависти. Я могу сочувствовать ее предприятиям. Я могу мечтать о них. Я могу лежать на траве – само собою разумеется, в хорошую погоду – и, в то же время, плавать по африканской реке, обнимать каждого встречного туземца, ощущать и ценить глубокое безмолвие африканской природы, рисовать пышную, роскошную растительность тропического климата так верно, так аккуратно, как будто в минуты моих созерцаний я находился там. Не знаю, можно ли из этого извлечь какую-нибудь существенную пользу, – но это все, что я в состоянии сделать, и сделать отчетливо, совершенно. Поэтому, ради Бога, предоставьте Гарольду Скимполю, этому доверчивому ребенку, умолять вас, умолять весь мир, умолять все сословие практических людей, сделавших похвальную привычку заниматься делом, – да позволено будет ему существовать между ними и любоваться человеческим семейством! Сделайте это так или иначе, по внушению вашего доброго сердца, и предоставьте ему полную свободу кататься на своем коньке!

Ясно было, что мистер Джорндис не оставлял без внимания подобную мольбу. Мистер Скимполь находился в таком положении, что нельзя было оставить этого без внимания, даже если б он и не прибавил следующих слов:

– Только вам, великодушные создания, – вам одним я завидую, – сказал мистер Скимполь, обращаясь к нам, новым знакомым, – завидую вашей способности делать то, что вы делаете. Имея эту способность, я приходил бы в восторг от самого себя. Я не чувствую простой, грубой признательности к вам. Напротив того, мне кажется, вам бы следовало быть благодарными мне, за то, что я доставляю вам случай наслаждаться приятным сознанием своего великодушия. Я знаю, это вам нравится. Смело и утвердительно могу сказать, что я явился в этот свет, собственно, затем, чтоб увеличить запас вашего счастья. Почему знать, быть может, я затем и родился, чтобы быть вашим благодетелем, предоставляя вам от времени до времени случай помогать мне в моих маленьких затруднениях. Стоит ли сожалеть, что я не способен к общественным занятиям, если эта неспособность доставляет такие приятные последствия? И поэтому я не сожалею.

Из всех игривых речений (игривых, но всегда выражавших какой-нибудь смысл) ни одно, по-видимому, не нравилось так мистеру Джорндису, как это. Впоследствии я очень часто удивлялась, действительно ли было замечательным или замечательным только для меня, что человек, который, по всей вероятности, был признательнейшим существом и изъяснял свою признательность при малейшем случае, должен до такой степени чуждаться благодарности других людей.

Мы все были очарованы. Откровенность мистера Скимполя, его в высшей степени приятное описание своей особы я считала за должную дань пленительным качествам Ады и Ричарда,

тем более, что мистер Скимполь виделся с ними в первый раз. Весьма натурально, что они, особенно Ричард, оставались довольны по тем же самым причинам и считали за особенную честь, что такой привлекательный человек открывался перед ними, вверялся им так непринужденно. Чем далее мы слушали, тем свободнее говорил мистер Скимполь. И сколько прелести заключалось в его беспечной радости и одушевлении, в его пленительной горячности, в его безыскусственном умении игриво обнаруживать свои недостатки, как будто он говорил в это время: «Ведь я ребенок, вы это знаете! В сравнении со мной, вы – люди, полные коварных умыслов (на меня, действительно, смотрел он именно с этой точки зрения); а я между тем беспечен, весел и невинен. Забудьте все ваши светские ухищрения и играйте со мной!»

Короче сказать, эффект, производимый мистером Скимполем, был ослепителен.

Он до такой степени был чувствителен, душа его была до такой степени восприимчива ко всему прекрасному и нежному, что только одним этим он мог бы приобрести расположение. Вечером, когда я готовила чай, а Ада в соседней комнате тихо играла на фортепьяно и вполголоса напевала кузену Ричарду романс, который случайно пришел им на память, мистер Скимполь явился в столовую и, расположившись на софе, недалеко от меня, начал говорить об Аде так мило, что я почти полюбила его.

– Она похожа на ясное утро, – говорил он. – С этими золотистыми волосами, с этими голубыми глазами и этим свежим румянцем на ее ланитах, она удивительно похожа на светлое майское утро. Вот посмотрите, здешние птички непременно сочтут ее за утро. Мы не будем называть сироткой такое очаровательное юное создание, которое служит отрадой всему человечеству. Она, по-моему, дитя вселенной.

Я заметила, что мистер Джорндис стоял позади Скимполя; его руки были откинuty назад, и на лице его играла выразительная улыбка.

– Я боюсь, – сказал он, – что свет – довольно равнодушен.

– Неужели! Не знаю! – вскричал мистер Скимполь протяжно.

– А мне кажется, я знаю, – сказал мистер Джорндис.

– Конечно, конечно! – вскричал Скимполь, – вы знаете свет (это, по вашим понятиям, то же, что вселенная), а я о вашем свете ровно ничего не знаю; поэтому вы должны идти своей дорогой. Но если б я имел свою дорогу (при этом мистер Скимполь взглянул на Аду и Ричарда), на ней бы не было колючих терний суровой действительности, коне как на той тропинке. Она была бы усыпана розами, пролегла бы под тенью цветущих садов, где нет ни весны, ни осени и ни зимы, но вечное лето. Она бы не знала никаких перемен, ни влияния времени. Пошлое слово «деньги» никогда бы не раздавалось вблизи ее.

Мистер Джорндис погладил мистера Скимполя по голове, как будто Скимполь и в самом деле был ребенок, и, сделав шага два по комнате, остановился на несколько секунд и бросил взгляд на молодых кузенов. Этот взгляд был задумчив, но в то же время имел кроткое, ласковое выражение, выражение, которое я часто (о, как часто!) замечала впоследствии, и которое навсегда запечатлелось в моем сердце. Комната, в которой сидели молодые люди, сообщаясь с комнатой, в которой стоял мистер Джорндис, освещалась одним только каминным огнем. Ада сидела за фортепьяно; Ричард, наклонившись, стоял подле нее. Тени их сливались на стене в одну тень и представляли какие-то странные формы, не лишённые, впрочем, еще более странного движения, сообщаемого колебавшимся пламенем в камине, хотя и отражались они от предметов неподвижных. Ада так нежно и легко прикасалась к клавишам и пела так тихо, что ветер, улетающий к отдаленным вершинам холмов, был так же слышен, как и звуки фортепьяно. Непроницаемая тайна будущего и слабый намек на него, сообщаемый голосом настоящего, по видимому, выражались во всей этой картине.

Но не для того я припоминаю эту сцену – о, как свежо сохранилась она в моей памяти! – чтобы припомнить мысль, которая родилась в моей голове во время этой сцены; нет! во-первых, для меня не совсем непонятным осталось различие между безмолвным взглядом, направ-

ленным на эту сцену, и потоком слов, предшествовавших взгляду. Во-вторых, хотя взгляд мистера Джорндиса, отведенный от Ады и Ричарда, остановился на мне на одну только секунду, но я чувствовала, как будто в эту секунду мистер Джорндис доверял мне (и знал, что доверяет, и что я принимала это доверие) свою надежду, что Ада и Ричард соединятся со временем более крепкими и нежными узами родства.

Мистер Скимполь умел играть на фортепьяно и виолончели. Он был композитор – написал однажды половину оперы; но она страшно наскучила ему, и осталась неконченою. Его сочинения отличались вкусом, и он разыгрывал их с чувством. После чаю у нас образовался маленький концерт, в котором Ричард, мистер Джорндис и я были слушателями. Ричард был в восторге от пения Ады и говорил мне, что она знала все романсы, которые когда-либо были написаны. Спустя некоторое время я заметила, что в комнате недоставало сначала мистера Скимполя, а потом и Ричарда, и в то время, как я старалась догадаться, почему Ричард не возвращался так долго и терял так много, в дверь столовой заглянула служанка, – та самая, которая вручила мне ключи.

– Сделайте одолжение, мисс, – сказала она, – нельзя ли вам отлучиться на минутку?

Когда я вышла и затворила дверь, служанка, подняв руки, сказала:

– Мистер Карстон приказал сказать, нельзя ли вам пожаловать наверх, в комнату мистера Скимполя. Его постиг какой-то удар.

– Удар?

– Точно так, мисс, – и совсем неожиданный, – отвечала служанка.

В душе моей в эту минуту родилось опасение, что недуг мистера Скимполя мог оказаться опасного рода; но, несмотря на то, я попросила ее никого больше не тревожить. Собравшись с духом, я быстро пошла за служанкой по лестнице, стараясь в то же время сообразить, какие употребить лучше средства, если окажется, что с мистером Скимполем сделался обыкновенный обморок. Служанка отворила дверь, и я вошла в комнату, где, к моему невыразимому удивлению, вместо того, чтобы застать мистера Скимполя в постели или распростертым на полу, я увидела, что он стоял перед камином и улыбался Ричарду, между тем как Ричард, с лицом, выражавшим крайнее замешательство, смотрел на диван, где сидел незнакомый мужчина, в белом пальто, с гладкими и редкими волосами на голове, которую он приглаживал носовым платком, вследствие чего количество волос казалось еще меньшим.

– Мисс Sommerсон, – торопливо сказал Ричард, – я очень рад, что вы пришли сюда. Вы в состоянии будете подать нам совет. Наш друг мистер Скимполь... не пугайтесь, пожалуйста!.. арестован за долги.

– И в самом деле, неоцененная мисс Sommerсон, – сказал мистер Скимполь, с своим обворожительным чистосердечием, – я никогда еще не находился в таком положении, в каком более всего требуются тот здравый рассудок, та спокойная привычка оказывать пользу и то умение приводить дела в надлежащий порядок, которые должен заметить в вас всякий, кто только имел счастье находиться в вашем обществе не более четверти часа.

Незнакомец на диване, страдавший, по-видимому, сильным насморком, так громко сморкнулся, что этот звук не на шутку испугал меня.

– Как велик долг, за который арестуют вас? – спросила я мистера Скимполя.

– Не знаю, неоцененная мисс Sommerсон, – отвечал он, так мило качая головой, – решительно не знаю. Говорят, сколько-то фунтов, сколько-то шиллингов и полпенса.

– Двадцать четыре фунта, шестнадцать шиллингов и семь с половиною пенсов. Вот и весь тут долг, – заметил незнакомец.

– А это отзывается... это отзывается, – сказал мистер Скимполь, – это составляет, по-вашему, весьма незначительную сумму?

Незнакомец не сделал на это возражения, но вместо того еще раз сморкнулся и сморкнулся так сильно, что, по-видимому, усилие, с которым производилась эта операция над носом, заставила его приподняться.

– Мистер Скимполь, – сказал Ричард, обращаясь ко мне, – мистер Скимполь совестится обратиться к нашему кузену Джорндису, потому что он недавно... мне кажется, сэр, я понял вас, что он недавно помог вам.

– О, да! – возразил мистер Скимполь, улыбаясь, – хотя я совершенно позабыл, как велика сумма и когда это было. Джорндис с удовольствием готов повторить это. Но, знаете, в этом отношении я имею чувства эпикурейца: в помощи, которую оказывают мне, я бы хотел видеть перемену, в некоторой степени, новинку; мне бы хотелось – и он взглянул на Ричарда и на меня – мне бы хотелось открыть великодушие на новой почве и в цветке, имеющем новую форму.

Прежде, чем ответить на это, я решилась узнать, какие могут быть последствия, если долг не будет уплачен.

– Тюрьма, – сказал незнакомец, хладнокровно укладывая носовой платок в шляпу, стоявшую на полу у его ног, – тюрьма или Коавинсес.

– Могу ли я спросить, что это такое?

– Что такое Коавинсес? – повторил незнакомец. – Это – дом. {В Англии есть особые дома, куда, не прибегая к мерам правосудия, забирают должников такого рода, на уплату долгов которых есть какая-нибудь надежда. Дома эти содержатся частными людьми, получившими на это право от правительства и извлекающими из спекуляции подобного рода значительные выгоды. Прим. перевод.}

Ричард и я обменялись взорами. Весьма замечательно обстоятельство, что арест приводил в затруднительное положение не мистера Скимполя, как должно было ожидать, а нас. Он наблюдал за нами с неподдельным вниманием; но в его наблюдениях, если можно допустить подобное противоречие, не скрывалось эгоизма. Он совершенно умывал свои руки от затруднительного положения, в котором находился, и оно сделалось нашей принадлежностью.

– Я полагаю, – заметил мистер Скимполь, как будто от души желая вывести нас из затруднения, – я полагаю, что мистер Ричард, или его прекрасная кузина, или оба они вместе, как участники в тяжбе, производимой в Верховном Суде, касательно раздела (как говорят другие) какого-то огромного наследства, – я полагаю, что они при этом случае могут дать или подписку, или что-нибудь другое, что-нибудь в роде поручительства или обязательства. Не знаю, как это называется у деловых людей, но полагаю, что в их распоряжении есть же какое-нибудь орудие, которым можно бы устроить это дело.

– Как бы не так! это дудки-с! – сказал незнакомец.

– В самом деле? – возразил мистер Скимполь. – Это начинает казаться чрезвычайно странным, особенно для того, кто не может назвать себя судьей и знатоком этих дел.

– Странно или нет, – довольно резко заметил незнакомец, – но я вам говорю, что этим от меня не отделаться.

– Успокойтесь, любезный мой! будьте похладнокровнее! – сказал мистер Скимполь, стараясь в самом деле успокоить его и в то же время рисуя его голову на пустом листке какой-то книги. – Не расстраивайте себя своим занятием. Мы умеем отличить вас от вашей обязанности, мы умеем отличить какое бы то ни было лицо от его профессии. Но, поверьте, мы еще не до такой степени предубеждены против людей; мы готовы допустить предположение, что в частной жизни вы весьма почтенный человек, с большим запасом поэзии в вашей натуре, о чем, быть может, вы не имеете и малейшего сознания.

Незнакомец отвечал сильным сморканьем, в знак ли того, что он принимает поэтическую дань, или с пренебрежением отвергает ее; он не принял на себя труда объяснить нам это.

– Теперь, неоцененная мисс Соммерсон и любезнейший мистер Ричард, – сказал мистер Скимполь весело, невинно и доверчиво, и в то же время любуясь рисунком, наклонив для

этого голову несколько набок, – теперь вы видите, что я решительно не могу помочь себе и нахожусь совершенно в ваших руках. Я прошу одной только свободы. Если бабочки порхают на свободе, то согласитесь, что люди, вероятно, не откажут Гарольду Скимполю в том, что они предоставляют бабочкам.

– Знаете ли что, мисс Соммерсон, – прошептал мне Ричард, – у меня есть десять фунтов, которые я получил от мистера Кенджа. Нельзя ли употребить их в дело?

В моем распоряжении было тоже пятнадцать фунтов и несколько шиллингов, сбереженных мною в течение многих лет из денег, высылаемых мистером Кенджем в пансион на мои потребности. Я всегда полагала, что, быть может, по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам, я буду неожиданно брошена в мир без друзей, без родных, без всяких средств к существованию, и потому всегда старалась сберечь немного денег и иметь их при себе, чтобы не быть совершенно без гроша. Я сказала Ричарду, что имею небольшой капитал и в настоящее время не нуждаюсь в нем, и вместе с тем просила его, пока я буду ходить за деньгами, сообщить, как можно деликатнее, мистеру Скимполю, что мы бы желали иметь удовольствие заплатить его долг.

Когда я возвратилась, мистер Скимполь поцеловал мне руку и, по-видимому, был тронут нашим поступком. Он был тронут не за себя, но за нас (и я еще раз убедилась в странном и необыкновенном противоречии, которое обнаруживалось в положении мистера Скимполя и в его словах), как будто внимание к собственному своему положению было совершенно чуждо для него, и что, в настоящую минуту, он весь углублен был в одно только созерцание нашего счастья. Для лучшего эффекта этой сделки, я, по просьбе Ричарда, приняла на себя труд рассчитаться с незнакомцем, которого мистер Скимполь в шутку называл Коавинсесом. Я отсчитала требуемую сумму и взамен ее получила надлежащий документ. Это также немало послужило к пробуждению восторга в душе мистера Скимполя.

Он так деликатно выражал свою признательность, что румянец выступал мне на щеки не так сильно, как я ожидала, и рассчиталась с незнакомцем в белом пальто, не сделав ни одной ошибки.

Незнакомец положил деньги в карман и потом, обратившись ко мне, отрывисто сказал:

– Теперь дело кончено, мисс; желаю вам доброго вечера.

– Любезный друг, – сказал мистер Скимполь, оставив свой рисунок вполонину неконченным и расположившись у камина так, чтобы приятное влияние пылающего огня сосредоточивалось на его спине, – я хотел бы спросить вас кое о чем, если только это не оскорбит вашего достоинства.

– Ну, так катайте проворней!

Мне послышалось, что ответ незнакомца состоял из этих слов.

– Скажите, знали ли вы сегодня поутру, что вам придется выехать из дому с этим поручением? – спросил мистер Скимполь.

– Я знал об этом вчера вечером, за чаем, – отвечал Коавинсес.

– И это не испортило вашего аппетита, не причинило вам беспокойства?

– Нисколько! – отвечал Коавинсес. – Я знал, что если не схвачу вас сегодня, то непременно поймаю завтра. Один день не составляет большой разницы.

– Но согласитесь, – продолжал мистер Скимполь, – когда вы ехали сюда, ведь день был чудный. Солнце ярко сияло, ветер навевал прохладу, свет и тень игриво носились по полям, птички распевали.

– Вам никто и не думает говорить, что этого не было, – возразил Коавинсес.

– Да, действительно никто, – заметил мистер Скимполь. – Но скажите, о чем вы думали, о чем вы размышляли во время дороги?

– Что вы хотите, сэр, сказать этим? – грубо и с видом крайнего нерасположения продолжать беседу, спросил Коавинсес. – Гм! о чем я думал, о чем размышлял? У меня слишком

много дела и очень мало выгод от него, чтобы пускаться в размышления. Вот еще вздумали – скажи им, о чем я размышлял!

Последние слова произнесены были с видом глубокого пренебрежения.

– Значит вы вовсе не думали о следующем обстоятельстве: Гарольд Скимполь любит восхищаться сиянием солнца, любит слушать дуновение ветра, любит смотреть, как свет и тени летают по полям, любит слушать пернатых, этих певчих в громадном храме природы. Зачем же мне ехать из дому? неужели затем, чтобы лишить Гарольда Скимполя этих удовольствий, этой доли, которая составляет его единственное, фамильное наследство? Скажите откровенно, вы не думали об этом?

– Я – конечно... да я не думал, – сказал Коавинсес, для черствых понятий которого эта идея заключала в себе столько глубокого смысла, что, для равносильного ответа, он рассудил за лучшее сделать между каждым словом длинный промежуток и заключить последнее таким быстрым и сильным сотрясением всего тела, что шея его подвергалась опасному вывиху.

– Умственный процесс у вас, деловых людей, весьма странный и весьма забавный! – сказал мистер Скимполь с задумчивым видом. – Благодарю вас, любезный друг! доброй ночи!

Отсутствие наше было довольно продолжительно и могло показаться странным Аде и мистеру Джорндису, а потому я немедленно спустилась вниз и застала Аду подле камина за рукодельем и в разговоре с кузеном Джоном. Вскоре появился в гостиной мистер Скимполь, а почти вслед за ним и Ричард. В течение вечера я была очень занята: я брала первый урок игры в баггемон, и брала его от мистера Джорндиса, который очень любил эту игру, и от которого, разумеется, я желала научиться как можно скорее, с тою целью, чтобы, изучив игру, быть хоть сколько-нибудь полезной для него, когда он не имел лучшего противника. В то время, как мистер Скимполь играл отрывки своих сочинений, когда он сидел за фортепьяно или за виолончелью, или за нашим столом и сохранял, без всякого напряжения, свое обворожительное расположение духа и поддерживал легкий разговор, – в это время я думала, что Ричард и я находились под влиянием неприятного впечатления, производимого на нас сознанием, что после обеда мы совершенно неожиданно и как-то странно очутились под арестом, и что вообще это было очень забавно.

Мы разошлись очень поздно, а это случилось оттого, что, когда пробило одиннадцать и Ада собралась уйти, мистер Скимполь сел за фортепьяно, шумно забренчал на них и потом старался доказать нам, что самое лучшее средство продлить наши дни заключается в том, чтобы похищать у ночи по несколько часов. Было уже далеко за полночь, когда он унес из гостиной свечу и свое лучезарное лицо, и мне кажется, что он продержал бы нас до самого рассвета, если б представилась к тому малейшая возможность. Ада и Ричард промедлили у камина еще несколько секунд, стараясь угадать, кончила ли миссис Джэллиби свою диктовку на этот день, как вдруг мистер Джорндис, отлучавшийся перед этим, вошел в гостиную.

– Ах, Боже мой, что это значит, на что это похоже! – говорил он, потирая голову и расхаживая по комнате, с выражением досады, имевшей в глазах наших особенную прелесть. – Что это значит? Рик, мой милый, Эсфирь, душа моя, что вы сделали? зачем вы сделали это? как могли вы сделать это? Сколько каждый из вас заплатил за него? Ну, так и есть – ветер опять повернул. Я чувствую, как он продувает меня!

Мы все решительно не знали, что отвечать.

– Ну, Рик, изволь говорить! Прежде, чем я лягу спать, мне должно решить это дело. Сколько же вы заплатили из вашего кармана? Ведь вы знаете, что эти деньги были сбережены вами! Зачем же вы отдали их? каким образом решились вы отдать их? О, Боже мой! так и есть, восточный ветер задувает, непременно дует!

– Извините, сэр, – сказал Ричард, – но мне кажется, что с моей стороны было бы неблагородно сказать вам. Мистер Скимполь положился на нас...

– Господь с тобой, мой милый! Да он полагается на всякого! – сказал мистер Джорндис, а вместе с тем вдруг остановился и сильно потер себе голову.

– Неужели, сэр?

– Решительно на всякого! и, поверьте, через неделю он будет точно в таком же затруднении, – сказал мистер Джорндис, снова начиная ходить по комнате с удвоенной скоростью и с догоравшей свечой. – Он постоянно бывает в затруднительном положении. Он родился в этом положении. Я вполне уверен, что газетное объявление, когда мать родила его, было такого содержания: «В минувший вторник, миссис Скимполь, в своей резиденции „Скучные Здания“, разрешилась от бремени сыном, в затруднительном положении».

Ричард от души захохотал.

– Все же, сэр, – прибавил он, – я не хочу поколебать, не хочу употребить во зло его доверия, и если я еще раз предоставляю вашему лучшему разумению, что мне должно сохранить его тайну, то надеюсь, вы не станете принуждать меня открыть ее. Само собою разумеется, если вы станете принуждать, я должен буду признаться, что поступил нехорошо, и должен буду сказать вам все.

– Прекрасно! – вскричал мистер Джорндис, снова остановившись и, в совершенной рассеянности, стараясь засунуть подсвечник в карман своего пальто. – Я – пожалуйста, Рик, возьми этот подсвечник. Не знаю, право, что я хотел делать с ним – Всему причиной этот ветер: под его влиянием постоянно случаются подобные вещи – Я не намерен, Рик, принуждать тебя: почем знать, быть может, ты поступил совершенно справедливо. Однако, как вам угодно, уцепиться за тебя и за Эсфирь и общипать вас, как пару самых нежных, самых свежих апельсинов! О, я уверен, что в течение ночи восточный ветер превратится в бурю.

После этих слов мистер Джорндис попеременно засовывал руки то в одни карманы, то в другие, с таким видом, как будто намерен был продержат их там долгое время, и потом снова вынимал и сильно потирал их над своей головой.

Я осмелилась воспользоваться этим случаем и намекнуть ему, что мистер Скимполь, в делах подобного рода, кажется настоящим ребенком.

– Что такое, душа моя? – спросил мистер Джорндис, в свою очередь пользуясь случаем придаться ко мне.

– Что мистер Скимполь кажется совершенным ребенком, и что он так не похож на других людей...

– Вы правы! – сказал Джорндис, и лицо его стало проясняться. – Женский ум быстрее нашего постигает, в чем дело. Да, действительно он ребенок, совершенный ребенок. Ведь я, кажется, сказал вам с самого начала, что он ребенок.

– Конечно, конечно! – отвечали мы.

– Так значит он ребенок. Не правда ли? – спросил мистер Джорндис, между тем как лицо его становилось светлее и светлее.

Мы отвечали утвердительно.

– С вашей стороны, то есть, я хочу сказать: с моей стороны... было бы верх ребячества считать мистера Скимполя хотя бы на одну секунду за взрослого мужчину. Можно ли ожидать от него, чтобы он в состоянии был дать отчет в своих поступках? Подумать только, что Гарольд Скимполь имеет свои замыслы, свои планы и знает заранее последствия этих замыслов и планов!... ха, ха, ха!

Видеть, как нависшие тучи на светлом лице мистера Джорндиса начинали разгоняться, видеть его столь искреннее удовольствие и знать – да и не было возможности не знать – что источником его удовольствия было неподдельное добросердечие, терзаемое иногда осуждением, недоверчивостью или тайным обвинением кого бы то ни было, – видеть это, говорю я, и знать было до такой степени восхитительно, что Ада, вторя смеху мистера Джорндиса, плакала да и сама я чувствовала, как слезы плавали в моих глазах.

– И к чему я вздумал говорить об этом? как после этого не назвать себя теленком? – сказал мистер Джорндис. – Во всей этой проделке, с начала до самого конца, виден ребенок. Никто, кроме ребенка, не подумал бы сделать вас участниками в этом деле. Кроме ребенка, никто бы не подумал, что у вас водятся деньги! Если б дело шло о тысяче фунтов, то и тогда было бы то же самое! – сказал мистер Джорндис, и лицо его вполне прояснилось.

Мы подтвердили слова его и опытом убеждены были в их справедливости.

– Совершенно так, совершенно справедливо! – сказал мистер Джорндис. – Но во всяком случае, Рик, Эсфирь и вы, Ада, тоже, потому что я еще не знаю, находится ли ваш кошелек вне всякой опасности от неопытности и детского неведения мистера Скимполя, – во всяком случае, вы все должны обещать мне, что на будущее время ничего подобного не может случиться... никаких денежных выдач не будет! даже, если эти выдачи должны ограничиться монетой в шесть пенсов!

Мы все дали верное обещание. При этом Ричард, ударив по карману, бросил на меня веселый взгляд, как будто хотел напомнить мне, что к нарушению нашего обещания не предвидится возможности.

– Что касается Скимполя, – сказал мистер Джорндис, – то, по моему мнению, кукольный домик, чтобы можно было жить в нем, хороший стол, несколько оловянных человечков, у которых можно занимать деньги и быть у них в долгу, – и его можно назвать совершенно устроенным в жизни. Я думаю, он спит теперь невинным детским сном; да пора, кажется, и мне склонить свою голову, полную коварных замыслов, и заснуть сном положительным. Спокойной ночи, мои милые! Да благословит вас небо!

Не успели мы зажечь своих свечей, когда он еще раз, с улыбающимся лицом, заглянул в гостиную и сказал:

– Знаете ли что? я сейчас взглянул на флюгер и убедился, что насчет перемены ветра была одна только фальшивая тревога. Флюгер указывал к югу!

И вместе с этим он удалился, напевая что-то вполголоса.

Ада и я, поговорив немного в своих комнатах, решили, что беспокойство мистера Джорндиса касательно ветра было не что иное, как его каприз, и что он прибегал к этому капризу в тех случаях, когда хотел выставить на вид какую-нибудь неудачу или обманутое ожидание, которых не мог скрыть; для него легче было прибегнуть к этому средству, нежели выставить с дурной стороны действительную причину обманутых ожиданий или, что еще хуже, решаться повредить кому-нибудь во мнении других или унижить чье-нибудь достоинство. Мы считали это за настоящую характеристику его эксцентричного великодушия, за настоящую характеристику различия между ним и теми несносными, брюзгливыми людьми, которые унылое и мрачное расположение духа приписывают влиянию погоды или ветра, особенно того несчастного ветра, который они избрали в извинение своей несносности.

В течение этого первого вечера признательность моя к мистеру Джорндису до такой степени увеличилась искренним расположением к нему, что мне казалось, будто я уже начинала понимать его, руководствуясь этими чувствами. Не могла я только объяснить себе некоторых несообразностей в мистере Скимполе или в миссис Джэллиби; и не удивительно: я так еще мало имела опытности и практических познаний. Впрочем, я особенно и не вникала в это. Когда я осталась одна, мои мысли заняты были Адой и Ричардом и надеждой насчет их будущности, – надеждой, которую я, казалось, читала в тот вечер во взгляде мистера Джорндиса. Мое воображение, сделавшееся – быть может, по прихоти ветра – в некоторой степени причудливым, против моего желания, бушевало вместе с моим самолюбием. Оно уносило меня в дом моей крестной маменьки, влекло меня по стезе, прерываемой во многих местах событиями моей ранней жизни, представляло мне неясные, неопределенные образы и заставляло разгадывать причину того участия, которое мистер Джорндис принимал во мне с самых ранних дней моей

жизни; я думала даже, уж не отец ли он мой... Но все это было пустая мечта и как мечта оно совершенно рассеялось.

Отходя от камина, я еще раз подумала, что это была пустая мечта. Мне предстояло теперь не увлекаться мечтаниями о минувшем, но действовать с веселым духом и признательным сердцем. Вследствие этого я сказала самой себе: «Эсфирь, Эсфирь, Эсфирь! обязанность, душа моя, прежде всего!» и вместе с этим так сильно потрясла коробочку с ключами, что они зазвенели как маленькие колокольчики и звуками своими проводили меня, исполненную отрадных надежд, до самой постели.

VII. Площадка замогильного призрака

Находится ли Эсфирь под влиянием сна, бодрствует ли она за своими домашними хлопотами, а погода в Линкольнширской резиденции по-прежнему стоит дождливая. Дождевые капли в течение дня и ночи однообразно падают на широкую террасу из гладкой плитки, на так называемую Площадку Замогильного Призрака. Погода в Линкольншире так дурна, что самое живое воображение с трудом представляет себе возможность на лучшую ее перемену. Впрочем, в резиденции во время этой погоды нельзя сказать, чтобы живого воображения было в избытке: сэр Лейстер выехал оттуда (да если бы он и был там, то, право, к исправлению погоды и к оживлению воображения не сделал бы многого) и находится в Париже вместе с миледи. Какое-то уныние, какое-то отсутствие всего живого опустило мрачные крылья над пространством, занимаемым поместьем Чесни-Волд.

Между животными в Чесни-Волд, быть может, еще есть кой-какая игра воображения. Быть может, лошади в конюшнях, – весьма длинных конюшнях, на этом пустынном дворе, обнесенном кирпичной стеной, где, между прочим, находится большой колокол в верхних пределах большой башни и часы с огромным циферблатом, с которыми голуби, проживавшие в ближайшем соседстве, и любившие отдыхать на его металлической окраине, по-видимому, находились в постоянном совещании, – быть может, лошади, говорю я, наслаждались, от времени до времени, созерцанием картин прекрасной погоды и, может статься, сравнительно с своими грумами, были лучшими знатоками этих картин. Старушка рыже-чалая, столь знаменитая своими путешествиями по всему околотку, устремляя свои огромные зрачки к решетчатому окну близ своих яслей, быть может, вспоминает о свежей зелени, которая в иную пору расстилалась перед этим окном; быть может, вспоминает она ароматический запах, залетавший иногда в это окно, вспоминает о стае гончих, с которыми носилась по окрестным полям, между тем как помощник грума, единственное во всей конюшне человеческое создание, очищая ближайшее стойло, не движется далее того места, где стоят вилы и метла. – Быть может, борзая собака, которой место находится против самых дверей, и которая, нетерпеливо побрякивая цепью, выпрямляет уши и так быстро поворачивает голову, когда дверь открывается, и когда ей в то же время говорят: «Смирно, Грэй! сегодня никто в тебе не нуждается!» – быть может, эта борзая точно так же знает о том, что никто в ней не нуждается, как и сам служитель. Все это скучное и необщительное собрание четвероногих проводит долгие дождливые часы в беседе совершенно одушевленной; может статься, они проводят время, развлекают себя, стараясь общими силами улучшить (а может быть, и испортить) маленькую резвую лошадку, которой отведено открытое стойло в углу конюшни.

Так точно огромный бульдог, который дремлет в своей конуре, положив на лапы огромную голову, – быть может, он вспоминает о знойном сиянии солнца, когда тени от надворных служб своей переменой выводили его из терпения, и оставляли ему, в эту же самую пору дня, убежище, заключавшееся в пределах тени, бросаемой его будкой, где он, томимый жаждой, сидел на задних лапах и изредка ворчал, испытывая непреодолимое желание потрепать кроме себя и своей тяжелой цепи еще кого-нибудь. Так точно и теперь, в полусне и беспрестанно моргая глазами, быть может, он представляет себе дом, полный гостей, каретный сарай, полный различных экипажей, конюшни, полные лошадей, и различные пристройки к дому, полные различных слуг, – представляет себе это все и до того углубляется в свои созерцания, что теряет сознание о погоде и решается наконец выйти из своего логовища и посмотреть, в каком она состоянии. Он с гневом отряхнется и громким лаем как будто произносит: «Дождь, дождь, дождь! нескончаемый дождь! и, в добавок, в доме нет ни души из Дэдлоков!» потом снова входит в будку и протяжно зевает, снова опускается и кладет голову на передние лапы.

То же самое, быть может, творится и с стаями гончих, помещенных в отдаленном краю парка. Быть может, и у них есть свои припадки беспокойства; их плачевный вой, сливаясь с пронзительным завыванием ветра, раздается по всему господскому дому: вверх и вниз и даже в собственных покоях миледи. Быть может, и они представляют себе отъезжее поле, со всеми подробностями и в обширных размерах, между тем как вокруг их раздаются одни только дождевые капли. Точно так и кролики, с своими игривыми хвостиками, выпрыгивая и впрыгивая в древесные дупла, быть может, живо вспоминают о бурных днях, когда их уши развеваются по прихоти ветра, или о той интересной поре года, когда представляется возможность поглотить молодые, сочные растения. Индейский петух на птичьем дворе, всегда тревожимый мрачным предчувствием (вероятно, по поводу приближающихся Святков), быть может, вспоминает о летнем утре, так безжалостно и несправедливо похищенном у него, когда он забрел на прогалину между срубленными деревьями, где находились и большая житница и вкусный ячмень. Недовольный гусь, который наклоняется, чтобы пройти под старинными, футов в двадцать вышины, воротами, быть может, гоготаньем своим отдает предпочтение той погоде, когда ворота отбрасывают от себя прохладную тень.

Так или иначе, но в эту дождливую погоду воображение в поместье Чесни-Волд не может отличаться особенною игривостью. Если в иные минуты оно и оживает, то, как малейший звук в этом опустелом доме, улетает далеко, далеко, в область привидений и неразгаданных тайн.

Ненастье в Линкольншире так сильно и так продолжительно, что миссис Ронсвел, старая ключница в Чесни-Волд, уже несколько раз снимала очки и вытирала их, как будто желая увериться, нет ли на них капель дождя. Миссис Ронсвел в достаточной степени могла бы удостовериться в том, вслушавшись в однообразное падение дождя; но, к сожалению, она была немного глуховата – недостаток, в котором ничто на свете не принудит ее сознаться. Миссис Ронсвел – прекрасная старушка, недурна собой, величава, удивительно опрятна и имеет такой бюст и такую талию, что если б ее корсет обратился после ее смерти в огромный колосник для огромного камина, то никто из ее знакомых не имел бы ни малейшей причины изумляться такому превращению. Погода очень мало, или, лучше сказать, совсем не производит влияния на миссис Ронсвел. Ей ли заботиться о погоде, когда на ее ответственности лежит господский дом и составляет все ее заботы! Она сидит в своей комнате (в боковом коридоре нижнего этажа, с полукруглым окном, перед которым расстилается гладкая четырехугольная площадка, окруженная гладко остриженными круглыми деревьями, в равном расстоянии друг от друга, и гладкими круглыми глыбами мрамора, как будто деревья выстроились в ряд нарочно затем, чтоб начать с мрамором игру в мяч); весь дом находится в покойном состоянии: он покоится, если можно так выразиться, на душе миссис Ронсвел. Случайно она отпирает его и бывает в высшей степени деятельна и хлопотлива; но теперь он крепко-накрепко заперт и почивает торжественным сном на всей ширине женской груди миссис Ронсвел.

Представить себе Чесни-Волд без миссис Ронсвел составляет другую несообразность с обыкновенным порядком вещей, несмотря даже на то обстоятельство, что эта почтенная старушка прожила в Чесни-Волд уже полсотни лет. Спросите ее в этот дождливый день, давно ли она поселилась тут, и вы непременно получите следующий ответ: «Если Господь продлит веку до будущего вторника, так будет ровно пятьдесят лет, три месяца и две недели». – Мистер Ронсвел скончался за несколько времени перед тем, как кончилась миленькая мода носить косички, и, без сомнения, скромно схоронил свою собственную косичку (если только допустить, что он взял ее с собой) в каком-нибудь уголке расположенного в парке кладбища, вблизи церкви, избитой бурями и непогодами. Он родился в одном из торговых городов Британии, – в том же самом городе родилась и его суженая. Ее успех в фамилии Дэдлоков получил свое начало во время покойного сэра Лейстера и в той же самой комнате, где она обретается в минуты текущего рассказа.

Нынешнего представителя Дэдлоков можно, по всей справедливости, назвать отличным господином, и быть таким господином считает он за часть своего величия. К миссис Ронсвел он имеет величайшее расположение: он говорит, что это в высшей степени почтенная и заслуживающая доверия женщина. Приезжая в Чесни-Волд и отъезжая из него, он всегда берет ее за руку; и если бы он вдруг опасно занемог, если б каким-нибудь несчастным случаем сшибли его с ног, если бы через него переехал экипаж, и вообще, если бы он поставлен был в положение весьма неприятное для всякого Дэдлока, – то бы непременно сказал, – разумеется, в таком случае, если б не лишился способности говорить, – он бы непременно сказал: «Оставьте меня и позовите сюда миссис Ронсвел!» Он бы вполне был убежден, что, отдав подобное приказание, его высокое достоинство было бы гораздо безопаснее при его ключнице, нежели при какой-нибудь другой особе.

Но и миссис Ронсвел провела свой век не без горестей. У нее было два сына. Из них младший пошел в солдаты и с тех пор не возвращался под родительский кров. Даже до сего часа неподвижные полные руки миссис Ронсвел теряют свое спокойствие и, освободившись из-под теплого платка, начинают размахисто гулять около нее, лишь только она вспомнит и вместе с тем заговорит о своем любимом детище. Какой любезный юноша, какой красавец, какой весельчак, какой добряк, какой умница он был! Второй сын миссис Ронсвел получил воспитание, необходимое для занятия какой-нибудь должности в Чесни-Волд, и, само собою разумеется, в надлежащее время был бы сделан дворецким; но, к несчастью, а может быть и к счастью, еще во время школьных дней своих, он возымел беспредельное расположение к сооружению паровых машин из соусных кастрюль и к изобретению нового способа для певчих птиц поднимать без малейшего труда воду для собственного своего употребления; он изобрел для них такую удивительную машинку, но, между прочим, машинку в роде гидравлического прессы, что канарейке, томимой жаждой, стоило только, в буквальном смысле слова, дотронуться носиком до колеса – и дело кончено: питье готово. Эта необыкновенная способность ума юноши сильно тревожила миссис Ронсвел. С чувством материнского опасения за любимое детище, она предвидела в этом что-то в роде необузданного желания выдвинуться далеко вперед из сферы своего действия, и опасение ее тем быстрее развивалось в ней, что сэр Лейстер имел от природы довольно сильное предубеждение против всякого искусства, против всякой науки, в которых дым и высокие трубы составляли существенную принадлежность. Между тем как, приговоренный судьбой своей совершенно к другому поприщу, молодой возмутитель семейного спокойствия (хотя во всех других отношениях весьма кроткий и весьма прилежный юноша) не оказывал вместе с возрастом ни малейшего расположения угодить своей маменьке, а напротив того, соорудил модель механического ткацкого станка, миссис Ронсвел увидела себя в необходимости сообщить о законопреступных деяниях баронету. «Миссис Ронсвел, – сказал сэр Лейстер, – вы знаете, что я всегда против этого. Прекрасная вещь выйдет, если сбудете с рук этого мальчишку и превосходно сделаете, если отдадите его куда-нибудь на фабрику. Чугунные заводы на севере нашего отечества, по моему мнению, прямое назначение для мальчика с такими наклонностями». И молодой Ронсвел действительно отправился на север, – и вырос на севере, и если баронету Лейстеру случалось видеть мальчика во время приездов его в Чесни-Волд для свидания с матерью, то само собою разумеется, он не иначе считал его, как за одного из шайки возмутителей с закаленной наружностью и с закаленным сердцем, – возмутителей, сделавших привычку являться в кругу мирных жителей, два-три раза в неделю, по ночам, с зажженными факелами, и являться с какими-нибудь преступными замыслами.

Несмотря на все это, сынок миссис Ронсвел, с помощью природы и с течением времени, вырос, завелся своим хозяйством, женился и подарил свою маменьку внуком. Этот-то внук, следуя призванию своего отца и возвращаясь домой из путешествия в чужие края, куда посылали его распространить круг познаний и усовершенствовать себя вполне к вступлению на

поприще родителя, стоит, в минуты нашего рассказа, облокотившись на камин, в комнате миссис Ронсвел, в Чесни-Волд.

– Еще раз и еще-таки скажу, что я очень, очень рада видеть тебя, Ватт!.. Право, от души рада видеть тебя! – говорит миссис Ронсвел. – Ты сделался прекрасным молодцом. Вот ни дать, ни взять, как твой дядюшка Джорж! А-ах! ах-ах!

И руки миссис Ронсвел, при этом воспоминании, по обыкновению, оставляли свое спокойное, неподвижное положение.

– Говорят, бабушка, я очень похож на отца.

– Похож, мой милый, похож, что и говорить... Но все же ты больше имеешь сходства с твоим несчастным дядюшкой Джоржем. Похож и на отца, что и говорить! – сказала миссис Ронсвел, и руки ее снова успокоились. – А что твой отец, как он поживает?

– Слава Богу, бабушка, успевает во всем.

– Ну, и слава Богу, слава Богу!

Миссис Ронсвел любит и этого сына, но в ее любви к нему скрывается какое-то болезненное чувство, как будто этот сын был заслуженным воином и вдруг, ни с того, ни с другого, перешел на сторону неприятеля.

– И он совершенно счастлив?

– Совершенно.

– Ну, и слава Богу!.. Значит, он пустил тебя, мой милый, по своей дороге, посылал тебя в чужие края и тому подобное? Ну, да это его дело, он знает лучше. Значит, есть свет и за Чесни-Волд, о котором я ничего не ведала; а уж, кажется, я не молода и видала на своем веку многое, очень многое!

– Скажите, бабушка, – говорит молодой человек, переменяя разговор, – кто эта такая хорошенькая девочка, которая с минуту тому назад сидела с вами? Еще вы называли ее Розой.

– Да, да, дитя мое. Это дочь одной вдовы из здешней деревни. В нынешнее время так трудно учить молоденьких девушек, поэтому-то я и приняла ее к себе, пока молода она и не избалована. Она имеет способности, и со временем из нее выйдет дельная женщина. Вот уж и теперь она умеет, и даже очень хорошо, показывать приезжающим господский дом. Она живет у меня и пользуется моим столом.

– Надеюсь, что я не выгнал ее отсюда.

– Вероятно, она полагала, что мы станем говорить о семейных делах. Она у меня очень скромна, а это в молодой девице превосходнейшее качество... превосходнейшее качество! а в нынешние времена, смею сказать, и очень редкое, – сказала миссис Ронсвел, распахивая платок во всю длину своих рук.

Молодой человек, в знак подтверждения слов своей бабушки, основанных на долговременной опытности, кивает головой. Миссис Ронсвел внимательно вслушивается в отдаленные звуки.

– Это кто-нибудь едет сюда! это стук колес, – говорит она.

Стук колес уже давно долетал до слуха молодого собеседника миссис Ронсвел.

– Господи Боже мой! кто бы это мог быть в такую погоду?

Спустя несколько минут в дверь комнаты раздается стук.

– Войдите! – говорит миссис Ронсвел.

И в комнату входит черноглазая, черноволосая деревенская красавица, входит девушка с таким свежим и нежным румянцем, что дождевые капли, упавшие на ее волосы, казались каплями утренней росы на только что распустившемся цветке.

– Кто это приехал, Роза? – спрашивает миссис Ронсвел.

– Двое молодых людей в кабриолете, мадам; они желают осмотреть дом... Точно так, мадам, я сама сказала им то же самое, – присовокупляет девушка, быстро отвечая на жест несогласия со стороны домоправительницы. – Я вышла в парадные двери и сказала им, что

сегодня очень дурной день, и что они приехали совершенно не вовремя. Но молодой человек, который правил, снял шляпу под дождем и просил меня передать вам эту карточку.

– Прочитай пожалуйста, Ватт, что тут написано.

Роза до такой степени становится застенчива, что, передавая карточку молодому человеку, роняет ее на пол, и молодые люди, поднимая ее, чуть-чуть не стучаются лбами. Роза становится застенчивее прежнего.

– «Мистер Гуппи». Тут все, что написано на карточке.

– Гуппи! – повторяет миссис Ронсвел. – Вот еще новость! да я впервые слышу это имя.

– Точно так, мадам; он сам сказал мне об этом! – возражает Роза. – Он сам сказал мне и при этом заметил, что он и другой молодой джентльмен только вчера приехали из Лондона, на какое-то судебное следствие милях в десяти отсюда, и что приехали на почтовых, а так как следствие скоро окончилось, к тому же они очень многое слышали о Чесни-Волд, и совершенно не знают, что делать в ожидании обратного отъезда, то, несмотря на погоду, решились приехать сюда и осмотреть весь дом. Они, кажется, адвокаты. Хотя молодой джентльмен и говорит, что служит не под начальством мистера Толкинхорна, но уверен в том, что может воспользоваться именем мистера Толкинхорна, если это окажется необходимым.

Роза, заметив при этих словах, что сделала чересчур длинное объяснение, становится еще застенчивее.

Так как мистер Толкинхорн некоторым образом составляет неразрывную связь с господским домом и к тому же, как полагают некоторые, составлял духовное завещание для миссис Ронсвел, поэтому почтенная старушка, в виде особенного снисхождения, изъявляет согласие на впуск посетителей и отпускает Розу. Во внуке является внезапное и сильное желание с своей стороны осмотреть господский дом, и потому он просит позволения присоединиться к посетителям. Бабушка, которой в высшей степени приятно видеть в своем внуке такое внимание к господскому дому, провожает его, хотя, надобно отдать ему справедливость, он не имеет ни малейшего расположения утруждать ее.

– Чрезвычайно много обязан вам, сударыня! – говорит мистер Гуппи, сбрасывая с себя в приемной мокрый непромокаемый плащ. – Мы, лондонские адвокаты, редко выезжаем из столицы, но уж зато, когда выедем, то всячески стараемся воспользоваться поездкой.

Старушка-домоправительница весьма вежливо, но в то же время и довольно холодно, указывает на парадную лестницу. Мистер Гуппи и его приятель следуют за Розой. Миссис Ронсвел и ее внук поднимаются за ними; молодой садовник идет впереди всех – открывать комнатные ставни.

Как обыкновенно случается с людьми, осматривающими господские дома, у мистера Гуппи и его приятеля разбегаются глаза еще до начала осмотра. Они бросаются, как угорелые, совсем не туда, куда следует, смотрят совсем не на то, что им показывают, не обращают надлежащего внимания на предметы интересные, изумляются, когда открывают им другие комнаты, вскоре утомляются, обнаруживают в высшей степени скуку и, наконец, начинают сожалеть о цели своего посещения. В каждой комнате, в которую входят посетители, миссис Ронсвел, стройная как самый дом, на несколько секунд садится в углублении окна или в другом уютном уголке и с видом величайшего одобрения вслушивается в объяснения Розы. Внук миссис Ронсвел до такой степени внимателен к этим объяснениям, что Роза становится еще застенчивее и, следовательно, еще милее. Таким образом вся партия переходит из одной комнаты в другую, пробуждая нарисованных Дэдлоков на несколько коротеньких минут, в то время как садовник открывает ставни, и снова обрекая их могильной тишине, вместе с закрытием ставней. Опечаленному мистеру Гуппи и его унылому другу кажется, что не будет конца Дэдлокам, которых фамильное величие, по-видимому, в том и состояло, что в течение семи столетий они ровно ничего не сделали для своего отличия. Даже длинная гостиная в Чесни-Волд не в состоянии рассеять уныние мистера Гуппи. До такой степени он упадает духом, что останавливается на

пороге этой комнаты и с величайшим трудом решается войти в нее, как вдруг портрет над камином, написанный фешенебельным современным артистом, действует на него как чарующая сила. В один момент к нему является все присутствие духа. С необычайным вниманием он устремляет взоры на портрет; по-видимому, он очарован им, прикован к нему.

– Скажите на милость, – говорит мистер Гуппи, – кто это?

– Портрет над камином, – отвечает Роза, – изображает нынешнюю леди Дэдлок. Все находят в нем удивительное сходство и считают лучшим произведением художника.

– Скажите на милость, – говорит мистер Гуппи, с недоумением взглянув на своего приятеля, – неужели я видел ее где-нибудь?.. А, право, я знаю ее!.. Скажите, мисс, была ли сделана гравюра с этого портрета?

– Портрет этот никогда не являлся в гравюре. Сэр Лейстер не изъявлял на это своего согласия.

– В самом деле, – вполголоса говорит мистер Гуппи, – престранная вещь! удивительное дело! но будь я застрелен на месте, если это лицо не знакомо мне!.. Так это-то и есть портрет миледи Дэдлок?

– Портрет по правую сторону изображает нынешнего сэра Лейстера, а портрет налево – покойного сэра Лейстера, – продолжает Роза, не обращая внимания на вопрос мистера Гуппи, а мистер Гуппи, в свою очередь, не обращает ни малейшего внимания на этих магнатов.

– Для меня непостижимо, – говорит он, не отводя глаз от портрета миледи, – я не могу объяснить себе, где я видел это лицо! я решительно нахожусь в недоумении, – прибавляет мистер Гуппи, оглядываясь вокруг. – Скажите на милость, неужели я видел во сне этот портрет?

Но, к сожалению, никто из предстоящих не принимает особенного участия в сновидениях мистера Гуппи, а потому его предположение остается неподтвержденным. Между тем внимание мистера Гуппи до такой степени приковано к портрету, что он стоит перед ним как вкопанный, до тех пор, пока садовник не закрывает последнего ставня. Мистер Гуппи выходит оттуда в каком-то помрачении и с величайшим рассеянием осматривает другие покои, как будто он всюду ищет еще раз встретиться с миледи Дэдлок.

Но он не видит ее более. Он осматривает ее собственные комнаты, которые, по своей изящной отделке, показываются последними, смотрит в окна, из которых миледи еще не так давно любовалась погодой, наскучившей ей до смерти. Но всему на свете есть конец, даже барским домам, которые люди принимают на себя бесконечный труд осматривать, и скучают прежде, чем начнется осмотр. Мистер Гуппи доходит до конца осмотра, а свеженькая деревенская красавица – до конца своих объяснений, которые неизменно заключались следующими словами:

– Террасой внизу многие любят. По старинному фамильному преданию, она называется «Площадкой Замогильного Призрака».

– Неужели? – говорит мистер Гуппи, с жадным любопытством. – Скажите, мисс, в чем же состоит это предание? не говорится ли в нем чего-нибудь о портрете?

– Сделайте милость, расскажите нам это предание, – почти шепотом произносит Ватт.

– Я не знаю его, сэр.

И Роза становится еще застенчивее и стыдливее.

– Оно не рассказывается посетителям, да оно уже почти забыто, – говорит домохозяйка, приближаясь к гостям. – Это ни больше, ни меньше, как фамильный анекдот.

– Надеюсь, вы извините меня, мадам, если я еще раз спрошу, не имеет ли это предание какой-нибудь связи с портретом миледи? – замечает мистер Гуппи. – Уверяю вас, чем больше я думаю об этом портрете, тем знакомее он становится для меня, хотя я совершенно не могу понять, когда и каким образом я познакомился с ним.

Но предание не имеет никакой связи с портретом, – домоправительница ручается за это. Мистер Гуппи выражает свою признательность за это известие и вообще считает себя крайне обязанным. Вместе с приятелем он спускается по другой лестнице, и вскоре раздается звук отъезжающего экипажа. Начинает смеркаться. Миссис Ронсвел вполне может положиться на скромность двух молодых слушателей и полагает, что можно будет рассказать предание, почему терраса получила такое странное название. Она садится в покойное кресло подле окна, в котором свет дневной начинает быстро потухать, и говорит им:

– В тяжелые времена царствования Карла Первого – я называю это тяжелыми временами вследствие тогдашних политических событий – сэр Морбири Дэдлок был единственным владельцем Чесни-Волд. Существовало ли в ту пору какое-нибудь предание о Замогильном Призраке, я не умею сказать, но полагаю, оно существовало.

Миссис Ронсвел придерживается этого мнения, потому что такая старинная и важная фамилия имела полное право на существование в своем доме призрака. Она считает это за одно из преимуществ, предоставленных высшему классу, за особенное, в некоторой степени жангильное отличие, которым обыкновенный класс народа не смеет пользоваться.

– Сэр Морбири Дэдлок, – говорит миссис Ронсвел, – был, мне и не нужно, кажется, говорить об этом, на стороне короля. Но полагают, что его супруга, не имевшая в своих жилах и капли крови Дэдлоков, сильно содействовала стороне в высшей степени неблагонамеренной. Известно было, что она имела родственников между врагами короля, и что от времени до времени передавала им важные известия. Когда какой-нибудь джентльмен из графства, приверженец партии короля являлся сюда за советом, то говорят, что миледи всегда находилась у дверей совещательной комнаты гораздо ближе, чем полагали совещатели... Ватт! ты слышишь звуки, как будто кто ходит по площадке?

Роза придвигается поближе к домоправительнице.

– Я слышу одно падение дождя на террасу, – отвечает молодой человек, – впрочем, позвольте: я слышу еще какое-то странное эхо – я думаю, что это эхо, которое похоже на человеческие неровные шаги.

Домоправительница с серьезным видом кивает головой и продолжает:

– Частью по поводу различия в политических мнениях, а частью по различию в характере, сэр Морбири и его леди вели незавидную жизнь. Они не были парой друг другу ни по летам, ни по наклонностям; к тому же у них не было детей, которые бы поддерживали между ними супружеское согласие. После того, как любимый ее брат, молодой джентльмен, был убит в междоусобной войне (близким родственником сэра Морбири), ее чувство до того ожесточилось, что она возненавидела весь род своего супруга. Когда Дэдлоки, защищая сторону короля, намеревались уезжать из Чесни-Волд на ратное поле, она не раз, под прикрытием глубокой ночи, тайком пробиралась в конюшни и портила ноги их скакунам. Предание гласит, что однажды, в подобную ночь, ее муж, заметив, как она украдкой спускалась с лестницы, пошел за ней в конюшню, где стояла его любимая лошадь. В то время, как миледи хотела нанести удар лошади, сэр Морбири схватил ее за руку, и, во время борьбы, или от падения, или оттого, что испуганная лошадь сильно лягнула, миледи охромела и с того часа начала тосковать и чахнуть.

Домоправительница понижает голос почти до шепота:

– Миледи имела прекрасную наружность и во всех отношениях благородную осанку. Она никогда не жаловалась на перемену в своей наружности, никому не говорила, что хромает и страдает душой, но, изо дня в день, отправлялась гулять на террасу и, с помощью костыля или с помощью каменной балюстрады, ходила взад и вперед, в хорошую погоду и в ненастную; но прогулка для нее с каждым днем становилась труднее и труднее. Наконец, однажды вечером, муж миледи (с которым она, несмотря ни на какие убеждения, ни разу не промолвила слова после роковой для нее ночи), – муж миледи, стоявший у большого южного окна, увидел, что жена его упала на площадку. Он побежал поднять ее, но миледи оттолкнула его в то время,

как он наклонился над ней, и, бросив на него пристальный холодный взгляд, сказала: «Я умру здесь, где я гуляла, и стану гулять здесь, хотя и буду в могиле. Я стану гулять здесь, пока гордость этого дома не будет уничтожена. И когда предстоять будут позор или несчастье этому дому, пусть Дэдлоки слушают мои шаги».

Ватт смотрит на Розу. Роза в быстро наступавших потемках потупляет взоры, полу-испуганная, полу-застенчивая.

– И действительно, на том самом месте и тогда же миледи скончалась. И с той поры, – говорит миссис Ронсвел, – терраса получила название «Площадки Замогильного Призрака». Если шаги миледи можно назвать отголоском, то отголосок этот бывает слышен только после сумерек; а иногда случается, что его вовсе не слышать в течение долгого времени. От времени до времени он снова возвращается и непременно бывает слышен, когда кому-нибудь в семействе Дэдлоков угрожает тяжелая болезнь или смерть...

– Или позор, бабушка, – прибавил Ватт.

– Позор – вещь неслыханная в Чесни-Волд! – возражает домоправительница.

Ее внук старается извинить нескромность своего замечания словами: «Правда, бабушка, правда».

– Вот вам и конец преданию. Какой бы ни был этот звук, но звук этот невыносимый, – говорит миссис Ронсвел, поднимаясь с кресла, – и, что всего замечательнее, он непременно должен быть слышим. Наша нынешняя миледи, которая, мимоходом сказать, ничего не боится, соглашается, что звук этот не выдумка, что он раздается от времени до времени, и что непременно должен быть слышим: его ничем не заглушить. Да вот что, Ватт: позади тебя стоят высокие французские часы (их нарочно поставили тут); у них громкий бой, и они играют музыку. Ведь ты понимаешь, как нужно завести их?

– Как не понимать, бабушка! я очень хорошо понимаю.

– Возьми-ка, пусти их.

Ватт пускает в ход часы – музыку и бой.

– Теперь поди сюда, – говорит бабушка, – сюда, сюда, дитя мое! Наклонись к подушке миледи. Не знаю, довольно ли темно теперь – кажется, еще раненько; впрочем, послушай... Что? ведь слышны на террасе чьи-то шаги, несмотря на музыку, на бой часов, на все решительно?

– Да, бабушка, слышны.

– То же самое говорит и миледи.

VIII. Прикрытие множества прегрешений



Интересно было, когда я оделась до рассвета, взглянуть в окно, на темных стеклах которого мои свечи отражались как два маяка, — интересно было взглянуть в окно и, увидев, что все еще покрывалось непроницаемым мраком минувшей ночи, наблюдать, какой представится вид с наступлением дня. В то время, как темная даль постепенно прояснялась и открывала сцену, над которой ветер свободно разгуливал во мраке, подобно моим воспоминаниям над протекавшими днями ранней моей жизни, — я испытывала беспредельное удовольствие, усматривая незнакомые предметы, окружавшие меня во время ночи. Сначала они, облеченные утренним туманом, тускло были видны, и под ними все еще сверкали запоздалые звезды. Но миновал этот промежуток бледно-тусклого начала дня, и картина стала шириться и наполняться предметами так быстро, что с каждым минутным взглядом мне представлялось так много нового, что можно было любоваться им в течение часа. Мои свечи незаметным образом сделались вовсе не соответствующими принадлежностями наступившего утра; темные места в моей комнате исчезали, и дневной свет ярко засиял над веселым ландшафтом, в котором рельефно высилась церковь старинного аббатства, и своей массивной башней бросала более мягкую тень на всю сцену, нежели можно было ожидать, судя по ее грубой, нахмуренной наружности. Так точно

грубые, шероховатые наружности (кажется, эту мысль я где-то заучила) часто производят на нас мягкое, отрадное впечатление.

Каждая часть в доме была в таком порядке и все живущие в нем до такой степени были внимательны ко мне, что две связки ключей нисколько меня не беспокоили. Стараясь запомнить содержание шкафов и ящиков в каждом небольшом чулане, делая заметки на аспидной доске о количестве различного варенья, соленья и сушеных плодов, о числе графинов, рюмок, чайной посуды и множества других подобных вещей и, по обыкновению, представляя из себя род аккуратной, устарелой девы, а на самом-то деле – глупенькую маленькую особу, я до такой степени была занята своим делом, что когда прозвонил утренний звонок, то не хотела верить, что наступило время завтрака. Как бы то ни было, я побежала в столовую и приготовила чай: эта обязанность лежала вполне на моей ответственности. Сделав надлежащие распоряжения касательно завтрака и заметив, что все опоздали встать и никто еще не спустился вниз, я подумала, что успею заглянуть в сад и составить о нем должное понятие. Я нашла его очаровательным. Перед лицевым фасадом дома находился подъезд, по которому мы накануне подъехали к дому (и на котором, мимоходом сказать, колеса нашего экипажа так страшно врезались в песок, что я попросила садовника заровнять наши следы); перед задним фасадом расположен был цветник, и в него выходило окно из комнаты Ады, которая отворила его, чтоб улыбнуться мне, и улыбнулась так мило, как будто хотела поцеловать меня, несмотря на расстояние, нас отделявшее. За цветником находился огород, далее – птичий двор, потом – небольшая рига, и, наконец, премиленькая ферма. Что касается до самого дома, с его тремя отдельными шпицами, с его разнообразными окнами, или слишком большими, или чересчур маленькими, но вообще премиленькими, с его трельяжной решеткой, на южном фасаде, для роз и каприфолий, и, наконец, с его незатейливой, комфортабельной, приветливой наружностью, – этот дом, по словам Ады, вышедшей встретить меня под руку с домовладельцем, был вполне достоин ее кузена Джона. Со стороны Ады это сказано было довольно смело; но кузен Джон только потрепал за это ее миленькую щечку.

Мистер Скимполь был так же приятен за завтраком, как и накануне вечера. На столе, между прочим, стоял мед, и это послужило для него поводом к разговору о пчелах. Он не имел ничего сказать против меду (и действительно не имел, потому что, как казалось мне, он очень любил его), но сильно восставал против высокого мнения пчел о своих слишком преувеличенных достоинствах. Он вовсе не видел причины, почему пчел представляют ему за образец трудолюбия. Почем еще знать, любит ли пчела собирать мед, или не любит: никто ее не спрашивал об этом. Пчеле вовсе не следует основывать своего достоинства на своем расположении трудиться. Если каждый кондитер станет жужжать по белому свету, станет сбивать с ног каждого встречного и, побуждаемый чувством эгоизма, станет принуждать всякого обратить внимание на то, что он намерен приняться за работу и должен продолжать ее без остановки со стороны постороннего, – право, тогда мир сделался бы самым несноснейшим местом! Вдобавок к тому, едва только узнаете вы, что пчела собрала свое богатство, как немедленно начнете едким дымом выкуривать ее из ее владений и сами овладеете всем ее достоянием – положение слишком незавидное! Вы бы имели очень дурное понятие о манчестерском работнике, если б стали полагать, что он работает без всякой другой цели. Мистер Скимполь говорил, что, по его мнению, трутень есть олицетворение более приятной и более умной идеи. Всякий трутень непринужденно обращается к своей трудолюбивой собратии с следующими словами: «Вы извините меня, но я, право, не могу трудиться над вашим магазином. Я летаю на свободе, по обширному миру, где так много есть предметов, которыми нужно любоваться, и так мало времени, чтобы вполне налюбоваться ими, что я вынужденным нахожусь взять смелость поглядеть вокруг себя и попросить заняться делом других, которые не желают любоваться тем, что окружает их». Это, как думал мистер Скимполь, была философия трутня, и он считал ее весьма умной философией: она всегда допускала, что трутень имел расположение находиться

в дружеских отношениях с трудолюбивой пчелой; да он, сколько известно мистеру Скимполю, всегда бы и был в тех отношениях, если б только высокомерное создание позволило ему это и не вообразало бы чересчур много о своем меде.

Мистер Скимполь без всякого принуждения развивал эту идею и всячески разнообразил ее; он, как говорится, без оглядки и легко гнался за ней по весьма неровной, разнообразной поверхности, и как нельзя более забавлял нас; но и при этом случае, по-видимому, старался придать такое серьезное значение словам своим, каким он мог располагать. Отвлекаемая необходимостью исполнять свои обязанности, я оставила мистера Джорндиса, Ричарда и Аду слушать философию мистера Скимполя. Распоряжения по хозяйству отняли у меня немного времени, и уже я возвращалась по коридору в столовую, весело побрякивая ключами, которые в коробочке висели на руке моей, когда мистер Джорндис попросил меня в небольшую комнатку, подле его спальни, – комнатку, которая, по собранию книг и бумаг, показалась мне маленькой библиотекой, а по собранию сапог, башмаков и шляпных картонок – маленьким музеем.

– Присядьте, душа моя, – сказал мистер Джорндис. – Прежде всего нужно вам сказать, что эта комната называется Ворчальней. Когда я теряю приятное расположение духа, то обыкновенно прихожу сюда ворчать.

– Вам следует, сэр, как можно реже являться сюда, – сказала я.

– О, вы еще не знаете меня! – возразил мистер Джорндис. – Когда я обманусь, или ожидания мои будут обмануты насчет... насчет ветра, и обыкновенно восточного ветра... я всегда ищу убежища в этой комнатке. Ворчальная для меня самая лучшая комната из целого дома. Вы еще и в половину не знаете моего прихотливого нрава... Что с вами, милая моя? отчего вы дрожите так?

Действительно, я дрожала всем телом, но дрожала против своего желания. Я всеми силами старалась успокоить себя, – но тщетно. Да и могла ли я располагать спокойствием, находясь перед лицом моего великодушного благодетеля, встречая взорами его кроткие, ласковые, добрые взоры, испытывая в душе своей такое беспредельное счастье, сознавая доверие к себе? Мое сердце было так переполнено...

Я поцеловала его руку. Не знаю, что я сказала, не знаю, даже говорила ли я что-нибудь. Знаю только, что мистер Джорндис, расстроенный, отошел к окну. Я почти была убеждена, что он выпрыгнет в него; но вскоре он воротился на прежнее место, и я совершенно разуверилась, увидев в глазах его следы слез, чтобы скрыть которые он нарочно отходил к окну. Он нежно погладил меня по голове.

– Ну, полно, полно! – сказал он. – Теперь все кончилось! Оставь же! надо быть умницей.

– В другое время этого не будет, сэр, – возразила я, – но при первом разе это так трудно.

– Какой вздор! напротив, очень, очень легко. Да и почему же трудно? Я услышал о доброй маленькой сиротке без всякого защитника и вздумал сделаться ее защитником. Она вырастает и более чем оправдывает мои ожидания, а я остаюсь ее опекуном и ее другом. Что же следует из всего этого? Кажется, ничего!.. Ну вот так, так! мы квит теперь, – теперь я снова вижу перед собой твое милое, внушающее к себе доверие лицо.

Я сказала самой себе: «Эсфирь, моя милая, ты удивляешь меня! Это совсем не то, чего я ожидала от тебя!» И слова эти произвели на меня такое благодетельное действие, что, сложив руки на коробочку с ключами, я совершенно успокоилась. Мистер Джорндис, выразив на лице своем одобрение, начал говорить со мной так откровенно, так доверчиво, как будто я привыкла беседовать с ним каждое утро, Бог знает с какого давнего времени. Я начинала даже убеждаться в этом несбыточном предположении.

– Без сомнения, Эсфирь, – сказал он, – вы не понимаете этой тяжбы в Верховном Суде? И, без сомнения, я отрицательно покачала головой.

– Да я и не знаю, кто понимает ее, – возразил мистер Джорндис. – Сами судьи и адвокаты обратили его в такую страшную путаницу, что первоначальные основы тяжбы давным-давно

исчезли с лица земли. Оно производится, или, вернее сказать, производилась некогда об одном духовном завещании и о лицах, к которым оно относилось, а теперь – ни о чем больше, как об одних только судебных проторях и убытках, о взысканиях за делопроизводство. По поводу этих взысканий, мы постоянно являемся в суд и исчезаем из него, даем клятвенные показания и делаем запросы, выступаем вперед и отступаем, приводим все в порядок и в беспорядок, делаем различные донесения и объяснения, вертимся около канцлера и всех его спутников и, точно как в вальсе, уносимся в вечность. Вот это-то и есть главный вопрос во всем деле. Все прочее, по каким-то странным, неизъяснимым случаям, исчезло так, что и следов не осталось.

– Однако, сэр, ведь вы сказали, что дело началось по поводу духовного завещания? – спросила я, заметив, что мистер Джорндис начинал потирать себе голову.

– Да, конечно; когда нужно было начать дело по поводу чего-нибудь, так его начали по поводу завещания. Один из Джорндисов, в недобрый час, составил громадное богатство и сделал огромное завещание. Пока производились разбирательства и совещания о том, каким образом распределить между наследниками завещанное богатство, оказалось, что наследство уже все растрачено. Лица, которым вверено было хранение духовной, доводятся до такого жалкого положения, что оно уже само собой служило весьма достаточным наказанием, если б они и действительно учинили страшное преступление, утаив и растратив завещанные деньги; наконец и самое завещание сделалось документом по одному только преданию. В течение всей этой плачевной тяжбы, каждый из участвующих в ней должен иметь простые копии и копии с копий о всем накопившемся по делопроизводству и в сложности составлявшем огромные телеги, нагруженные бумагой! Кто не хотел иметь этих копий, тот должен был платить за них; а это случалось чаще всего, потому что кому какая нужда была в грязной бумаге! Каждый должен был выделять все туры какого-то адского танца под музыку судебных издержек, взысканий, взяток и тому подобного, – такого танца, какого воображение человека никогда еще не представляло, рисуя дикую картину шабаша какой-нибудь ведьмы. Верховный Суд посылает запросы в суд низшей инстанции, который в свою очередь обращается с теми же запросами в Верховный Суд; суд низшей инстанции находит, что он не может сделать этого, – Верховный Суд делает то же самое открытие. Ни тот, ни другой не смеет сказать, что он может сделать что-нибудь без уведомления о том вот этого ходатая и без личного присутствия вот этого адвоката, защищающих сторону А, или без уведомления ходатая и личного присутствия адвоката, защищающих сторону Б, и так далее, до конца всей азбуки, точь-в-точь, как детская сказка о яблочном пирожном. И таким образом, в течение многих и долгих лет, с истечением многих и многих человеческих жизней, – все, по-видимому, идет своим чередом, все постоянно начинается снова и снова и никогда не достигает желанного конца. Ко всему этому мы ни под каким видом, ни на каких условиях не смеем отказать от этой тяжбы, потому что мы прикосновенны к ней и должны участвовать в ней, несмотря на то, нравится ли нам она, или нет. Впрочем, не стоит и думать об этом! Когда мой двоюродный дед, несчастный Том Джорндис, начал думать о ней, так это начало сделалось концом его жизни!

– Неужели это тот самый мистер Джорндис, с историей которого я случайно познакомилась?

Мистер Джорндис, с весьма серьезным видом, утвердительно кивнул головой.

– Я был его наследником, Эсфирь; и этот дом принадлежал ему. Когда я приехал сюда, это был действительно холодный, бесприютный дом. Мой дед оставил на каждом предмете этого дома признаки своего несчастья.

– Это название следовало бы теперь переменить, – сказала я.

– До дедушки Тома дом этот назывался Шпицами. Нынешнее название дал ему дедушка Том и жил в нем настоящим затворником: день и ночь просиживал он над кипами злосчастных тяжёбных бумаг и, вопреки всякой надежде, надеялся распутать эту страшно запутанную тяжбу и привести ее к концу. Между тем дом незаметным образом ветшал и ветшал, ветер свистал в

расселины стен, дождь лил как в решето в полуразрушенную кровлю, коридор покрылся мхом и травой до полусогнившей двери. Когда я привез сюда бранные останки деда, мне казалось, что и из дома его, точно так же, как из него самого, вылетели мозги: до такой степени все было ветхо и пусто.

Сказав эти слова как будто про себя, мистер Джорндис несколько раз прошелся по комнате, потом взглянул на меня, и лицо его прояснилось: он снова сел на прежнее место, не вынимая рук из карманов.

– Ведь я сказал тебе, душа моя, что эта комната называется Ворчальной. На чем бишь я остановился?

Я напомнила ему, что на отрадной перемене, произведенной им в Холодном Доме.

– Да, действительно, я остановился на Холодном Доме. Надобно сказать, что в Лондоне существует также наше недвижимое имущество, или, вернее, дом, который в настоящее время находится точно в таком же положении, в каком Холодный Дом находился во времена дедушки Тома. Я говорю об этом доме, как о нашей собственности, но вернее можно назвать его собственностью тяжбы, а еще вернее – собственностью тяжёбных издержек, ибо издержки по тяжбе, по моему мнению, единственная сила на земле, которая может еще что-нибудь сделать из этого дома, или, по крайней мере, может убедиться, что этот дом ни для чего больше не годен, как только служить бельмом на глазу или кручиной в сердце. Собственность тяжёбных издержек! – я не иначе представляю ее себе, как в роде целой улицы погибающих слепых домов, у которых глаза выбиты камнями. В них нет ни одного стеклышка, нет даже рам; остались одни только оконницы, с обнаженными, полинялыми ставнями, которые уныло скрипят на петлях и чуть-чуть не падают; с железных решеток слоями лупится ржавчина; дымовые трубы осели; каменные ступеньки у каждой двери (а каждую дверь смело можно назвать преддверием смерти) покрылись плесенью, зеленеющим мхом; самые устои, на которые опираются руины, изменяют своему назначению. Хотя Холодный Дом и не был в Верховном Суде, зато владелец его был, и та же самая печать сделала свой отпечаток и на доме. Эти отпечатки канцлерской печати, моя милая, находятся в Англии повсюду; они знакомы даже ребятишкам!

– О, как удивительно переменялся Холодный Дом! – сказала я еще раз.

– Да, конечно, он переменялся, – отвечал мистер Джорндис в заметно веселом расположении духа, – и с вашей стороны будет весьма благоразумно поддерживать меня в светлой стороне картины. (Представить себе, что у меня есть благоразумие!) Об этих вещах я никогда не говорю, даже никогда не думаю, разве только, когда бываю здесь – в Ворчальной. Если вы находите нужным рассказать об этом Рику или Аде (при этом мистер Джорндис бросил на меня серьезный взгляд), вы можете. Я вполне предоставляю это на ваш произвол.

– Надеюсь, сэр...

– Мне кажется, душа моя, – лучше будет, если станете говорить со мной, не употребляя этого холодного эпитета.

В то время, как он показывал вид, что говорит это так, слегка, как будто это была с его стороны прихоть, а не рассчитанная нежность, я еще раз почувствовала справедливый упрек и в свою очередь мысленно упрекнула себя: «Эсфирь, ведь ты знаешь, что это очень, очень дурно!» Впрочем, чтоб еще сильнее напомнить себе об этом, я слегка потрясла ключами и, решительнее прежнего сложив руки на коробку, спокойно взглянула на него.

– Надеюсь, – сказала я, – вы не станете чересчур много оставлять на мой произвол. Не ошибаетесь ли вы во мне? Я боюсь, что ожидания ваши будут обмануты, когда вы убедитесь, что я не очень умна; а что я не умна, так это истина: вы бы сами увидели это в непродолжительном времени, если б я не имела столько прямоты признаться вам в своем недостатке.

По-видимому, слова мои не разочаровали его: напротив, он как нельзя более остался ими доволен. С улыбкой, разливавшейся по всему лицу его, он сказал мне, что знает меня весьма хорошо, и что ума моего для него весьма достаточно.

– Надеюсь, быть может и будет по-вашему, – сказала я, – но все же не ручаюсь за себя.

– Вашего ума, душа моя, весьма довольно, чтобы быть доброй хозяйкой в нашей семье, – возразил он, – быть Старушкой из детского стихотворения (я не разумею тут стихотворения мистера Скимполя):

«Старушка, Старушка! куда ты спешешь?

– Паутину смести со светлого неба».

Вы, Эсфирь, во время вашего домохозяйства, будете так чисто сметать паутину с нашего неба, что мы забросим эту Ворчальню и гвоздями заколотим дверь в нее.

Это было началом того, что меня стали называть старухой, старушкой, паутинкой, милашей-хозяйюшкой, матушкой Гоббард, хозяйюшкой Дорден и таким множеством других подобных имен, что между ними мое собственное имя в скором времени совершенно потерялось.

– Однако, – сказал мистер Джорндис, – возвратитесь к нашей болтовне. С нами живет теперь Рик, прекрасный и, как кажется, многообещающий юноша. Что бы с ним сделать, например?

О, Боже мой! у меня спрашивают совета по такому щекотливому предмету! одна мысль об этом удивляет меня!

– Да, Эсфирь, он живет с нами, – повторил мистер Джорндис, покойно укладывая руки в карманы и протягивая ноги. – Он должен иметь какую-нибудь профессию; он должен выбрать для себя какую-нибудь дорогу. Я полагаю, что при этом случае начнется страшная система путаницы; но делать нечего!

– Система... чего вы сказали? – спросила я.

– Система путаницы! Другого названия я не придумаю для подобного обстоятельства. Ведь вы знаете, душа моя, что он находится под опекой Верховного Суда: поэтому, вероятно, Кендж и Карбой найдут что-нибудь сказать насчет его выбора; адвокат его тоже найдет что-нибудь сказать; найдет сказать что-нибудь и лорд-канцлер; скажут что-нибудь и его спутники. Они все найдут какую-нибудь основательную причину вникнуть в этот выбор; из них каждому порознь и всем вообще придется заплатить и заплатить за это. Весь этот процесс будет чересчур церемонный, многословный, бестолковый и чувствительный для кармана, – процесс, который я вообще называю системой приказных проволочек, системой путаницы. Каким образом приходится людям испытывать тяжкие огорчения от этой системы или за чьи грехи приходится молодым людям сталкиваться с ней, я решительно не понимаю; а между тем это совершенно так.

Тут он начал тереть себе голову и делать намеки, что чувствует перемену ветра. Нельзя было не принять за восхитительный пример великодушия и снисхождения к моей маленькой особе того обстоятельства, что когда потирал он себе голову, или ходил по комнате, или делал то и другое вместе, его лицо тотчас же принимало приятное выражение при одном взгляде на мое. И обыкновенно после этого он снова спокойно располагался на стуле, засовывал руки в карманы и протягивал ноги.

– Может статься, будет лучше всего, – сказала я, – если я спрошу мистера Ричарда, к чему он имеет особенную склонность?

– Совершенно так, – отвечал он. – Вот об этом-то я и думал! Пожалуйста, постарайтесь переговорить об этом с Ричардом и Адой, употребите ваш такт и ваше спокойствие, которые вы с особым умением применяете ко всему, и посмотрите, что из этого можно сделать. Через ваше посредничество, милая хозяйюшка, мы, без всякого сомнения, вникнем в самую сущность дела.

Я не на шутку начинала бояться мысли о своем важном значении, которое приобретала в глазах мистера Джорндиса, и о множестве серьезных предметов, которые доверялись мне. Я

вовсе не ожидала этого; я думала, по-настоящему, ему бы самому следовало переговорить с Ричардом. Но, само собою разумеется, я не сказала в ответ ничего особенного, кроме того, что постараюсь с своей стороны сделать все, что только будет можно, хотя и боялась (мне кажется, вовсе бы не нужно и повторять этого), что его понятия касательно моего ума и дальновидности чересчур преувеличены. – При этом покровитель мой засмеялся таким чистосердечным и приятным смехом, какого, мне кажется, я не слыхала во всю свою жизнь.

– Уйдемте же отсюда! – сказал он, вставая, и вместе с тем сильно оттолкнул от себя кресло. – На этот день, кажется, можно проститься с Ворчальней! В заключение скажу еще одно слово. Эсфирь, душа моя, не имеете ли вы спросить меня о чем-нибудь?

Он бросил на меня такой пронизывающий взгляд, что и я в свою очередь пристально поглядела на него и, как кажется, поняла смысл его вопроса.

– Собственно о себе? – спросила я.

– Да.

– Мой покровитель, ничего! – сказала я, осмеливаясь положить мою руку (которая совсем неожиданно сделалась холоднее, чем мне бы хотелось) в его руку. – Решительно не имею ничего! Я уверена, что если б мне нужно было узнать что-нибудь, то и тогда бы я не должна просить вас исправить мое неведение. У меня было бы весьма дурное сердце, если б вся моя надежда, вся моя уверенность не были возложены на вас... Нет, я ничего не имею спросить у вас, – ничего в мире!

Он взял меня под руку, и мы вышли отыскивать Аду. С этого часа в его присутствии я не чувствовала ни малейшего стеснения: я была откровенна с ним, – была совершенно довольна своим положением, не имела никакого расположения узнать о себе что-нибудь более, – словом сказать, была совершенно счастлива.

На первых порах наша жизнь в Холодном Доме отличалась необычайной деятельностью: нам предстояло знакомиться со многими резидентами, жившими в пределах и за пределами ближайшего соседства и коротко знавшими мистера Джорндиса. Аде и мне казалось, что все его знакомые отличались тем, что каждый из них имел расположение делать какие-нибудь обороты чужими капиталами. Когда мы начинали рассматривать письма на имя мистера Джорндиса и на некоторые из этих писем отвечать за него – а это обыкновенно делалось по утрам, в Ворчальной – для нас удивительным казалось, что главная цель существования почти всех его корреспондентов, по-видимому, состояла в том, чтоб учредить из себя комитеты для приобретения капиталов и потом для распределения их по своему усмотрению. Дамы так же усердно стремились к этой цели, как и мужчины – даже, мне кажется, гораздо усерднее. Они бросались в комитеты с самым необузданным рвением и собирали подписки с необыкновенной горячностью. Нам казалось, что некоторые из них проводили всю свою жизнь в раздаче и рассылке подписок по всему почтовому ведомству – подписок на шиллинг, подписок на полкроны, на пол соверена, на пенни. Они нуждались решительно во всем. Им нужно было готовое платье, нужны были полотняные тряпки, нужны деньги, нужен каменный уголь и горячий суп, нужны участие и влияние, нужны были автографы, нужна байка, – словом сказать, нужно было все, что только имел мистер Джорндис и чего не имел. Их цели были такие же многообразные, как и требования. Они намеревались соорудить новое здание, намеревались очистить от долгов старые здания, намеревались возвести живописное здание (при чем прилагался и вид западного фасада предполагаемого здания), намеревались учредить в этом здании что-нибудь в роде общины средневековых сестер милосердия, намеревались выдать миссис Джэллиби похвальный аттестат, намеревались списать портрет с секретаря их комитета и подарить его теще секретаря, которой глубокая преданность к нему хорошо известна каждому; короче сказать, по моим понятиям, они намеревались совершить все, что только можно представить себе, – от издания пятисот тысяч каких-нибудь назидательных трактатов до назначения пожизненной пенсии, – от сооружения мраморного памятника до серебряного чайника. Они принимали на

себя множество звучных названий; это были: Благотворительницы Англии, Дщери Британии, Сестры всех главных добродетелей отдельно, Покровительницы Америки, – дамы сотни много различных наименований. По-видимому, они принимали живейшее участие в составлении партий для выборов и в самых выборах. Для наших неопытных умов, и согласно с их собственными объяснениями, они, казалось, выбирали людей десятками тысяч, а не выбрали и одного кандидата для чего-нибудь дельного. Мы испытывали болезненное чувство от одной мысли, что они должны были добровольно вести какую-то лихорадочную жизнь.

Между дамами, более всего отличавшимися благотворительностью на чужой счет (если можно употребить такое выражение), была какая-то миссис Пардигль, которая, по-видимому, сколько могла я судить по множеству писем ее к мистеру Джорндису, точно так же неутомимо занималась перепиской, как и миссис Джэллиби. Мы сделали открытие, что ветер каждый раз переменялся, как только предметом разговора становилась миссис Пардигль. При этих случаях мистер Джорндис замечал, что благотворительные люди разделялись на два класса: один состоял из людей, которые делают очень мало пользы и чересчур много шума, а другой – из людей, которые без малейшего шума оказывали величайшую пользу, – и, обыкновенно, замечанием этим мистер Джорндис заключал свою беседу и, при всем желании, возобновить ее не мог. Вследствие этого любопытство наше увидеть миссис Пардигль было возбуждено в высшей степени; мы считали ее типом благотворительницы, принадлежащей к первому классу, и весьма обрадовались, когда она пожаловала к нам однажды, с пятью младшими сыновьями.

Это был образец громадной женщины, в очках, с носом, выдававшимся вперед на огромное пространство, и одаренной таким громким голосом, при звуках которого наша гостиная оказывалась крайне тесною. И действительно, она была тесна, потому что миссис Пардигль роняла стулья полами своего платья, которые свободно и широко размахивались во время ее движений. Так как дома находились только Ада и я, то не удивительно, что мы приняли ее довольно боязливо; она, по-видимому, вошла в наш дом как олицетворенная стужа, что подтверждалось, между прочим, следовавшими за ней посиневшими маленькими Пардиглями.

– Рекомендую вам, молодые барышни, это мои детушки – пять сынков, – весьма бегло сказала миссис Пардигль, после первых взаимных приветствий. – Весьма вероятно, вы видели, и видели, быть может, не раз, имена их на печатном списке подписчиков, которым владеет наш многоуважаемый друг мистер Джорндис. Эгберт, старший из них, двенадцати лет, тот самый мальчик, который выслал из своих собственных карманных денег пять шиллингов и три пенса к индейцам из племени Токкахупо. Освальд, второй сынок, десяти с половиной лет, – то самое дитя, которое пожертвовало два шиллинга и девять пенсов Великому Обществу Ковалей. Франсис, третий из них, девяти лет, подписал один шиллинг и шесть с половиною пенсов, а Феликс, четвертый мой сынок, семи годков, пожертвовал восемь пенсов на престарелых вдов; Альфред, мой младший, по пятому годочку, добровольно записался в «Общество детских обязательств наслаждаться радостью» и дал клятву никогда в течение всей своей жизни не употреблять табаку, в каком бы то ни было виде.

Таких недовольных детей мы еще никогда не видели. Неудовольствие на их лицах не потому отражалось сильно, что они были тощие и сморщенные, хотя они действительно были в высшей степени тощи и сморщены, но потому, что оно придавало их лицам какое-то свирепое выражение. Когда миссис Пардигль упомянула об индейцах из племени Токкахупо, я невольным образом подумала, что Эгберт принадлежал к числу самых несчастнейших из этого племени: так дико, так свирепо взглянул он на меня. Лицо каждого ребенка, вместе с тем, как упоминалась сумма его пожертвования, помрачалось какою-то злобою, – в особенности лицо Эгберта, которое злобным выражением своим сильнее отличалось от всех других. Впрочем, я должна сделать исключение для маленького новобранца «Общества детских обязательств наслаждаться радостью», представлявшего собою глупое и неизменно жалкое создание.

– Я слышала, – сказала миссис Пардигль, – вы посетили дом миссис Джэллиби?

Мы сказали «да» и прибавили, что ночевали в нем.

– Миссис Джэллиби, – продолжала леди, употребляя тот же самый убедительный, громкий, резкий тон, так что голос ее производил на меня впечатление такого рода, как будто и на нем надеты были очки (при этом случае я могу заметить, что очки не придавали лицу ее ни красоты, ни выразительности и теряли всю свою привлекательность потому, что глаза ее были слишком навывкате, или, как выражалась Ада, миссис Пардигль была слишком «пучеглаза»), – миссис Джэллиби, по всей справедливости, можно назвать общественной благотворительницей, и она вполне заслуживает того, чтобы подать ей руку помощи. Мои дети тоже принесли свою лепту на африканское дело: Эгберт пожертвовал полтора шиллинга, а это, заметьте, составляет весь источник его денежных приобретений в течение целых девяти недель; Освальд подписал один шиллинг и полтора пенса из такого же точно источника; остальные – соразмерно с своими маленькими средствами. Несмотря на то, я не во всем поступаю одинаково с миссис Джэллиби. Касательно обхождения с семейством, я поступаю совсем не так, как миссис Джэллиби. Это уже замечено всеми. Замечено, что ее молодое семейство совершенно чуждо участия в тех предприятиях, которым она себя посвящает. Быть может, она поступает справедливо, быть может – нет; справедливо или нет, но у меня не в характере поступать подобным образом с моим юным семейством. Я беру их с собой во все места.

Впоследствии я убедилась (точно также убеждена была и Ада), что последние слова миссис Пардигль вынудили из ее несчастного детища пронзительный прерванный возглас, или, лучше сказать, вопль, который в ту же минуту превратился в зевок; но начало этого зевка было, неоспоримо, начало вопля.

– Они бывают со мной на заутренях (а если бы вы знали, какая служба во время этих заутреней!). Мы отправляемся туда в половине седьмого, каждое утро, в течение круглого года, не выключая даже и глубокой зимы (эти слова произнесены были необыкновенно быстро). Они ни на шаг не отступают от меня в течение моих многотрудных разнообразных дневных обязанностей. Надобно вам сказать, что я исполняю обязанности покровительницы учебных заведений, посетительницы бедных, распорядительницы заведений для безграмотных и наблюдательницы за раздачею пищи бедным, я присутствую в комитете снабжения бедных одеждою и во многих других комитетах. Это мои неизменные спутники, и чрез это они приобретают то верное сведение о бедных и страждущих, ту способность оказывать благодеяние, – короче сказать, тот вкус в этом роде занятий, который в последующие годы их жизни доставит им возможность оказывать пользу ближнему и наслаждаться беспредельным удовольствием. Мои деточки, смею сказать, не имеют в себе пагубной склонности к мотовству: все, что получают, они употребляют, под моим присмотром и руководством, на благотворительные подписки. Они присутствовали на таком множестве публичных митингов и выслушали такое множество назидательных поучений, глубокомысленных речей и трогательных увещаний, какое обыкновенно выпадает на долю весьма немногих взрослых людей. Альфред, пятилетний птенец мой, который, как я уже сказала, по своему собственному убеждению и расположению присоединился к «Обществу детских обязательств наслаждаться радостью», был одним из немногих детей, которые, несмотря на позднюю пору, внимательно и с чувством самосознания выслушали убедительную речь президента того Общества, длившуюся целых два часа.

При этом Альфред так угрюмо и так косо взглянул на нас, как будто он не мог или не хотел забыть наказания, испытанного им в тот вечер.

– Может статься, мисс Соммерсон, – сказала миссис Пардигль, – может статься, вы заметили в одном из списков, о которых уже я упоминала, и которыми владеет наш многоуважаемый друг мистер Джорндис, что имена моих юношей заключаются подпиской на один фунт стерлингов именем О. А. Пардигля, члена Королевского Общества. Это их отец. Мы, по обыкновению, следуем по одной и той же рутине. Я первая кладу мою лепту; потом юное мое семейство приносит свою дань, согласно с их возрастом и слабыми средствами, и, наконец, мистер

Пардигль заключает приношение. Мистер Пардигль вменяет себе в особенное счастье совершить, под моим руководством, скудное подавание; такое обыкновение, такой порядок вещей не только доставляет нам самим беспредельное удовольствие, но, мы полагаем, оно служит назидательным примером для других.

Ну что, если бы мистеру Пардиглю привелось пообедать с мистером Джэллиби, и, если бы мистер Джэллиби вздумал после обеда облегчить свою душу откровенной беседой с мистером Пардиглем, неужели бы и мистер Пардигль, в свою очередь, не сообщил несколько откровенных признаний мистеру Джэллиби? Я совершенно сконфузилась, когда подумала об этом, – а все-таки подумала.

– А ведь здесь весьма приятное местоположение, – сказала миссис Пардигль.

Мы были рады переменить разговор и, подойдя к окну, указали на прекрасные места в картине, на которых очки миссис Пардигль, как казалось мне, останавливались с изысканным равнодушием.

– А вы знаете мистера Гошера? – спросила наша гостья.

Мы были обязаны сказать, что не имели еще удовольствия познакомиться с этим джентльменом.

– Это с вашей стороны большая потеря, смею уверить вас, – сказала миссис Пардигль, принимая величавую осанку. – Надобно вам сказать, что мистер Гошер – самый ревностный оратор: его речи потрясают душу, его душа самая пылкая! Поставьте его, положим, хоть на вагон, вон на этом лугу, который, по своему расположению, как нельзя более соответствует публичным митингам, и он готов беседовать с народом о каких угодно предметах! Теперь, молодые барышни, – сказала миссис Пардигль, отодвигаясь к своему стулу и опрокидывая, как будто невидимой силой, круглый маленький столик, который, вместе с моей рабочей корзинкой, откатился в сторону на значительное расстояние, – теперь, смею сказать, вы вполне узнали меня?

Вопрос этот был до такой степени щекотлив, что Ада взглянула на меня в крайнем смущении. Что касается до преступного свойства моих собственных ощущений, оно по необходимости должно было выразиться ярким румянцем моих щек.

– То есть, – сказала миссис Пардигль, – вы узнали, вы изобличили заметный пункт моего характера. Я сама знаю, этот пункт до такой степени заметен, что сам собою бросается в глаза. Я сама знаю, что, для полного обнаружения, выставляю себя всю наружу. Нисколько не стесняясь, могу сказать вам, что я женщина деловая. Я люблю тяжелый труд: тяжелый труд доставляет мне неизъяснимое удовольствие. Всякое возбуждение служит мне в пользу. Я так привыкла, так приучила себя к тяжелому труду, что слово «усталость» мне совсем неизвестно.

Мы пробормотали, что это очень удивительно и очень приятно, или вообще сказали что-то в этом роде. Было ли это и в самом деле удивительно и приятно, мы, кажется, сами не знали: мы сказали эти слова из одной учтивости.

– Я не понимаю, что значит испытывать усталость; при всем вашем желании, вам ни за что не утомить меня, – сказала миссис Пардигль. – Несметное множество усилий (впрочем, для меня это вовсе не усилия), множество хлопот (впрочем, я вовсе не считаю их за хлопоты), которые я переносу, иногда изумляют меня. Я видела мое юное семейство, видела мистера Пардигля, как они совершенно утомлялись, свидетельствуя мои подвиги, а я, между тем, была свежа как жаворонок!

Если б старшему юноше, с его мрачным взглядом, представилась возможность глядеть еще мрачнее и еще злобнее, то это была самая лучшая пора. Я заметила, что он сжимал правый кулак и опустил тайком удар на донышко фуражки, торчавшей из-под левой мышки.

– Во время моих визитаций эта способность дает мне большое преимущество, – продолжала миссис Пардигль. – Если я увижу, что кто-нибудь не имеет расположения выслушать до конца то, что я намерена сказать, я наотрез скажу тому: «Вы знаете, мой добрый друг, я не

способна к усталости, я никогда не устаю и потому намерена продолжать начатое до самого конца». И, поверите ли, это удивительно как идет к делу! Мисс Sommerсон, надеюсь, вы не откажетесь немедленно оказать мне помощь в моих визитациях, надеюсь и мисс Клэр присоединится к нам в непродолжительном времени?

Сначала я хотела отделаться обыкновенным извинением, что в настоящее время имею занятие, которое невозможно оставить. Но так как этот предлог оказался недействительным, поэтому уже с большей точностью сказала ей, что я не совсем еще уверена в своих способностях на дела подобного рода; что я еще так неопытна в применении своего ума к умам, быть может, совершенно противоположным, и вследствие этого не могу подействовать на них надлежащим образом; что я еще не приобрела того тонкого знания человеческого сердца, которое, при подобных подвигах, должно оказываться существенным; что мне самой нужно учиться еще весьма многому, чтобы иметь возможность с пользою учить других, и что я не смею еще положиться на одни только добрые наклонности моего сердца, чтоб сделать доброе дело. По этим причинам, я считаю за лучшее быть полезной по мере возможности и по возможности оказывать всякого рода услуги тем, которые непосредственно окружают меня, и стараться постепенно и натурально расширять круг моих обязанностей в отношении к ближнему. Само собою разумеется, что все это было высказано с моей стороны с заметным смущением и робостью; ибо миссис Пардигль была гораздо старше меня, имела не в пример больше моего опытности и была воинственна в своих манерах.

– Вы ошибаетесь, мисс Sommerсон, – сказала она. – Впрочем и то может быть, что вы не вполне способны к тяжкому труду и к сильным ощущениям, проистекающим из этого труда; а это делает огромную разницу. Не угодно ли вам посмотреть, как я совершаю свой труд? Вот и теперь я отправляюсь, с моим юным семейством, навестить одного кирпичника (весьма дурного человека); это близенько отсюда, и я с величайшим удовольствием взяла бы вас с собой... И вас, мисс Клэр, тоже взяла бы, если б вы согласились оказать мне честь вашим согласием.

Ада и я обменялись взорами. Мы и без того намеревались прогуляться, поэтому приняли предложение. Надев шляпки и возвратившись в гостиную со всевозможной поспешностью, мы увидели, что юное семейство столпилось в углу в томительном ожидании, а миссис Пардигль плавно расхаживала по комнате, роняя на пол все более легкие предметы, имевшие счастье прикоснуться к ее платью. Миссис Пардигль завладела Адой, а я пошла за ними, взяв на свое попечение юное семейство.

Ада рассказала мне впоследствии, что миссис Пардигль сообщала ей во время всей дороги к кирпичнику, громкозвучным своим голосом (который со всеми оттенками долетал до меня), об удивительной борьбе, которую привелось иметь ей, в течение двух-трех лет, с другой леди, по поводу назначения какой-то пенсии их избранным кандидатам. Во время этой борьбы столько было переписки, столько обещаний, столько уверток и крючков, неизбежных с выборами всякого рода, что и представить себе невозможно; по-видимому, эта борьба сообщила величайшее одушевление всем соприкосновенным к ней, кроме избираемых пенсионеров, оставшихся, несмотря на все усилия борющихся сторон, без пенсии.

Я всегда любила видеть доверчивое ко мне расположение маленьких детей, и в этом отношении могу назвать себя счастливою; но при теперешнем случае детское общество причиняло мне величайшее стеснение. Лишь только мы вышли из дверей, как Эгберт, с приемами разбойника, начал требовать от меня несколько шиллингов, под тем благовидным предлогом, что все его карманные деньги бессовестным образом «вытягивают из его души». Когда я хотела поставить ему на вид всю непристойность подобного выражения, особенно, когда это выражение относилось до его родителей, он щипнул меня и сказал: «Ну, что, каково? Ага! вам не нравится это? К чему же мама обманывает всех и выдает мне деньги с тем, чтобы снова отнять их?» Эти раздражительные вопросы до такой степени воспламеняли его и его братьев Освальда

и Франсиса, что они соединенными силами начали щипать меня, и щипать со всею ловкостью опытейших школьников, причиняя мне, в особенности моим рукам, такую страшную боль, что я с трудом удерживалась от слез. Между тем, как старшие братья делали это нападение, Феликс, всей своей тяжестью, наступал мне на ноги. А маленький член Общества наслаждения радостью, который, вследствие того, что все его маленькие доходы имели уже заранее свое назначение, по необходимости должен был дать обязательство воздерживаться не только от табаку, но и от всякого рода лакомства, – этот милый ребенок до такой степени предавался горести и гневу, когда мы проходили мимо кондитерской, что я боялась, что лицо его останется багровым на всю его жизнь. Во всю свою жизнь, во время прогулок с молодыми людьми, я столько не вытерпела телесно и душевно, как от этих ненатурально скромных детей, так натурально выражавших мне всю свою вежливость.

Я порадовалась от души, когда мы пришли к дому кирпичника; впрочем, это не был дом, а одна из группы жалких хижин на пустынном определенном выделке кирпича клочке земли; это была хижина с свинарнями подле разбитых окон и небольшими палисадниками, в которых ничего не прозябало кроме луж гнилой стоячей воды. В некоторых местах стояли деревянные кадушки для стока с крыш дождевой воды; такие же кадушки, наполненные грязью по самые края, стояли, как квашенки с грязью вместо теста, при окраине небольшого пруда. У дверей и окон стояло несколько мужчин, говоривших о чем-то и очень мало обращавших на нас внимание, а если и обращавших, то, собственно, затем, чтоб посмеяться друг с другом.

Миссис Пардигль, шествуя впереди с выражением моральной решимости и бегло рассуждая о неопрятных жилищах окружавшего народа (хотя я очень сомневалась, чтобы кто-нибудь из нас мог вести опрятную жизнь в подобных жилищах), привела нас в самую отдаленную хижину, в нижнем этаже которой мы с величайшим трудом поместились. В этой удушливой, наполненной зловредными испарениями хижине находилась какая-то женщина с подбитым глазом, нянчившая перед очагом жалкого, едва дышавшего, грудного ребенка, – мужчина, с головы до ног запачканный глиной и грязью и с весьма беспечным видом лежавший на полу и куривший из глиняной трубки, – видный и здоровый молодой человек, надевавший ошейник на собаку, и очень бойкая девушка, стиравшая что-то в весьма грязной воде. При нашем входе они все взглянули на нас, а женщина немедленно отвернулась к камину, как будто затем, чтоб скрыть подбитый глаз. Никто не сказал нам приветливого слова.

– Ну, что, друзья мои, – сказала миссис Пардигль (но ее голос не звучал дружелюбием: это скорее был голос повелительный и систематический), – как вы поживаете? А я опять к вам. Ведь я сказала, что вам не утомить меня. Я люблю тяжелый труд и всегда верна своему слову.

– А что, сударыня, – проворчал мужчина на полу, голова которого покоилась на руке в то время, как он, выпучив глаза, осматривал нас, – из вашей братии никто больше не придет сюда?

– Нет, мой друг, – отвечала миссис Пардигль, садясь на грубый деревянный стул и в то же время роняя другой. – Мы все тут.

– То-то; а я думал, что вас тут мало собралось, – сказал мужчина, не выпуская трубки из зубов и продолжая осматривать нас с головы до ног.

Молодой человек и девушка захохотали. Два друга молодого человека, привлеченные нашим приходом и стоявшие у входа в хижину, с руками, засунутыми в карманы, дружно и шумно подхватили хохот.

– Не беспокойтесь, друзья мои, – сказала миссис Пардигль, обращаясь к двум юношам. – Этим вы меня не удивите; я не устану делать свое дело. Я люблю тяжелый труд, тяжелую работу, и чем работа эта тяжелее, тем для меня приятнее.

– В таком случае, нужно бы дать ей полегче работу! – сказал мужчина. – В самом деле, нужно же когда-нибудь положить конец всему этому. Надобно положить конец этим вольностям в моем доме. Я не хочу, чтоб меня дразнили здесь как злую собаку. Я знаю, зачем вы шлетесь сюда, и – черт возьми! – постараюсь избавить вас от этого труда. Вы ходите сюда

подслушивать, что говорят здесь, да подсматривать, что делают. Ну, смотрите! – Вы видите, что дочь моя стирает? Ну да, она стирает белье, а не делает что-нибудь другое. Взгляните, в какой воде она стирает. Понюхайте ее! Вот такую-то воду мы пьем. Ну, как вам нравится она? и что вы скажете насчет джина, если бы пить его вместо этой водицы! Э! э! то-то и есть! Поди-ка вы скажете, что у нас здесь больно грязно? Ну да, грязно – здесь от природы грязно и нездорово; у нас было пятеро грязных и больных детей, – и все они умерли маленькими ребятишками – тем лучше для них, да и для нас-то несколько не хуже. Поди-ка спросите, читал ли я книжонку, оставленную вами? Нет, я не читал вашей книжонки. У нас здесь никто не умеет читать, – а если и умел бы кто, так я не стал бы ее слушать: она мне больно не по вкусу. Эта книжонка годится ребятишкам на игрушки, а я ведь не ребенок. Еще бы вздумали оставить мне куклу да сказали бы мне: нянчись с ней! Как бы не так! Поди-ка вы спросите, хорошо ли я веду себя? Да, порядочно: три дня сряду я пил, – пил бы и четвертый день, да денег нет. Поди-ка спросите, намерен ли я ходить в церковь? Нет, не намерен ходить в церковь. Там и без меня дело обойдется, да к тому же и староста церковный нам вовсе не с руки. Поди-ка еще спросите, почему у жены моей глаза подбиты? а потому, что мне вздумалось подбить ей; а если скажет она, что я не подбивал ей глаз, так она лжет!

Чтоб высказать все это, он вынул трубку из зубов, и, высказав, повернулся на другой бок и снова закурил. Миссис Пардигль, наблюдавшая его сквозь очки с натянутым спокойствием, с окончанием его слов, вынула из кармана Библию, как будто она была самой строгой блюстительницей морального порядка.

Ада и я были очень встревожены. Обе мы чувствовали какую-то тягость и желали как можно скорее выйти из этого места. Мы обе думали, что миссис Пардигль поступила бы несравненно лучше, если б не прибегнула к такому механическому средству завладеть этим народом. Ее дети хмурили и пучили глаза; семейство кирпичника не обращало на нас ни малейшего внимания, исключая только той поры, когда молодой человек заставлял лаять собаку, – а это он делал каждый раз, как только энергия миссис Пардигль достигала высшей степени. С болезненным чувством видели мы, что нас отделяла от этих людей железная преграда, которая ни под каким видом не могла быть устранена нашей новой подругой. Кем именно и каким образом можно было устранить эту преграду, мы решительно не знали, хотя и знали, что ее можно устранить. Даже все то, что читала миссис Пардигль или говорила, казалось нам дурно выбранным для таких слушателей, несмотря даже на то, если б оно и передано было им с приличною скромностью и надлежащим тактом. Что касается до книжонки, на которую ссылался мужчина, лежавший на полу, мы получили о ней кой-какие сведения уже впоследствии; сам мистер Джорндис выразил свое сомнение в том, что стал ли бы читать ее и Робинзон Крузо, хотя на его необитаемом острове совершенно не было книг.

При этих обстоятельствах мы почувствовали величайшее облегчение, когда миссис Пардигль кончила свое заседание.

– Ну, что, кончили ли вы свою историю? – весьма угрюмо спросил кирпичник, еще раз повернув свою голову.

– На этот день я кончила, мой друг! Но я никогда не устану. Исполняя твое приказание, я опять побываю у тебя, – возразила миссис Пардигль, в веселом расположении духа, подтверждая несомненность ее слов.

– Прежде всего вы уберетесь отсюда, – сказал кирпичник, с грубой бранью, сложив на груди руки и зажмурив глаза, – а потом делайте себе что хотите!

Вследствие этого миссис Пардигль встала и при этом случае произвела в комнате маленькое разрушение, от которого, между прочим, едва уцелела глиняная трубка. Взяв в каждую руку по одному из своей юной фамилии, приказав другим держаться от нее в ближайшем расстоянии, и на прощанье выразив надежду, что сердца кирпичника и всей его семьи к будущему свиданию заметно смягчатся, она отправилась в соседнюю хижину. Полагаю, никто не припи-

шет этого моей нескромности, если скажу, что миссис Пардигль, как в этом, так и во всяком другом случае, желая оказать благотворительность, как говорится, оптом и в больших размерах, принимала вид, вовсе не располагавший к ней сердца ближних.

Миссис Пардигль воображала, что и мы тоже пошли по ее следам; но лишь только комната получила простор, мы приблизились к женщине, сидевшей подле очага, и спросили о здоровье младенца.

Безмолвный взгляд, брошенный на младенца, был, с ее стороны, единственным ответом. Мы еще до этого заметили, что когда она глядела на него, то прикрывала рукой посиневший глаз, как будто ей хотелось устранить от несчастного малютки все, что только напоминало собою шум, буйство и побои.

Ада, нежное сердце которой было тронуту положением ребенка, хотела прикоснуться к его маленькому личику. В то время, как она наклонялась исполнить свое желание, я увидела в чем дело и в тот же момент остановила движение Ады. Ребенок скончался.

– О, Эсфирь! взгляни сюда! – вскричала Ада, опускаясь на колени подле маленького покойника. – О, Эсфирь! посмотри, какая крошка. Безмолвно страдающее, милое, невинное создание! О, как мне жаль его! Как жаль его несчастную мать! Я никогда еще не видела сцены печальнее этой! О, малютка, малютка!

Такое сострадание, такая чувствительность, с которыми Ада на коленях оплакивала младенца и держала руку бедной матери, смягчило бы, кажется, какое угодно сердце, бывшее в груди матери. Женщина посмотрела сначала на Аду с удивлением и потом залилась слезами.

В эту минуту я сняла с ее колен легкое бремя, сделала все, что только можно было сделать для лучшего и спокойного положения малютки, положила его на прилавок и накрыла моим белым батистовым платком. Мы старались утешить несчастную мать и передать ей слова нашего Спасителя о детях. Она ничего не отвечала, но продолжала сидеть, и плакала, горько, горько!

Оглянувшись назад, я увидела, что молодой человек вывел собаку и из дверей смотрел на нас глазами сухими, правда, но спокойными. Девушка приняла тоже спокойное выражение в лице и сидела в углу с потупленными взорами. Кирпичник встал с полу. С полупрезрительным видом он все еще сосал свою трубку, но был безмолвен.

В то время, как беглым взглядом я осматривала их, в комнату вошла какая-то безобразная, весьма бедно одетая женщина. Она прямо подошла к матери и сказала:

– Дженни! Дженни!

При этом призыве несчастная мать встала и бросилась на шею безобразной гостьи.

На лице и руках этой женщины также обнаруживались следы побоев. В ней не было ничего привлекательного, кроме одной симпатичности, кроме неподдельного сочувствия к горести ближнего, и когда она выражала свое соболезнование, когда слезы потоком лились из ее глаз, безобразие ее совершенно исчезало. Я говорю, она выражала соболезнование; но ее единственными словами для этого выражения были слова:

– Дженни! Дженни!

Для меня трогательно было видеть этих двух женщин, грубых, оборванных, избитых, – видеть, каким утешением, какой отрадой они служили друг другу, и убеждаться, до какой степени смягчались чувства их тяжкими испытаниями их жизни. Мне кажется, что лучшая сторона этих несчастных созданий совершенно скрыта от нас. Как высоко несчастные понимают и ценят чувства подобных себе, это известно одним только им да Богу!

Мы рассудили за лучшее удалиться в это время и оставить их предаваться горести и утешать друг друга без посторонних свидетелей. Мы начали отступать потихоньку и незаметно от всех других, кроме кирпичника. Он стоял у самого выхода, прислонясь к стене, и, заметив, что в тесноте нам трудно выбраться из комнаты, пошел впереди нас. Казалось, он хотел скрыть

от нас, что делает это из угождения к нам, однако же мы заметили его расположение и при выходе поблагодарили его. На нашу благодарность он не ответил нам даже одним словом.

Возвращаясь домой, Ада так горевала, и Ричард, который был уже дома, был так опечален ее слезами (хотя он и признавался мне, во время отсутствия Ады из комнаты, что в слезах она еще прекраснее), что мы условились еще раз сходить в хижину кирпичника с слабыми утешениями и повторить это посещение еще несколько раз. Мистеру Джорндису мы рассказали об этом происшествии в весьма немногих словах и имели несчастье быть свидетелями, какое пагубное влияние производила на него перемена ветра.

Вечером Ричард проводил нас к сцене утреннего посещения. Идучи туда, нам пришлось проходить мимо питейного дома, около дверей которого толпились рабочие. Между ними, в жарком споре, находился отец умершего младенца. Пройдя еще немного, нам встретился молодой человек, в неразлучном обществе с собакой. Его сестра смеялась и тараторила с другими молодыми женщинами на углу длинного ряда однообразных хижин. Заметив нас, она, как видно было, сконфузилась и отвернулась в сторону, когда мы проходили мимо.

Оставив нашего провожатого в виду жилища кирпичника, мы отправились туда одни. Подходя к двери, мы увидели подле нее женщину, которая явилась утром с утешением, и которая с беспокойством смотрела на дорогу.

– Ах, это вы, барышни? – сказала она шепотом. – А я все смотрю, не идет ли мой хозяин. Ведь у меня что на сердце, то и на языке. Если он узнает, что я ушла из дому, то приколотит меня до смерти.

– Твой хозяин? ты верно хочешь сказать – твой муж? – спросила я.

– Ну, да, мисс, то есть мой хозяин. Дженни спит теперь; бедняжка, она совсем истомилась. Сряду семь дней и ночей с рук не спускала ребенка, разве только когда мне удавалось взять от нее, и то минуточки на две.

Она пропустила нас в комнату; мы тихо вошли и положили принесенное нами подле жалкой постели, на которой спала жалкая мать. Во время нашего отсутствия ничего не было предпринято, чтобы очистить комнату: оставаться грязною было для нее, по-видимому, весьма естественным. Впрочем, маленький покойник, сообщавший всему окружавшему его так много торжественности, был уже обмыт, переложен на другое место и опрятно одет в обрывки белого полотна. На платке моем, все еще покрывавшем бедного малютку, находился букет ароматических трав, сорванный и так легко и с такою нежностью положенный теми же самыми избитыми руками.

– Да наградит тебя небо! – сказали мы. – По всему видно, ты добрая женщина.

– Кто? я, барышни? – возразила она, с крайним изумлением. – Тс! Дженни, Дженни!

Усталая, изнуренная мать простонала что-то сквозь сон и сделала легкое движение. Звуки знакомого голоса, по-видимому, успокоили ее. Она снова заснула крепким сном.

Как мало думала я, приподнимая платок, чтобы взглянуть на холодный, крошечный труп и сквозь распутившиеся волосы Ады; когда она с чувством беспредельного сожаления склонила голову, увидеть светлый ореол, окружавший младенца, – о, как мало думала я, на чьей груди суждено было лежать этому платку, после того, как он служил покровом охладевшей и бездыханной груди малютки! Я думала об одном только, что, быть может, ангел-хранитель младенца осенит крылом своим добрую женщину, которая, с чувством материнской горести, снова прикрыла младенца тем же самым платком; быть может, уже он осенял ее в те минуты, когда мы, простившись с ней, оставили ее у дверей то посматривать на дорогу, то трепетать за отсутствие из дому, то произносить соболезнующим голосом: «Дженни, Дженни!»

IX. Признаки и предзнаменования

Не знаю, почему я пишу, как мне кажется, исключительно о себе. Я постоянно только и думаю, чтобы писать о других лицах, постоянно стараюсь думать о себе как можно меньше, и, конечно, когда замечаю, что снова ввожу свою особу в число действующих лиц, я не на шутку досадую на себя и говорю себе: «Ах! Боже мой, какое ты скучное, безотвязное создание! это не годится, Эсфирь, это очень дурно», а между тем все это оказывается бесполезным. Надеюсь, впрочем, всякий, кому приведетесь прочесть написанное мною, поймет, что если предыдущие страницы заключают в себе слишком много обо мне, то это потому, что мне не было никакой возможности поступить иначе, и, следовательно, исключить себя из их содержания.

Любимица моей души и я читали вместе, занимались вместе рукодельем, вместе учились чему-нибудь и вообще находили такое множество разнообразных занятий, что зимние дни пролетели мимо нас как перелетные птички. Обыкновенно после обеда и постоянно вечером к нам присоединялся Ричард. Хотя он был одним из самых неусидчивых созданий в мире, но наше общество ему нравилось.

Он очень, очень, очень любил Аду. По крайней мере, я такого мнения, и считаю за лучшее высказать свое мнение без дальнейшего отлагательства. — До этого я еще не видала, как влюбляются молодые люди, но в Ричарде и Аде я вполне видела развитие этого нежного чувства. Разумеется, я не могла сказать им своих замечаний, не могла показать им виду, что мне известны взаимные их чувства; напротив, я до такой степени была скромна и до такой степени любила показывать вид, что ничего не знаю, ничего не замечаю, что иногда, оставаясь в стороне от них, за каким-нибудь рукодельем, мысленно спрашивала себя, уж не становлюсь ли я настоящей обманщицей.

Но пользы из этого было очень немного. Все, что оставалось мне делать, это — вести себя как можно скромнее, и я была скромна как мышка. В свою очередь, и они были скромны как мышки, — если не в поступках своих, то в словах; впрочем, невинность, с которой они более и более полагались на меня, вместе с тем, как они сильнее и сильнее привязывались друг к другу, была так пленительна, что скрывать от них то, что интересовало меня, становилось в высшей степени затруднительным.

— Наша милая старушка такая славная старушка, — говаривал Ричард, встречаясь со мной при начале дня в саду и сопровождая слова свои таким чистым, пленительным смехом, между тем как лицо его покрывалось ярким румянцем, — наша старушка такая милая, такая славная старушка, что без нее у меня ничего не клеится. Прежде чем начну я мой взбалмошный день, прежде чем начну долбить свои книги, а потом скакать сломя голову по окрестностям, как разбойник на большой дороге, я поставляю себе в особенное удовольствие выйти в сад и погулять с спокойным нашим другом; вот и теперь являюсь к вам именно с этой целью.

— Ты знаешь, милаша хозяйюшка, — говаривала Ада вечером, — и обыкновенно в это время головка ее склонялась ко мне на плечо и задумчивые глазки ее загорались ярким огнем, — ты знаешь, я не люблю говорить в этой комнате. Мне приятно посидеть здесь немного, помечтать, полюбоваться твоим милым личиком, послушать, как ветер гуляет на просторе, подумать о бедных моряках.

А! догадываюсь! Быть может, Ричард намерен сделаться моряком. Мы очень часто говорили об этом, часто говорили о том, что Ричард имел в детстве удовлетворительную склонность к морской службе. Мистер Джорндис писал к одному родственнику, какому-то знаменитому баронету Лейстеру Дэдлоку, и просил его принять в Ричарде участие. Сэр Лейстер отвечал весьма снисходительно, что «он поставит себе в особенное счастье споспешествовать видам молодого человека и сделать для него все, что будет в пределах его власти — на это, впрочем, милорд не подавал больших надежд — и что миледи свидетельствует свое почтение

молодому джентльмену; она совершенно помнит, что находится с ним в родстве по весьма отдаленному колену, и надеется, что молодой джентльмен исполнит свой долг на всяком благородном поприще, которому посвятит себя».

– Понимаю, все понимаю, – сказал мне Ричард, – ясно как день, что мне самому предстоит прокладывать себе дорогу. Ничего! Мало ли было до меня людей, которым предстояло совершить этот труд, и они совершили. Я хочу только одного, чтобы на первый случай сделали меня командиром хорошенького клиппера: это по крайней мере доставило бы мне возможности увезти отсюда канцлера и продержат его на пол-рационе до тех пор, пока он не кончит нашего процесса. Средство это отличное: если он не сделается дальновиднее, то непременно спадет немного с тела и будет поприлежнее.

С легкомыслием, самонадеянностью и веселостью, ни на минуту не изменявшимися, Ричард соединял в своем характере какую-то беспечность, за которую я сильно опасалась, тем более что он ошибочно принимал ее за благоразумие. Эта беспечность проглядывала во всех его денежных расчетах, и проглядывала замечательным образом, так что, мне кажется, я лучше всего объясню это обстоятельство, если обращусь на минуту к денежной ссуде, сделанной нами мистеру Скимполю.

Мистер Джорндис узнал, или от самого мистера Скимполя, или от Коавинсеса, какую сумму заплатили мы за Скимполя, и вручил мне деньги, с приказанием удержать из них часть, принадлежавшую мне, а другую часть передать Ричарду. Число поступков, обнаруживавших безрассудную расточительность, которую Ричард оправдывал неожиданным получением своих десяти фунтов, и число раз, которое он употребил для того, чтобы высказать мне эту неожиданность, как будто он спас эти деньги от невозвратной потери, образовало бы добрую сумму для задачи из правила простого сложения.

– Почему же нет, моя умница матушка Гоббард? – сказал он мне, когда хотел, нисколько не подумав, пожертвовать пять фунтов кирпичнику. – Ведь эти деньги достались мне по делу Коавинсеса, как говорится, ни за что, ни про что.

– Как же это так? – спросила я.

– Очень просто: я истратил, или, лучше сказать, бросил десять фунтов, которые хотелось мне бросить, без всякой надежды увидеться с ними еще раз. Согласны вы с этим?

– Согласна.

– Прекрасно! И вдруг я получаю еще десять фунтов...

– Те же самые десять фунтов, – намекнула я.

– Какое дело до этого! – возразил Ричард, – я получил десять фунтов, которых не думал получить, и, следовательно, могу истратить их куда мне угодно.

Когда убедили его, что пожертвование его не принесет желаемой пользы, он точно также, с тою же беспечностью относил эти пять фунтов к себе на приход и расходовал их по своему усмотрению.

– Позвольте! Что же я стану теперь делать с ними? – говорил он. – По делу кирпичника в моем кармане все-таки остается пять фунтов; поэтому, если я прокачусь на почтовых в Лондон и обратно, эта прогулка будет стоить всего четыре фунта, и затем у меня останется еще один фунт. Что ни говорите, а сберечь один фунт – дело великое; ведь вы знаете пословицу: сбережешь пенни, выиграешь шиллинг.

Я уверена, что Ричард был так чистосердечен и щедр, как только можно быть. Он имел большой запас усердия и отваги и, несмотря на всю свою ветреность и легкомыслие, одарен был таким нежным сердцем, что в течение нескольких недель я полюбила его как брата. Его нежность так шла к нему и весьма заметно бы обнаруживалась сама собою даже без непосредственного влияния Ады; впрочем, при этом влиянии, он становился самым очаровательным собеседником, всегда готовый быть внимательным, всегда таким счастливым, самоуверенным и веселым. Мне кажется, что я, оставаясь с ними в комнате, гуляя с ними, разговаривая с

ними, наблюдая за ними, замечая, как они с каждым днем сильнее и сильнее влюблялись друг в друга, не говоря им слова о своих замечаниях, и открывая, как каждый из них воображал, что их любовь есть величайшая тайна в мире, – тайна, быть может, не подмеченная ни тем, ни другой, – мне кажется, что едва ли я сама менее их была очарована и менее их находила удовольствия в упоительных мечтах о счастье.

— Дела наши шли таким чередом, когда, однажды утром, за завтраком, мистер Джорндис получил письмо и, взглянув на адрес, сказал: «От Бойторна? прекрасно! чудесно!» – распечатал его, читал с очевидным удовольствием и на середине письма объявил нам, в виде парентеза, что Бойторн «едет к нам» погостить. «Кто был этот Бойторн?» – мы все призадумались. Смею сказать, что мы все призадумались также о том – по крайней мере про себя скажу, что я призадумалась – не станет ли Бойторн вмешиваться в наши дела.

– Лет сорок пять тому назад, – сказал мистер Джорндис, положив письмо и постукивая по нем пальцем, – лет сорок пять тому назад и даже больше я поступил в школу вместе с этим молодцом, Лоренсом Бойторном. В ту пору это был самый буйный мальчик в мире, а теперь – это самый буйный мужчина. В ту пору это был самый шумный мальчик в мире, а теперь – это самый шумный мужчина. В ту пору это был самый здоровый, самый крепкий мальчик в мире, а теперь – это здоровенный и крепчайший мужчина. Это – громадный человек.

– Громадный по росту? – спросил Ричард.

– Да, Рик, пожалуй, хоть и по росту, – отвечал мистер Джорндис. – В этом отношении он каким-нибудь десятком лет старше и, может статься, дюймами двумя выше меня; голова у него откинута назад, как у старого солдата; могучая грудь, как добрая площадка; руки, как у самого дюжего кузнеца, а легкие у него – уж я и не знаю, с чем сравнить его легкие. Заговорит ли он, захохочет ли, захрапит ли, ну, право, во всем доме потолки дрожат.

В то время, как мистер Джорндис наслаждался описанием своего друга Бойторна, мы видели в этом благоприятный и самый верный признак, что к перемене ветра не было ни малейшего предзнаменования.

– Но не то совсем хотел я сказать тебе, Рик, и вам, Ада, и тебе, маленькая Паутинка – я знаю, вы все интересуетесь этим дорогим гостем – я хотел сказать о внутренних достоинствах этого человека, о теплом сердце этого человека, о горячей любви и свежести чувств этого человека. Его язык звучен как его голос. Он всегда доходит до крайностей, и очень часто даже в высшей степени крайностей. В своих приговорах, он – олицетворенная свирепость. По его словам, вы непременно примете его за Огра, этого чудовища в «Арабских Сказках»; и мне кажется, что в понятиях некоторых людей он давно уже пользуется этой репутацией. – Впрочем, довольно! раньше времени я не стану говорить о нем. Вы не должны удивляться, если увидите, что он примет меня под свое покровительство: он до сих пор не забыл, что я был тщедушный мальчишка в школе, и что дружба наша началась с того времени, как он однажды натошак вышиб два зуба (а по его словам, полдюжины зубов) из челюсти моего обидчика. – Бойторн, – прибавил мистер Джорндис, обращаясь ко мне, – и его человек будут сюда сегодня к обеду.

Сделав необходимые распоряжения к приему мистера Бойторна, мы начали ожидать его прибытия с некоторым любопытством. Наступил полдень, наступило и время обеда, а мистер Бойторн не являлся. Обед был отложен на некоторое время, и мы сидели у камина, в котором светил потухавший огонек, как вдруг дверь в приемную залу распахнулась и зала огласилась следующими словами, произнесенными запальчиво и громко:

– Представь, Джорндис, какой-то отъявленный разбойник указал нам совсем не ту дорогу: вместо того, чтоб повернуть налево, он велел нам ехать направо. Да это просто самый закоснелый бездельник, какого не найдешь на белом свете! Да и отец-то его, имея этакого сына,

должно быть, отчаянный плут. Ну веришь ли ты, у меня бы не дрогнула рука застрелить этого мошенника!

– Да неужели он сделал это с умыслом? – спросил мистер Джорндис.

– Я не имею ни малейшего сомнения, что эта бестия во всю свою жизнь больше ничего не делал, как только сбивал проезжих с прямого пути. Клянусь жизнью, когда он сказал мне, что нужно повернуть направо, я принял его за бешеную собаку. Подумать только, что я стоял лицом к лицу с этим канальей – и не разможил ему головы!

– Ты хочешь сказать, что не вышиб ему зубов? – сказал мистер Джорндис.

– Ха, ха, ха! – захохотал мистер Лоренс Бойторн, и так громко, что нам казалось, будто дом действительно дрожал. – Ты, я вижу, не забыл еще этой истории!.. Ха, ха, ха!.. А это был другой в своем роде отъявленный бездельник! Клянусь жизнью, лицо этого негодяя, когда он был еще мальчишкой, служило грязнейшим изображением низости, трусости и жестокосердия, – лицо, которое когда-либо выставлялось вместо вороньего пугала в поле негодяев. Приведись мне встретить эту дрянь на улице, – право, я бы свалил его как гнилое дерево.

– В этом я не сомневаюсь, – сказал мистер Джорндис. – Однако, не хочешь ли ты заглянуть наверх, в свою комнату?

– Клянусь честью, Джорндис, – возразил гость, взглянувший в эту минуту, как нам казалось, на часы, – если б ты был женат, я скорее шмыгнул бы в садовую калитку и убежал бы на вершины Гималайских гор, чем решился бы явиться сюда в такое неуместное время.

– Зачем так далеко? – сказал мистер Джорндис.

– Клянусь жизнью и честью, убежал бы! – вскричал посетитель. – Я ни за что на свете не захотел бы поставить в вину себе дерзкое нахальство, заставив хозяйку дома ждать себя до этой поры. Я бы скорее согласился уничтожить себя. – Клянусь, это для меня было бы в тысячу раз легче.

Разговаривая таким образом, они поднялись наверх; и вслед затем мы услышали, как комната мистера Бойторна оглашалась снова и снова громким: «Ха, ха, ха!». Звукам этим вторило спавшее окрестное эхо и с таким же удовольствием смеялось, как смеялся мистер Бойторн, или как смеялись мы, когда смех его долетал до нашего слуха.

Мы уже были всею душою расположены к гостю мистера Джорндиса. В этом чистосердечном хохоте, в этом мужественнозвучном голосе, в этой круглоте и полновесности, с которыми произносимо было каждое слово, и даже в его исступленной ругани, которая, по-видимому, вылетала из него как холостые заряды из пушки и никому не вредила, – во всем этом мы открывали прекрасные качества. Но мы еще не успели вполне приготовить себя к подтверждению наших догадок появлением самой особы мистера Бойторна, как мистер Джорндис представил его нам. Это был не только очень недурной собой, пожилых лет джентльмен, с прекрасной осанкой и крепким сложением, с объемистой головой, покрытой волосами с проседью, и удивительным спокойствием в лице, когда он молчал, с таким бюстом, который, быть может, показался бы несколько дородным, если б привычка поддерживать разговор с особенной горячностью оставляла его в неподвижном положении, и подбородком, который легко бы мог обвиснуть и разделиться надвое, если б не требовалась постоянная его помощь в привычке делать сильные ударения на некоторых словах, – это был, говорю я, не только джентльмен по внешним своим признакам, но и истый джентльмен в своих манерах: до такой степени он был рыцарски внимателен, его лицо озарялось такой приятной и нежной улыбкой и, по-видимому, так ясно говорило, что мистеру Бойторну нечего было скрывать от других, и выдавало его точно таким, каким он был на самом деле (выдавало его, как выражался Ричард, человеком, который вовсе не способен был на малые дела, и который стрелял холостыми зарядами из огромных пушек потому, что не носил при себе орудий меньшего калибра), – до такой степени все это обнаруживалось в нем, что во время обеда, говорил ли он непрерывно улыбаясь с Адой и мной, или разряжал страшный залп ругани, вызванный на это мистером Джорндисом, или,

закинув голову назад, оглушал нас своим потрясающим хохотом, — я любовалась им с одинаковым удовольствием.

— А привез ли ты с собой свою птичку? — спросил мистер Джорндис.

— Клянусь небом, это удивительнейшая птица в целой Европе! — отвечал наш гость. — Преудивительное создание! За эту птичку я бы не взял десяти тысяч гиней. Я уже назначил ей пенсию в случае, если умру раньше ее. По уму и привязанности, это — настоящий феномен. Отец ее был точно такой же умница!

Предметом этих похвал была крошечная канарейка, до такой степени ручная, что человек мистера Бойторна принес ее в комнату на пальце, и она, покружившись по комнате, спустилась на голову своего господина. Мне кажется, что несколько самых неукротимых и вспыльчивых выражений со стороны мистера Бойторна, в то время, как это слабое создание сидело на его голове, послужат превосходным пояснением его характера.

— Клянусь жизнью, Джорндис! — сказал он, весьма нежно поднося к носику канарейки кусочек булки, — будь я на твоём месте, то не далее, как завтра утром схватил бы канцлера за горло и начал бы трясти его до тех пор, пока из карманов его не посыпались бы деньги, пока бы его кости не забренчали в его коже. Позволительными или непозволительными средствами, но я непременно бы покончил дело. Вздумай ты уполномочить меня на этот подвиг, и поверь, что я бы совершил его к полному твоему удовольствию!

Во все это время канарейка преспокойно клевала из его руки кусочек булки.

— Благодарю тебя, Лоренс, — сказал мистер Джорндис, в свою очередь захохотав, — но в настоящее время тяжба находится в таком положении, что едва ли можно рассчитывать на ее дальнейший ход, даже и в таком случае, если весь состав юриспруденции будет законным образом поколеблен в самом основании.

— На всем земном шаре не было еще такого Суда! — сказал мистер Бойторн. — Мне кажется, подвести хорошую мину во время деятельного заседания и с помощью десяти тысяч пудов пороху взорвать на воздух это судилище, со всеми его делами и проделками, со всеми новыми и старыми постановлениями, со всеми служащими, от мала до велика, от кресел до скамеек, — послужило бы для него чудеснейшей реформой!

Невозможно было удержаться от смеха при виде этой, так сказать, энергической серьезности, с которой он предлагал такую усиленную меру реформы. Лишь только начинали мы смеяться, как он, откинув голову назад, потрясал хохотом свою широкую, могучую грудь, и снова окрестности, казалось, вторили его громогласному, оглушительному «Ха, ха, ха!». Его смех несколько не пугал канарейки, которая вполне была уверена в свою безопасность и прыгала по скатерти, повертывая головкой с одной стороны на другую и от времени до времени бросая моментальный светлый взгляд на своего господина, как будто перед ней сидела другая канарейка.

— А как идут у тебя дела с твоим соседом насчет спорной тропинки? — спросил мистер Джорндис. — Ведь и ты не можешь похвастать, что тяжёлые труды незнакомы тебе?

— Чего, братец! подал на меня прошение за нарушение чужих пределов; а я подал на него прошение за то же самое, — возразил мистер Бойторн. — Клянусь небом, это такое надменное создание, какое когда-либо дышало на белом свете. По моему мнению, морально невозможно допустить, что его зовут сэр Лейстер: его имя должно быть не Лейстер, а Люцифер.

— Каков комплимент нашему дальнему родственнику! — сказал мистер Джорндис, обращаясь к Аде и Ричарду.

— Я поставил бы себе в неперенную обязанность попросить извинения мисс Клэр и мистера Карстона, — отвечал наш гость, — если б, судя по прекрасному личику леди и улыбке джентльмена, я не был уверен, что это совершенно не нужно, и что они сами держатся от дальнего своего родственника на благородной дистанции.

— Или он от нас держится, — возразил Ричард.

– Клянусь жизнью, – воскликнул мистер Бойторн, делая новый залп из своей батареи, – вся эта фамилия по своей надменности невыносима для меня! Впрочем, дело не в том: ему не запереть мне дороги, даже если б он состоял из пяти десятков баронетов, слитых воедино, живущих в десяти десятках таких поместий, как Чесни-Волд, и заключающихся друг в друге как китайские резные шарики из слоновой кости. Этот человек, через агента своего, через секретаря, или через кого вам угодно, пишет мне следующее: «Сэр Лейстер Дэдлок, баронет, свидетельствует свое почтение мистеру Лоренсу Бойторну и предлагает ему обратить особенное внимание на то обстоятельство, что тропинка близ старого пасторского дома, поступившего ныне в собственность мистера Бойторна, принадлежит, по всем правам, баронету Лейстеру, как часть парка Чесни-Волд, и что сэр Лейстер считает удобным немедленно загородить эту тропинку». – В ответ на это послание я посылаю такой отзыв: «Мистер Лоренс Бойторн свидетельствует свое почтение баронету Лейстеру Дэдлоку и покорнейше просит обратить свое внимание на обстоятельство следующего рода: что он вполне отвергает все претензии сэра Лейстера Дэдлока касательно закрытия тропинки, и к тому имеет честь присовокупить, что он от души будет рад увидеть того человека, который решится принять на себя подобный подвиг». Несмотря на такое, кажется, убедительное послание, сосед мой посылает какого-то безглазого бездельника поставить загородку. Я навожу на этого отъявленного плута пожарную трубу и задаю ему такую острastку, что у него еле-еле душа в теле. Сосед мой ставит загородку ночью, а поутру я срубаю ее и сожигаю до основания. Он нарочно посылает своих туеядцев шататься по моей тропинке взад и вперед. Я ловлю их в капканы, стреляю им в ноги моченым горохом, заливаю их пожарной трубой, – словом сказать, решаюсь освободить человечество от невыносимого бремени, сообщаемого существованием этих полуночных разбойников. Он подает жалобу на нарушение чужих пределов, я тоже подаю точно такую же жалобу. Он подает жалобы на мои нападения и побои, – я оправдываюсь и продолжаю нападать и колотить... Ха, ха, ха!

Слушая, как он выражал все это с необыкновенной энергией, другой бы принял его за самого свирепого из всего человечества. Глядя на него и в то же время на его канарейку, сидевшую у него на пальце, и перышки которой он слегка поглаживал, другой бы подумал, что это самый нежный, самый кроткий, добродушный человек. Слушая его чистосердечный хохот и усматривая, как на лице его отражалась вся его добрая душа, другой непременно бы подумал, что это самый беззаботный человек, что всякого рода споры и неудовольствия неведомы ему, и что все события его жизни составляли непрерывную цепь светлой радости.

– Нет, уж извините, – говорил он, – Дэдлокам не удастся заслонить мне дорогу, хотя надобно признаться (при этом тон его несколько смягчился), и я охотно признаюсь, что леди Дэдлок образованнейшая женщина в мире, и готов оказывать ей почтение, каким только может располагать обыкновенный джентльмен, и какого не в состоянии оказать ни один баронет с головой в семь столетий не дюймов и не футов, а в семь столетий толщиной... Ха, ха, ха! Человек, поступивший в военную службу на двадцатом году и спустя неделю вызвавший на дуэль самого заносчивого и надменного фата и отставленный за это от службы – уж извините! – не позволит ступить себе на ногу, клянусь всеми Люциферами, живыми и мертвыми, замкнутыми и отпертыми. Ха, ха, ха!

– Однако, я думаю, не всякий и тебе позволит сделать это, – сказал мистер Джорндис.

– Ну, разумеется! что и говорить об этом! – отвечал мистер Бойторн, с видом покровительства ударив мистера Джорндиса по плечу; в этом поступке проглядывало что-то серьезное, хотя и сопровождался он непринужденным смехом. – Разумеется, не всякий позволит. Однако, заговорив о нарушении чужих пределов и извинившись прежде всего перед вами, мисс Клэр и мисс Sommerсон, за развитие такой сухой материи, я должен спросить тебя, Джорндис, нет ли ко мне писем от твоих приятелей Кенджа и Карбоя?

– Кажется, что нет ничего, Эсфирь? – спросил мистер Джорндис.

– Ничего, – сказала я.

– Премного обязан вам, мисс, – сказал мистер Бойторн. – Мне не следовало бы и спрашивать об этом после моего непродолжительного знакомства с предусмотрительностью мисс Sommerson. (Странно, право! все находили во мне прекрасные качества, которых я сама не замечала; все ободряли меня, все как будто решились, как будто сговорились делать это!) – Я спросил потому, что, выехав из Линкольншира, разумеется, не заезжал в столицу, и полагал, что, может статься, некоторые письма присланы сюда. Надеюсь, что завтра утром они отрапортуют мне о ходе дела.

В течение вечера, проведенного приятнейшим образом, я замечала очень часто, что он с особым участием и удовольствием любовался Ричардом и Адой, слушая музыку в недалеком от них расстоянии. Ему не нужно было признаваться, что он страстно любил музыку: эта любовь ясно выражалась на его лице. Мои наблюдения в то время, как я и мистер Джорндис играли в бегемот, невольным образом возбудили во мне желание узнать, не был ли женат мистер Бойторн, и я спросила об этом моего партнера.

– Нет, – отвечал он, – нет, не был.

– А как будто он был женат? – сказала я.

– Почему ты это заключаешь? – с улыбкой спросил мистер Джорндис.

– Потому, – отвечала я, покраснев немного от одной мысли, что так смело решилась высказать свое предположение, – потому, что в его манере есть что-то особенно нежное, что, к тому же, он так учтив, ласков и внимателен к нам, и что...

Только что я высказала это, как мистер Джорндис устремил свои взоры туда, где сидел мистер Бойторн.

Я больше не сказала и слова.

– Ты правду говоришь, милая хозяйюшка, – сказал мистер Джорндис. – Раз как-то он задумал жениться и совсем было женился. Но это было давным-давно и только раз.

– Неужели ж умерла его невеста?

– Нет... Впрочем, пожалуй, для него она умерла. Это событие, или, лучше сказать, та минувшая пора имела влияние на всю его последующую жизнь. Неужели ты думаешь, что голова его и сердце и теперь еще полны романтичности?

– Да; почему же и не думать? Впрочем, теперь мне нетрудно отвечать вам, когда вы разъяснили мне так много.

– После той поры он никогда не был тем, чем бы мог быть, – отвечал мистер Джорндис, – теперь он в годах и совершенно одинокий: при нем нет ни души, кроме слуги и этой канарейки... Тебе бросать кости, душа моя.

Соображаясь с манерами мистера Джорндиса, я понимала, что нельзя было продолжать этого разговора, не подвергаясь опасности произвести перемену ветра. Вследствие этого я удержалась от дальнейших вопросов. Я принимала участие в мистере Бойторне, но не любопытствовала узнать о нем особенных подробностей. Впрочем, я принималась мечтать об этой старинной любовной истории; но громкое храпенье мистера Бойторна прогоняло от меня все мои мечты. Я старалась совершить весьма трудное дело – представить себе старых людей молодыми и облачить их красотою юности. Но прежде, чем успела в этом, я уже спала крепким сном, и мне снились дни, проведенные мною в доме моей крестной маменьки. Не знаю, заслуживает ли внимания обстоятельство, по которому я почти всегда мечтала об этом периоде моей жизни: я еще так мало знакома с делами подобного рода.

Полуночи пришла к мистеру Бойторну письмо от Кенджа и Карбоя, которым уведомляли, что в полдень явится к нему один из конторских писцов. Так как наступивший день был днем, в который я обыкновенно очищала недельные счета, заключала расходные книги и вообще приводила в порядок все дела по хозяйственной части, и потому я осталась дома в то время, как мистер Джорндис, Ада и Ричард, пользуясь прекрасной погодой, поехали прогуляться.

Мистер Бойторн остался подождать писца из конторы Кенджа и Карбоя и потом обещался выйти навстречу гулявшим.

Я была очень занята, рассматривая долговые книги, подводя итоги, выплачивая деньги, принимая квитанции и, вообще, делая необыкновенно много суеты и шума, когда пришли сказать мне о приезде мистера Гуппи, который вслед затем и явился в комнату. Я уже несколько догадывалась, что писец, командированный Кенджем и Карбоем к мистеру Бойторну, должен быть тот самый молодой джентльмен, который встретил меня при первом моем появлении в Лондоне, и, разумеется, мне приятно было увидеть его, потому что и он имел некоторую связь с моим благополучием, которым наслаждалась я в настоящее время.

Я едва узнала его: таким удивительным щеголем показался он мне. На нем была новая глянцевиная пара платья, лилового цвета перчатки, шейный платок, отличавшийся пестротой колеров, лоснящаяся шляпа, огромный оранжерейный цветок и толстый золотой перстень на мизинце. Ко всему этому, от него по всей комнате разливался запах медвежьего жиру и других благовоний. В то время, как я попросила его присесть, пока воротится лакей, он взглянул на меня так пристально, что я совершенно сконфузилась, и когда он сел и начал прибирать более эффектное положение своим ногам, и когда я в свою очередь начала расспрашивать его, доставила ли ему поездка в наш край удовольствие, и выразила надежду на доброе здоровье мистера Кенджа, я ни разу не взглянула на него, но замечала, как он продолжал осматривать меня тем же испытующим и любопытным взором.

Когда лакей возвратился и попросил мистера Гуппи наверх, в комнату мистера Бойторна, я намекнула, что внизу будет его ждать завтрак, от которого, как надеялся мистер Джорндис, он, вероятно, не откажется.

— Буду ли я иметь честь видеть вас за этим завтраком? — спросил он с некоторым замешательством, держась за ручку дверей.

Я отвечала утвердительно, и он вышел, сделав перед уходом вежливый поклон и еще раз бросив на меня прежний испытующий взгляд.

Мистер Гуппи очевидно находился в крайнем замешательстве; но я приписывала это единственно его неловкости и застенчивости и рассудила за лучшее подождать его возвращения, посмотреть, исправно ли будет подан завтрак, всего ли будет довольно, и потом удалиться. Завтрак был подан и долго стоял на столе. Свидание с мистером Бойторном было довольно продолжительно и, как казалось мне, довольно шумно, потому что хотя комната мистера Бойторна и находилась от столовой в значительном расстоянии, но я слышала, от времени до времени, как голос его бушевал наверху подобно отдаленному урагану, порывы которого разряжались залпами страшных угроз и ругани.

Наконец мистер Гуппи воротился и казался вовсе неспособным для приятной беседы.

— Клянусь честью, мисс, — сказал он вполголоса, — это настоящий вандал.

— Пожалуйста, покушайте чего-нибудь, — сказала я.

Мистер Гуппи подсел к столу и начал натачивать разрезной нож о разрезную вилку, продолжая осматривать меня (мне казалось так, хотя сама я вовсе не глядела на него) тем же странным, необыкновенным взглядом. Натачивание ножа длилось так долго, что наконец я вынужденной нашлась приподнять свои взоры, полагая этим рассеять чарующую силу, под влиянием которой находился мистер Гуппи, и от которой он не мог освободиться.

И в самом деле, взгляд мой произвел желаемое действие: мистер Гуппи взглянул на блюдо и начал резать.

— А что же вы, мисс? не прикажете ли чего-нибудь?

— Нет, благодарю, — отвечала я.

— Не прикажете ли, мисс, маленький кусочек чего-нибудь? — сказал он, одним глотком выпивая рюмку вина.

– Решительно нет, – отвечала я, – я осталась здесь удостовериться, что вы ни в чем не нуждаетесь. Не прикажете ли подать еще чего-нибудь?

– О, нет, мисс, я крайне обязан вам. Здесь есть все, что нужно для моего аппетита, для моего спокойствия и счастья... по крайней мере... то есть, не то, чтобы совершенного спокойствия и счастья... мне еще незнакомо это блаженство.

И мистер Гуппи выпил еще две рюмки вина, одну за другою.

Я рассудила за лучшее уйти.

– Ах, мисс, помилуйте, – сказал он, увидев, что я встала, и в свою очередь встал. – Неужели вы не удостоите меня позволением объясниться с вами наедине?

Не зная, что отвечать, я снова села.

– Надеюсь, мисс, разговор этот не будет иметь для меня дурных последствий? – сказал мистер Гуппи, с лихорадочным беспокойством придвигая стул к моему столу.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – сказала я, более и более удивляясь.

– Я хочу сказать, мисс, что вы не воспользуетесь этим объяснением повредить мне в конторе Кенджа и Карбоа или вообще где бы то ни было. Если разговор наш не приведет нас к желаемой цели, надеюсь, я по-прежнему останусь мистером Гуппи, мое положение в конторе или вообще все мои виды на будущее не пострадают от него. Короче сказать, я должен объясниться с вами по секрету.

– Я теряюсь, сэр, в догадках, – сказала я, – не могу представить себе, что бы такое могли вы сказать мне по секрету, – мне, которую вы видели всего только раз; во всяком случае, мне самой было бы очень прискорбно повредить вам.

– Благодарю вас, мисс. Я уверен в этом... для меня этого совершенно достаточно.

Во все это время мистер Гуппи то приглаживал носовым платком переднюю часть головы, то сильно потирал ладонь левой руки ладонью правой.

– С вашего позволения, мисс, я выпью еще рюмку; это доставит мне возможность приступить к объяснению без дальнейшего отлагательства и продолжать его без всякого замешательства, для нас взаимно неприятного.

Он выпил рюмку вина и снова подошел ко мне. Я воспользовалась этим случаем – отодвинуться за стол.

– Не прикажете ли, мисс, и вам налить рюмку? – спросил мистер Гуппи, по-видимому, совершенно ободренный.

– Нет, – отвечала я.

– Хоть половину рюмочки? – сказал мистер Гуппи, – ну хоть четверть рюмочки? Не угодно? В таком случае можно начать. В настоящее время, мисс Соммерсон, я получаю жалованья в конторе Кенджа и Карбоа два фунта в неделю. Когда я имел счастье впервые увидеть вас, это жалованье ограничивалось только одним фунтом и пятнадцатью шиллингами и оставалось на этой цифре довольно продолжительное время. Прибавка к жалованью сделана недавно, и надеюсь, что точно такая же прибавка будет сделана не далее, как по истечении годовичного срока, считая от сегодня. Моя матушка имеет маленькое состояние, в виде небольшой пожизненной пенсии; на этой пенсии она живет независимо, хотя и чересчур неприхотливо, в Старой Стрит-Рoad. Она в высшей степени имеет качества доброй свекрови. Она ни во что не вмешивается; это олицетворенная тишина с самым нежным характером. Правда, и она имеет свои недостатки – да кто их не имеет? – но я еще не знаю, чтобы она когда-нибудь обнаруживала их при собрании гостей: в подобном случае вы смело можете доверить ей распоряжение всеми винами, всеми спиртуозными и другими напитками. Сам я проживаю в Пентонвиле. Это, конечно, простенькое, но веселое и, как находят другие, самое здоровое местечко... Мисс Соммерсон! позвольте мне с самым нежным и самым пламенным чувством выразить вам, что я обожаю вас! Будьте так великодушны и позвольте мне, так сказать, заключить мое объяснение, позвольте предложить вам вместе с сердцем мою руку!

Мистер Гуппи упал на колени. Нас разделял мой стол, и потому движение мистера Гуппи несколько меня не испугало.

– Оставьте сию минуту это смешное положение, – сказала я, – в противном случае, я принуждена буду нарушить свое обещание и позвонить в колокольчик.

– Выслушайте меня, мисс! – сказал мистер Гуппи, скрестив руки на груди.

– Я не хочу и не могу слушать вас, – возразила я, – пока вы не встанете немедленно с ковра и не сядете за стол, где бы и следовало вам сидеть, если только вы имеете хоть сколько-нибудь благоразумия.

Мистер Гуппи плачевно взглянул на меня, медленно встал с коленей и подошел к столу.

– Не смешно ли, мисс, – сказал он, приложив руку к сердцу и печально кивая головой над подносом с завтраком, – не смешно ли, мисс, думать о пище и смотреть на нее в то время, когда душа полна любви!

– Вы просили меня выслушать, – сказала я, – не угодно ли говорить? я слушаю вас.

– Извольте, мисс, – сказал мистер Гуппи. – Сколько люблю и вас и почитаю, столько же и повинуюсь вам. О, если бы ты, прекрасное создание, была предметом священного обета, в котором пред брачным алтарем произносятся эти слова!

– Это невозможно, – сказала я, – об этом не стоит говорить.

– Я знаю, – сказал мистер Гуппи, высунув вперед лицо свое и всматриваясь в меня (как я еще раз ощущала, хотя глаза мои вовсе не смотрели на него) своим внимательным, испытующим взором, – я знаю, что в отношении к моему положению в свете, и принимая в соображение все обстоятельства, я знаю, что мое предложение самое жалкое. Но, мисс Sommerson, душа моя! мой ангел! не звоните! я воспитывался в дельной школе и приобрел уже значительный запас опытности. При всей молодости, я уже на многое нагляделся, многое узнал, многое испытал. Осчастливленный вашей рукой, о! каких бы средств не отыскал я к увеличению вашего благополучия! чего бы только не узнал я, что так близко касается, собственно, вас! Разумеется, теперь я ничего не знаю; но чего бы только не мог узнать я, пользуясь вашим доверием и поощрением на подвиги!

Я сказала, что он рассчитывал на мои интересы, или на то, что, по его мнению, составляло мои интересы, так же неудачно, как и на мое к нему расположение, и что я прошу его немедленно уехать отсюда.

– Жестокая мисс Sommerson! – продолжал мистер Гуппи, – выслушайте от меня еще одно слово. Я полагаю, вы заметили, до какой степени поразили меня ваши прелести в тот незабвенный день, когда я встретил вас в Лондоне. Я думаю, вы должны заметить, что я не мог не отдать должной справедливости тем прелестям, когда захлопывал дверцы наемной кареты. Это была слабая дань тебе, о несравненная, но дань от чистого сердца, от души, сгораемой чувством беспредельной любви. Твой образ впечатлился в этой душе навсегда. Сколько вечеров проведено было мною в прогулке мимо окон Джэлиби, собственно, затем, чтоб посмотреть на стены, которые некогда служили для тебя приютом! Сегодняшняя поездка, в сущности, не нужная, была придумана мною одним и для тебя одной! Если я говорю об интересах, то для того, чтоб выказать всю мою готовность быть полезным и все мое злополучие. Любовь, – одна любовь, управляла и управляет моими словами и поступками.

– Мне было бы очень прискорбно, мистер Гуппи, – сказала я, встав с места и взяв в руку шнурок колокольчика, – мне было бы очень прискорбно оказать вам или кому бы то ни было несправедливость пренебрежением такого благородного чувства, хотя бы оно было высказано еще неприятнее. Если вы намерены были только представить доказательство вашего прекрасного мнения обо мне, хотя это было сделано и не вовремя и неуместно, то, конечно, мне следует поблагодарить вас. Я очень мало имею причины гордиться своими достоинствами, и я не горжусь. Надеюсь, сэр, (кажется я прибавила эти слова, сама не зная, что говорила), надеюсь,

сэр, вы уедете отсюда с полным убеждением, что никогда еще не были до такой степени малодушны, и займетесь делами Кенджа и Карбоя.

– Позвольте, мисс, еще половину минуточки! – вскричал мистер Гуппи, останавливая мое намерение позвонить в колокольчик. – Все, что было сказано, останется между нами? это не повредит мне?

– Я буду молчать об этом до тех пор, пока вы сами не подадите повода к нарушению моей скромности.

– Миссommerсон, еще четверть минуточки! В случае, если вы подумаете – когда бы то ни было, спустя сколько вам угодно времени – это решительно все равно, ибо чувства мои никогда не изменятся – если вы обдумаете все, что я сказал вам, дайте знать мистеру Вильяму Гуппи, в Пентонвиле, № 87; а если я перееду, или умру, или скроюсь куда-нибудь с своими поблекшими надеждами, или вообще случится со мной что-нибудь в этом роде, достаточно будет весточки к миссис Гуппи, в Старую Стрит – Роад, 302.

Я позвонила; на звонок явилась служанка. Мистер Гуппи, положив на стол визитную карточку, с собственноручной надписью, и сделав унылый поклон, удалился. Я смелее взглянула теперь и еще раз увидела, как он; затворяя двери за собой, остановил на мне свой прежний пристальный взгляд.

Я просидела в столовой еще с час или более, заключила книги и расчеты и вообще сделала очень много, – после того привела в порядок все свои бумаги, спрятала их и была так спокойна и весела, как будто вовсе не происходило этого неожиданного случая. Но когда я очутилась в моей комнате, мне стало удивительно, почему я начала смеяться над этим, а еще удивительнее – почему я расплакалась. Короче сказать, на некоторое время я находилась в каком-то нервическом состоянии; я чувствовала, как будто до струны моего сердца, остававшейся так долго безмолвною, дотронулись грубее, чем дотрагивались до нее с тех пор, как единственной моей подругой в жизни была моя ненаглядная куколка, давным-давно зарытая под деревом в саду крестной маменьки.

Х. Адвокатский писец

На восточном углу переулка Чансри, или, вернее сказать, на Подворье Кука, близ улицы Курситор, мистер Снагзби, присяжный комиссионер канцелярских принадлежностей, торгует принадлежностями, нераздельными от его профессии. Осеняемый тенью присутственных мест, образующих, так называемое, «Подворье Кука», почти во всякую пору года самое тенистое и даже мрачное место, мистер Снагзби занимается продажей всякого рода бланкетных бумаг; он продает пергамен, в его различных размерах и видоизменениях; продает всякого рода бумагу, как-то: картонную, оберточную, рисовальную, писчую серую, писчую белую, полубелую и пропускную; продает эстампы; продает перья чиненные и нечиненные, резину, сандарачный порошок, иголки, нитки, карандаши, сургуч и облатки; продает красный шелк и зеленую тесьму, бумажники, календари, памятные книжки, судейские списки, линейки, чернильницы – стеклянные и оловянные, перочинные ножи, ножницы и другие канцелярские орудия, – короче сказать, продает неисчислимое множество предметов, и продаст их с тех пор, как кончился срок его ученического состояния, с тех пор, как сделался сам хозяином и вступил в товарищество с мистером Пеффером. При этом случае на Подворье Кука совершился некоторого рода переворот. Над магазином канцелярских принадлежностей появилась новая и свежими красками надпись: Пеффер и Снагзби, заменив освященную временем и нелегко позволявшую изгладить себя надпись из единственного слова Пеффер. Дым, который в этом случае можно назвать лондонским плющом, до такой степени обвивался вокруг имени Пеффера и ластился к месту его жительства, что преданное чужаедаемое растение, увиваясь около плодородного дерева, довело его до совершенного изнеможения.

Самого Пеффера уже давно не видно в этих пределах. Вот уже четверть столетия, как он покоится на кладбище церкви Сент-Андрю, на улице Голборн где целый день и половину ночи с шумом и треском рыщут мимо его загруженные вагоны и легкие экипажи, как какой-нибудь громадный, баснословный дракон. Если Пефферу и вздумается когда-нибудь прокатиться из своего заточения и прогуляться по знакомому подворью – эта прогулка обыкновенно начинается с той минуты, как громадный дракон усталый уляжется спать, и длится до тех пор, пока бойкий петух (понятие которого о наступлении дня интересно было бы узнать, тем более, что, судя по его личным наблюдениям, он, кажется, ровно ничего не знает об этом), принадлежавший к курятнику на улице Курситор, не пропоет своей утренней песенки, не подаст сигнала к ретире – если Пеффер и вздумает иногда посетить пределы Подворья Кука, покрытые неопределимым светом ночи, и взглянуть на тусклые очерки зданий этого места (а этого факта ни один еще присяжный комиссионер канцелярских принадлежностей не решался опровергнуть), он являлся невидимкой, и от этого никому не было ни хуже, ни лучше.

В бытность свою, а равным образом в период ученичества мистера Снагзби, – ученичества, длившегося семь скучных, тяжелых лет, вместе с Пеффером, и в пределах, определенных для помещения присяжного комиссионерства, проживала племянница, невысокого роста, – лукавая племянница, которой стан как-то особенно был сплюснут в талии, и острый нос которой удивительно напоминал собою о резком, остром, пронзительном осеннем вечере, предвещавшем к ночи сильную стужу. Между обитателями Подворья Кука носилась молва, будто бы мать этой племянницы, в детском возрасте своей дочери, побуждаемая слишком ревностным чувством материнской заботливости о том, что наружные формы ее детища должны быть доведены до совершенства, шнуровала ее каждое утро, упираясь материнской ногой в ножку кровати, для пущей ловкости и более твердой точки опоры, и что в душе этой маменьки, судя по выражению ее лица, заключался значительный запас уксусу и лимонного соку – жидкости, освежавшие по временам обоняние дочери и окислявшие ее характер. Но каким бы множеством языков ни обладала эта молва, она не долетала до слуха молодого Снагзби, а если и доле-

тала, то не производила на него никакого влияния. Вступив в права зрелого возраста, Снагзби сначала ухаживал за предметом своего обожания, потом приобрел ее расположение и наконец сразу вступил в два товарищества: в одно – по части комиссионерской, а в другое – по части супружеской; так что в настоящее время мистер Снагзби и племянница представляют собою одно и то же лицо; племянница по-прежнему продолжает заниматься своей талией, которая, хотя о вкусах спорить нельзя, бесспорно, так тонка, так тонка, как шпилька.

Мистер и миссис Снагзби не только представляют собою единое тело и один дух, но, по мнению соседей, и один глас. Этот глас, или голос, вылетающий, по-видимому, исключительно из уст миссис Снагзби, частенько раздается по всему Подворью Кука. Мистера Снагзби редко слышно, а если и бывает он слышен, то чрез посредство сладкозвучных тонов своей супруги. Это больше ничего, как тихий, плешивый, боязливый человек, с лоснящейся головой и взъерошенным клочком темных волос, торчавших на затылке как щетина. Он имеет склонность к смирению и тучности. Когда он стоит у дверей своего дома, в своем сереньком рабочем сюртуке с нарукавниками из черного каленкора и смотрит на облака, или когда стоит за прилавком своего грязного магазина, с тяжелой линейкой в руке, размеривая, разрезывая и раскладывая куски пергамена, с пособием двух своих приказчиков, – в это время он смело может назваться самым одиноким и незатейливым человеком. В подобные минуты, из-под самых ног его, как будто из могилы какого-нибудь беспокойного покойника, зачастую раздаются плач и рыдание вышеупомянутого голоса, и случается иногда, что тоны этих рыданий достигают самых высоких нот, – и тогда мистер Снагзби делает своим приказчикам следующий намек: «Это верно моя хозяйшечка задает трезвону Густер!»

Это прозвище, употребляемое мистером Снагзби, долгое время служило поводом к изощрению ума молодых людей на Подворье Кука, и по замечанию которых должно бы составлять неотъемлемую принадлежность миссис Снагзби, потому что, в знак особенного предположения бурливому характеру, миссис Снагзби с большею силою и выразительностью могла бы носить имя Густер. Но, как бы то ни было, это прозвище составляло собственность, и притом единственную (кроме пятидесяти шиллингов годового жалованья и очень небольшого, плохо наполненного сундучка с разными пожитками), худощавой, молодой женщины из презрительного дома, получившей, по предположениям некоторых людей, при святом крещении имя Августы. Эта женщина, несмотря, что во время своего детского возраста находилась под особенным покровительством какого-то благотворителя и пользовалась, или всех благоприятных обстоятельствах, всеми средствами и способами к развитию своих телесных качеств и душевных способностей, имела припадки, о которых приход, содержавший помянутый презрительный дом, ничего не ведал.

Густер, имевшая от роду двадцать-три-двадцать-четыре года, но на лицо целымидесятью годами старше, по милости этих неизведанных припадков, получает самую незавидную плату и до такой степени боится поступить обратно под покровительство своего патрона, что работает неусыпно, безостановочно, исключая только тех случаев, когда уткнется головой в ведро, в котел, в кастрюлю или в какой-нибудь тому подобный предмет, который случится поблизости в момент ее припадков. Она служит источником удовольствия для родителей и содержателей приказчиков, которые вполне убеждены, что к пробуждению нежных ощущений в сердцах молодых людей не предвидится с этой стороны ни малейшей опасности; она служит источником удовольствия для миссис Снагзби, которая во всякое время находит в ней недостатки и замечает ошибки в исполнении ее обязанностей; она служит источником удовольствия для мистера Снагзби, который содержание ее в своем доме считает за величайший подвиг благотворительности. Магазин присяжного комиссионера, в глазах Густер, есть не что другое, как храм изобилия и роскоши. По ее мнению, маленькая гостиная вверху, постоянно содержимая, как другой бы выразился, в папилютках и передничке, есть самая элегантная комната из целого мира. Вид, который открывается из окон ее, и именно Подворье Кука с одной стороны (не принимая

в расчет частички улицы Курситор, видимой по косвенному направлению), и с другой – вид заднего двора долгового отделения Коавинсеса, – Густер считает за картину неподражаемой красоты. Портреты масляными красками, и в большом количестве, – портреты мистера Снагзби, любующегося своей миссис Снагзби, и обратно, – в глазах Густер – верх совершенства мастерских произведений Рафаэля и Тициана. Из всего этого можно заключить, что Густер, подвергаясь множеству лишений, имеет некоторые в своем роде вознаграждения.

Все, что не относится до тайн практического делопроизводства по части присяжного комиссионерства, мистер Снагзби препоручает миссис Снагзби. Она распоряжается деньгами, бранится с сборщиками городских повинностей, назначает место и время для воскресных митингов, позволяет мистеру Снагзби задавать себе пирушки и никому не отдает отчета в своих хозяйственных распоряжениях; короче сказать, миссис Снагзби, вдоль всего переулочка Чансри, на той и на другой стороне, и даже частью на улице Голборн, служит образцом сравнения для соседних жен, которые, в случае домашних несогласий, обыкновенно предлагают своим мужьям обратить внимание на различие между их (то есть жен) положением и положением миссис Снагзби и их (то есть мужей) поведением и поведением мистера Снагзби. Правда, молва, беспрестанно и невидимо порхающая по Подворью Кука, как летучая мышь влетая в окна каждого дома и вылетая, жужжит, будто бы миссис Снагзби ревнива и любознательна, и что мистеру Снагзби до такой степени надоедает дом и все домашнее, что если б он имел хоть сколько-нибудь твердости духа, то не вынес бы этого положения. Замечено даже, что жены, представлявшие мистера Снагзби блестящим примером для своих заносчивых мужей, на самом-то деле смотрели на него с некоторого рода презрением, и что ни одна из них не смотрела на него с такою надменностью, как в своем роде замечательная леди, которой мужа сильно подозревают в том, что он не раз употреблял на ее спине свой дождевой зонтик, в виде исправительной меры. Впрочем, эти неосновательные слухи, быть может, проистекали из того, что мистер Снагзби был в некотором роде человек с созерцательными и поэтическими наклонностями: в летнюю пору он любил прогуляться в Стапл-Инн и наблюдать, какое близкое имели сходство тамошние воробьи и листья с сельскими воробьями и листьями; любил в воскресные дни бродить по Архивному Двору и замечать (если только был в хорошем расположении духа), что и на этом месте старина оставила следы свои, и что здесь можно бы отыскать под самой церковью несколько каменных гробниц, в чем он совершенно ручался, и для удостоверения стоило бы только порыться в земле. Он лелеет свое воображение воспоминанием о множестве усопших канцлеров, вице-канцлеров и прокуроров; рассказывая двум своим приказчикам о том, что в старину, как говорили деды, на самой середине улицы Голборн протекал ручеек, «прозрачный как кристалл», когда Торнстэйль была на самом деле рогаткой для тропинок, идущих по полям, – рассказывая это, мистер Снагзби испытывал такое наслаждение от созерцания картин сельской природы, что желание прогуляться за город совершенно исчезало в нем.

День склоняется к вечеру. Во многих местах появляется зажженный газ; но действие его очень слабо, потому что не совсем еще стемнело. Мистер Снагзби стоит у дверей своего магазина, поглядывает на темные облака и видит запоздалую ворону, летящую к западу под свинцовым клочком неба, прикрывающего Подворье Кука. Ворона летит прямехонько через переулок Чансри и Линкольн-Иннский Сад в Линкольн-Иннские Поля.

Здесь, в огромном доме, принадлежащем некогда какому-то вельможе, проживает мистер Толкинхорн. В настоящее время дом этот разделяется на множество отдельных комнат, и в этих тесных обломках от величавых барских хором живут присяжные адвокаты и стряпчие, как червяки в гнилых орехах. Впрочем, от прежнего величия хором уцелели и по сие время широкие лестницы, обширные коридоры и прихожие; уцелели также расписные плафоны, где Аллегория, в римском шлеме и в одеянии небожителей, барахтается между балюстрадами, колоннами, цветами, облаками и пухленькими купидонами, глядя на которых, делается головная боль, как это, кажется, бывает со всеми аллегориями более или менее. Вот здесь-то, между

множеством сундуков, с надписанными на них и переходчивыми именами, проживает мистер Толкинхорн, – само собою разумеется, проживает в то время, когда не находится в загородных домах, где британские вельможи проводят дни в неисходной скуке. Вот здесь-то и находится сегодня мистер Толкинхорн; безмолвно и спокойно сидит он за столом, как какая-нибудь устрица старинной школы, которую никто не в состоянии открыть.

Каким кажется он, таким кажется и его кабинет при сумраке сегодняшнего вечера: ржавым, устарелым, закрытым для взора любопытных. Массивные, тяжеловесные, с высокими спинками, красного дерева и обитые волосяной материей стулья, старинные ветхие столы на тоненьких точеных ножках, покрытые шерстяными салфетками и слоями пыли; гравюры, изображающие портреты лордов последнего или предпоследнего поколения, окружают его. Мягкий и грязный турецкий ковер окутывает пол на том месте, где сидит мистер Толкинхорн; две свечи в старинных серебряных подсвечниках разливают весьма слабый свет сравнительно с огромной комнатой. Заглавия книг от времени истерлись и как будто спрятались в сафьянные корешки. Все, что можно было замереть, находилось под замком; но ключей от этих замков никогда не видать. Кое-где лежит на свободе несколько бумаг. Перед мистером Толкинхорном лежит какая-то рукопись; но он не смотрит на нее. Круглой крышечкой от чернильницы и двумя кусочками сургуча он молча и медленно гадает ими и доверяет случаю рассеять свою нерешительность. Он бросает на стол этих оракулов, и в середину выпадает крышечка; бросает еще раз, и выпадает кусочек красного сургуча, еще раз – и в середине является черный сургуч. Нет, не выходит! Мистер Толкинхорн снова и снова собирает гадательные кости и бросает.

Здесь, под расписным плафоном, откуда укороченная, по правилам перспективы, Аллегория с изумлением смотрит на вторжение мистера Толкинхорна и как будто хочет слететь на него, между тем как мистер Толкинхорн и не думает о ней, – здесь, говорю я, мистер Толкинхорн имеет свой дом и свою контору. Он не держит у себя канцелярских служителей; один только пожилых лет мужчина, обыкновенно с истертыми локтями, составляет всю его прислугу: он сидит в это время в приемной на высоком стуле и не может сказать, что обязанность его обременительна. Мистер Толкинхорн ведет свои дела не как другие. Он не нуждается в письмах. Он представляет собою громадный резервуар фамильных тайн и доверий и потому живет в счастливом одиночестве. Он не нуждается в своих клиентах, но они нуждаются в нем; он весь и все для всех. Нужно ли составить документ для кого-нибудь из клиентов, он составляется адвокатами, специально занимающимися этим предметом, и составляется под руководством таинственных наставлений; нужно ли снять чистенькую копию с какой-нибудь бумаги, она снимается по заказу в магазине присяжного комиссионера, не щадя при этом случае издержек. Пожилой лакей на высоком стуле знает о делах аристократии едва ли более подметальщика на улице Голборн.

Но вот мистер Толкинхорн снова берет кусочек красного сургуча, кусочек черного сургуча, крышечку с одной чернильницы, крышечку с другой и маленькую песочницу. Готово! Это должно упасть на середину, это направо, это налево. Надобно же когда-нибудь отделаться от этой нерешимости, – когда-нибудь или никогда. Кончено! вышло! Мистер Толкинхорн встает, поправляет очки, надевает шляпу, кладет в карман рукопись, выходит из комнаты, говорит пожилому мужчине с оборванными локтями: «Я скоро ворочусь». Очень редко случается, когда он говорит ему что-нибудь больше.

Мистер Толкинхорн идет туда, откуда летела ворона... не совсем, может быть, туда, но почти туда, к Подворью Кука, близ улицы Курситор. Он идет в долину, украшенную вывеской мистера Снагзби, присяжного комиссионера канцелярских принадлежностей, у которого принимают заказы на переписку бумаг, на снимку копий, на чистое письмо канцелярских бумаг по всем их отраслям и проч., и проч., и проч.

Время приближается к шести часам вечера и по всему Подворью Кука разносится ароматическое благоухание чаю. Благоухание это действует на обоняние и у дверей магазина мистера

Снагзби. День в этом доме имеет раннее распределение: обедают в нем в половине второго, ужинают в половине десятого. Мистер Снагзби только что намеревается спуститься в подземные регионы напиться чаю, но перед этим выглядывает за двери своего магазина и видит запоздалую ворону.

– Дома ли хозяин?

Присмотр за магазином поручается служанке Густер, потому что оба приказчика отправляются пить чай на кухню вместе с мистером и миссис Снагзби; вследствие этого две дочери дамского портного, расчесывая свои кудри перед двумя зеркалами в двух окнах второго этажа соседнего дома, не сведут с ума своими прелестями двух приказчиков мистера Снагзби: они пробуждают только бескорыстное удивление в душе Густер, у которой волосы не растут, никогда не росли и, утвердительно можно сказать, никогда не будут расти.

– Дома ли хозяин? – спрашивает мистер Толкинхорн.

Хозяин дома, и Густер сию минуту позовет его. Густер исчезает, весьма довольная случаем отделаться от магазина, на который она смотрит с чувством страха и уважения, смотрит как на складочное место страшных орудий страшной пытки законного делопроизводства, считает его за место, в которое нельзя входить после того, как потушат газ.

Мистер Снагзби является, засаленный, разгоряченный, пропитанный запахом душистой травы, жующий. С трудом проглатывает он кусок хлеба с маслом и говорит:

– Боже мой! кого я вижу? Мистер Толкинхорн!

– Пару слов, Снагзби!

– Помилуйте, сэр! зачем вы не послали за мной? Сделайте одолжение, сэр, войдите в заднее отделение нашего магазина.

Лицо мистера Снагзби в одну секунду просветлело.

Тесная комнатка, сильно пропитанная запахом пергаментного жира, в одно время служит и кладовой, и конторой, и комнатой для переписки бумаг. Мистер Толкинхорн озирается кругом и садится на стул подле конторки.

– Я пришел к вам, Снагзби, по делу Джорндис и Джорндис.

– Слушаю, сэр.

Мистер Снагзби повертывает кран в газовом рожке и кашляет в горсточку, скромно предусматривая выгодный заказ. Мистер Снагзби, как робкий человек, сделал привычку кашлять различным образом для различных выражений своих понятий и ощущений и таким образом сохранять слова.

– У вас недавно переписывали для меня несколько объяснений по делу Джорндис и Джорндис.

– Точно так, сэр, у нас переписывали.

– Вот одно из них, – говорит мистер Толкинхорн, безпечно обшаривая совсем не тот карман, который бы следовало. – О тонкая, непроницаемая, нераскрываемая устрица старинной школы! – Почерк этого письма отличается от других почерков и очень нравится мне. Проходя случайно мимо вас, я вспомнил, что эта рукопись при мне, и зашел сюда спросить вас... впрочем, нет, я ошибся: ее нет при мне. Но ничего: можно и в другой раз... Ах, позвольте, вот она здесь!.. я зашел сюда спросить вас, кто переписывал эту бумагу?

– Кто переписывал эту бумагу, сэр? – повторяет мистер Снагзби, берет рукопись в руки, раскладывает ее на конторку и начинает перелистывать ее левой рукой с такой быстротой, которой обладают только одни присяжные комиссионеры. – Это мы отдавали переписывать. Я помню, вместе с этой бумагой мы отдавали очень много других работ. Сию минуту, сэр, я справлюсь по книге и скажу, кто переписывал.

Мистер Снагзби снимает книгу с полки, еще раз старается проглотить кусок хлеба с маслом, который, по-видимому, остановился в горле, поглядывает искоса на бумагу и указатель-

ным пальцем правой руки проводит по оглавлению книги и читает: «Джюби, Паккер, Джорндис».

– А вот и Джорндис! Сию минуту, сэр, – говорит мистер Снагзби. – Ну, так и есть! Странно, что я не запомнил. Мы отдавали это, сэр, переписчику, который квартирует как раз на другой стороне переулка.

Мистер Толкинхорн заглянул тоже в книгу, отыскал запись комиссионера, и, пока тот водил пальцем по странице, он уже прочитал имя переписчика.

– Как вы называете его? Немо? – спрашивает мистер Толкинхорн.

– Точно так, сэр, Немо. Вот он здесь. – Сорок два листа большого формата. Отдано в среду вечером, в восемь часов; возвращено в четверг утром, в половине десятого.

– Немо! – повторяет мистер Толкинхорн. – Немо по-латыни значит никто.

– А по-английски, сэр, это, вероятно, означает кого-нибудь, – почтительно замечает мистер Снагзби, употребляя при этом случае приличный кашель. – Этого господина именно так зовут. Не угодно ли, сэр, взглянуть сюда? Извольте видеть: сорок два листа большого формата. Отдано в среду вечером, в восемь часов, возвращено в четверг, в девять с половиной часов утра.

Мистер Снагзби маленькой частичкой своего зрачка усматривает голову миссис Снагзби, вполтину просунутую в дверь магазина, с целью узнать, что за причины принудили его покинуть чайный стол. Мистер Снагзби посылает к миссис Снагзби объяснительный кашель, как будто говоря ей: «Душа моя, явился покупатель!»

– В половине десятого, сэр, – повторяет мистер Снагзби.

– Наши переписчики, сэр, которые живут только заказной работой, народ весьма странный; может статься, что это не настоящее его имя, но что он только выдает себя под этим именем. Теперь я вспомнил, сэр, что он подписывается этим именем на письменных объявлениях, которые он выставляет во всех почти присутственных местах, вероятно, вам известно это объявление о предложении услуг на переписку бумаг?

Мистер Толкинхорн бросает взгляд в небольшое окно на задний фасад дома Коавинсеса, в окнах которого светятся огни. Кофейная комната у Коавинсеса находится в задней половине, и тени нескольких джентльменов, окруженных облаками табачного дыма, тускло и в увеличенном виде отражаются на стенах. Мистер Снагзби пользуется случаем слегка обернуться назад и взглянуть через плечо на свою хозяйшку и сделать, в виде извинения, движение губами, мысленно произнося слова: «Тол-кинхорн, бо-гач с боль-шим вли-я-ни-ем!»

– А что, давали вы работу этому человеку и прежде? – спрашивает мистер Толкинхорн.

– О, как же, сэр! мы отдавали ему ваши бумаги.

– Думая о более важных делах, я совсем забыл, где он живет.

– Перейдя переулок, сэр. Он живет... – мистер Снагзби делает еще усиленный глоток, как будто кусок хлеба с маслом превратился в горле в кусок камня... – он живет в магазине старого тряпья и разногохламу.

– Я иду теперь домой: не можете ли вы указать мне этот дом?

Мистер Снагзби скидает с себя серенький сюртук, надевает черный, снимает шляпу с гвоздика.

– А вот и моя хозяйшка! – говорит он вслух. – Душа моя, будь так добра, пошли кого-нибудь из молодцов поглядеть за магазином, а я провожу мистера Толкинхорна через переулок... Рекомендую вам, сэр, это миссис Снагзби... я отлучусь минутки на две, душа моя.

Миссис Снагзби делает поклон адвокату, уходит за конторку, наблюдает за ними из-под сторы, потихоньку уходит в заднюю половину магазина и смотрит в книгу, которая осталась открытой. По всему видно, что любопытство сильно овладело ею.

– Вам это место покажется, сэр, весьма угрюмым, – говорит мистер Снагзби, почтительно шествуя по мостовой и предоставляя узенький тротуар в полное распоряжение адвоката, – ну

да уж и люди-то там крайне угрюмые. Вообще это какой-то дикий народ, сэр. Преимущество господина, к которому идем, состоит в том, что он никогда не спит. Дайте ему работу, и он не сомкнет глаз, пока не кончит.

На дворе уже совершенно стемнело и газовые фонари производят полный эффект. Сталкиваясь с писцами, торопившимися на почту с заготовленными в течение дня письмами, встречаясь с стряпчими и прокурорами, идущими домой к обеду, со всякого рода челобитчиками, истцами и ответчиками, и вообще с толпами народа, на пути которого вековая мудрость юриспруденции поставила миллионы преград к совершению самых обыкновеннейших занятий в жизни, пробираясь по уличной грязи (из чего составляется эта грязь, никто не знает, откуда и зачем она собирается вокруг нас, также никто не знает, – знаем только, что когда ее соберется слишком много, мы находимся в необходимости счистить ее), – пробираясь по такому пути, адвокат и присяжный комиссионер подходят к магазину тряпья и всякого хламу, к складочному месту никуда негодного товара, расположенному под тенью стены Линкольн-Иннского Суда и содержимому, как возвещает вывеска всем, до кого это может касаться, неким мистером Крук.

– Вот тут живет ваш переписчик, – говорит присяжный комиссионер.

– А! так вот он где живет! – беспечным тоном произносит адвокат. – Благодарю вас, Снагзби.

– Вам не угодно ли зайти к нему?

– Нет, благодарю вас; теперь я не имею надобности в нем... я тороплюсь теперь домой. Добрый вечер, Снагзби! благодарю вас.

Мистер Снагзби приподнимает шляпу и возвращается к своей хозяйшке и к чаю.

Но мистер Толкинхорн вовсе не торопится домой. Он отходит на небольшое расстояние, ворочается назад, снова подходит к магазину мистера Крука и прямо входит к нему. В магазине темно; в окне стоит свеча или что-то в роде свечи с нагоревшей светильней; в самой отдаленной части магазина перед камином сидит старик и подле него кошка. Старик встает и с другой нагоревшей свечой идет навстречу адвокату.

– Скажи пожалуйста, дома твой постоялец?

– Который из них, сэр? мужчина или женщина? – спрашивает мистер Крук.

– Мужчина, – тот самый, который занимается перепиской бумаг.

Мистер Крук внимательно осматривает незнакомца, узнает его с первого взгляда, получает инстинктивное убеждение в его аристократической известности.

– Угодно вам видеть его?

– Да.

– Это мне самому редко удастся, – говорит мистер Крук, оскалив зубы. – Не прикажете ли позвать его сюда? Впрочем, сэр, едва ли можно надеяться, что он спустится сюда.

– В таком случае я сам поднимусь к нему, – говорит мистер Толкинхорн.

– Так не угодно ли подняться во второй этаж? Возьмите свечку. Пожалуйте сюда.

Мистер Крук и рядом с ним кошка останавливаются у лестницы и взорами провожают мистера Толкинхорна.

– Хи, хи! – произносит мистер Крук, когда мистер Толкинхорн почти совсем скрылся из виду.

Адвокат смотрит вниз через перила. Кошка раскрывает пасть и начинает шипеть.

– Смирно, леди Джэн! Будь скромна перед гостями! Ведь ты знаешь, что поговаривают о моем постояльце, – шепотом произносит Крук, поднимаясь по лестнице на две ступеньки.

– Что же о нем поговаривают?

– Да говорят, что проданся нечистой силе; но ведь мы с вами лучше знаем об этом... нечистый не купит его. Но смею доложить вам, что мой постоялец такой нелюдим, такой угрю-

мый, что не отказался бы от сделки с нечистым. Пожалуйста, сэр, не рассердите его: вот мой совет.

Мистер Толкинхорн кивает головой и продолжает идти дальше. Он подходит к мрачной двери во втором этаже, стучит в эту дверь, не получает ответа, отворяет ее и в это время нечаянно загашает свечку.

Воздух в комнате до такой степени сперт, что свеча потухла бы сама собой, даже если бы мистер Толкинхорн не затушил ее. Комната эта очень небольшая, почти черная от копоти, сала и грязи. На ржавой, перегорелой решетке камина, согнутой на середине, как будто нищета сжимала ее в своих железных когтях, краснеет потухающий огонь обожженного каменного угля. В углу, подле камина, стоят простой дощатый стол и ломаная конторка, которых поверхность окроплена чернильным дождем. В другом углу, на одном из пары стульев, лежит оборванный старый чемодан, заменяющий платяной шкаф; более обширного помещения для гардероба и не требовалось, потому что бока чемодана ввалились вовнутрь, как щеки голодного человека. Пол ничем не прикрыт, – только подле камина тлеет веревочный мат, истертый до самой основы. Ни одна занавесь не прикрывает ночной темноты; вместо их окна задвинуты ставнями неопределенного цвета, и сквозь два узкие отверстия в этих ставнях голод мог бы увидеть свою жертву на одре.

Против камина, на низенькой кровати, адвокат, не решавшийся сделать шагу от дверей, видит лежащего человека. Цвет лица его желтый. Его длинные, взъерошенные волосы сливаются с его бакенбардами и бородой, точно также взъерошенными и длинными.

– Ало, мой друг! – восклицает мистер Толкинхорн и в то же время стучит в дверь железным подсвечником.

Ему кажется, что он разбудил своего друга. Но друг между тем, отвернувшись немного в сторону, лежит неподвижно, хотя глаза его совершенно открыты.

– Ало, мой друг! – еще раз кричит мистер Толкинхорн. – Ало, ало!

Свеча, которой светильня так долго тлела, окончательно потухает в подсвечнике, которым вместе с возгласами повторялись удары в дверь, и мистер Толкинхорн остается в непроницаемом мраке, и только два узеньких глаза в ставнях пристально смотрят на грязную кровать.

XI. Наш любезный собрат

Легкое прикосновение к морщинистой руке адвоката в то время, как он в крайней нерешимости стоит в мрачной комнате, заставляет его вздрогнуть и вскрикнуть:

– Это кто?

– Это я, – возражает старик, хозяин дома, которого тяжелое дыхание отзывается в ушах адвоката. – Неужели вы не можете разбудить его?

– Не могу.

– Что сделали вы с вашей свечой?

– Она погасла. Вот она; возьми ее.

Крук берет свечку, подходит к камину, наклоняется над потухающей золой и старается выдуть из нее огонь. Но в потухающей золе не оказывается и искры огня, и старания Крука остаются тщетными. Сделав несколько безответных возгласов к своему постояльцу и проворчав, что спустится вниз и принесет огня из магазина, старик уходит. Мистер Толкинхорн, по причинам, ему одному известным, не решается ждать возвращения Крука внутри комнаты, но выходит на площадку лестницы.

Желанный свет вскоре разливается по закоптелым стенам лестницы, вместе с тем, как Крук медленно поднимается вверх, в сопровождении зеленоглазой кошки, следующей за ним по следам.

– Скажи, неужели твой постоялец спит всегда так крепко? – вполголоса спрашивает адвокат.

– Хи, хи! не знаю, сэр! – отвечает Крук, тряся головой и вздергивая кверху свои мохнатые брови. – Я почти ровно ничего не знаю о его привычках; знаю только, что он держит себя взаперти.

Перешептываясь таким образом, они вместе входят в комнату, и когда огонь озаряет ее, два огромные глаза в ставнях, по-видимому, плотно смыкаются. Но не смыкаются глаза спящего на жалкой постели.

– Господи помилуй нас! – восклицает мистер Толкинхорн. – Он умер!

Крук опускает оледеневшую руку, которую приподнял было, и опускает ее так внезапно, что она как камень свешивается с кровати.

Крук и Толкинхорн бросают друг на друга моментальный взгляд.

– Пошлите за доктором! Кликните сверху мисс Фляйт! Я вижу яд подле кровати! Кликните скорее мисс Фляйт! – произносит Крук, раскидывая, как крылья вампира, свои костлявые руки над трупом постояльца.

Мистер Толкинхорн выбегает на лестницу.

– Мисс Фляйт! – кричит он. – Кто бы вы ни были, мисс Фляйт! Фляйт! скорее сюда! Торопитесь, мисс Фляйт!

Крук глазами провожает Толкинхорна, и в то время, как последний кличет мисс Фляйт, он находит случай подкрасться к старому чемодану и крадучи удалиться от него на прежнее место.

– Бегите, Фляйт, бегите! к ближайшему доктору! бегом бегите, Фляйт!

Этимися словами Крук обращается к дряхлой, полоумной старушонке, своей квартирантке. Мисс Фляйт вбегает, в мгновение ока исчезает и вскоре приводит угрюмого, по-видимому, весьма недовольного, оторванного от обеда врача, с толстой верхней губой, покрытой слоем табаку, и с грубым шотландским произношением.

– Эге, друзья мои! утешьтесь! – говорит угрюмый доктор, окинув, после минутного молчания, окружающих внимательным взором. – Утешьтесь, друзья мои! Он мертв, как мертвый человек!

Мистер Толкинхорн, стоя подле старого чемодана, спрашивает, давно ли он умер.

– Давно ли он умер? – повторяет медик. – Разумеется, недавно! Да так себе часа три тому назад!

– Да-с, смею сказать-с, не дальше этого времени, – замечает темнолицый молодой человек.

Как и когда явился он по другую сторону кровати, никто не знает.

– А вы, должно быть, тоже по нашей части, сэр? – спрашивает первый доктор.

Темнолицый молодой человек отвечает утвердительно.

– В таком случае я могу уйти отсюда, – замечает первый доктор, – мне нечего здесь делать.

Вместе с этим кратковременный визит кончается, и доктор спешит окончить начатый обед.

Темнолицый молодой человек несколько раз подносит свечку к лицу покойника, тщательно осматривает адвокатского писца, который, сделавшись решительно никем, окончательно подтверждает права свои на принятую им на себя, но никем не признанную фамилию.

– Я очень хорошо припоминаю этого человека, – говорит молодой врач. – Года полтора тому назад он купил у меня опию. Скажите, есть кто-нибудь из вас сродни ему? – заключает медик, окинув взглядом предстоящих.

– Я здешний домохозяин, – угрюмо отвечает Крук, принимая свечку из протянутой руки молодого доктора. – Впрочем, когда-то он сказывал мне, что я ближайший ему родственник.

– Нет никакого сомнения, что он умер от излишней дозы опия, – продолжает медик. – Вы замечаете, какой сильный запах разливается по всей комнате. Да вот и тут (принимая чайник из костлявой руки Крука) положено этого яду такое количество, какого весьма довольно для отравы целой полдюжины людей.

– Неужели вы думаете, что он сделал это с умыслом?

– То есть что вы хотите сказать? с умыслом ли он принял лишнюю дозу?

– Ну да! – отвечает Крук, облизывая губы под влиянием любопытства, сообщающего невыразимый ужас.

– Не умею сказать вам, но должен считать такое предположение невероятным, потому что он привык принимать большие дозы. Впрочем, никто не может сказать вам утвердительно. Я полагаю, он был очень беден?

– Полагаю, что был. По крайней мере его комната не показывает, что он был богат, – говорит Крук, окидывая комнату своими зелеными, сверкающими глазами. – Надобно вам сказать между прочим, что с тех пор, как он поселился здесь, я ни разу не заглядывал к нему; а он был слишком молчалив, чтоб открывать передо мной свои обстоятельства.

– А что, он остался вам должен за квартиру?

– За шесть недель только.

– Ну так можно смело сказать, что он вам не заплатит, – говорит молодой человек, снова приступая к рассмотрению трупа. – Нечего и сомневаться, он мертв как фараон. Судя по его наружности и положению, смерть послужила ему отрадой. А должно быть в молодости он был красавец, был мужчиной благовидным.

И доктор, поместившись на конце постели, с лицом, обращенным к лицу покойника, и рукой, положенной на охладевшее сердце, произносит эти слова не без чувства.

– Я припоминаю, что в его манере, несмотря на всю его небрежность к своей наружности, было что-то особенное, обличающее его падение в жизни. Скажите, правда ли это? – продолжает он, еще раз окидывая взором предстоящих.

– Пожалуй вы захотите, чтобы я рассказал вам биографию тех барынь, волосами которых у меня внизу битком набиты мешки? – говорит Крук. – Кроме того, что он был моим постояльцем в течение восемнадцати месяцев и жил, или, пожалуй, не жил, одной только перепиской бумаг, я больше ничего не знаю о нем.

Во время этого разговора, мистер Толкинхорн, закинув руки назад, стоял в стороне от прочих, подле старого чемодана, совершенно чуждый всякого рода чувств, обнаруживаемых у кровати, – чуждый профессионального внимания молодого доктора к покойнику, – внимания, тем более замечательного, что оно, по-видимому, вовсе не имело никакой связи с его замечаниями касательно личности покойника, – чуждый какого-то неизъяснимого удовольствия, которое, против всякого желания, обнаруживалось на лице Крука, – чуждый благоговейного страха, под влиянием которого находилась полоумная старушка. Его невозмутимое лицо было так же невыразительно, как и его платье, не имеющее на себе нисколько лоску. Взглянув на него, другой бы сказал, что в эти минуты он вовсе ни о чем не думал. Он не обнаруживал ни терпения, ни нетерпения, ни внимания, ни рассеяния. Он ровно ничего не обнаруживал, кроме своей холодной скорлупы. Легче бы, кажется, можно было извлечь музыкальный тон из футляра какого-нибудь нежного инструмента, чем самый слабый тон души мистера Толкинхорна – из его оболочки.

Но вот наконец и он вступает в разговор: он обращается к молодому медику с своей холодной манерой, как нельзя более соответствующей его профессии.

– Я только что перед вами заглянул сюда, – замечает он, – и заглянул с тем намерением, чтобы дать этому уже умершему человеку, которого, мимоходом сказать, я никогда не видел в живых, несколько бумаг для переписки. Я узнал о нем от нашего комиссионера – Снагзби, живущего на Подворье Кука. Здесь, как кажется, никто ничего не знает об этом человеке: так недурно, я думаю, послать за Снагзби. Да вот кстати: не сходите ли вы?

Последние слова относились к полоумной старушке, которая часто видала его в Верховном Суде, которую он тоже часто видал, и которая охотно вызывается сходить за комиссионером.

Между тем как мисс Фляйт исполняет поручения, медик прекращает дальнейшие, бесплодные исследования и накидывает на предмет их стеганое одеяло, покрытое бесчисленным множеством заплат. После этого доктор меняется с мистером Круком парой слов. Мистер Толкинхорн соблюдает безмолвие и, по-прежнему, остается подле старого чемодана.

В комнату торопливо вбегает мистер Снагзби, в сереньком сюртучке и в черных нарукавниках.

– О, Боже мой, Боже мой! – говорит он. – Неужли это правда? Господи помилуй! как это удивительно!

– Снагзби, не можете ли вы сообщить хозяину здешнего дома какие-нибудь сведения об этом несчастном создании? – спрашивает мистер Толкинхорн. – Кажется, на нем остался долг за квартиру; да к тому же, вы знаете, его нужно похоронить.

– Я, право, ничего не знаю, сэр, – отвечает мистер Снагзби и в знак оправдания кашляет в кулак, – я решительно не знаю, что посоветовать вам, – разве только одно – послать за приходским старостой.

– Я не прошу вашего совета, – возражает мистер Толкинхорн. – Я бы и сам мог посоветовать...

(Я уверен, сэр, лучше вашего никто не посоветует, – говорит мистер Снагзби, не словами, но своим почтительным кашлем.)

– Я спрашиваю вас о том, не можете ли вы указать на кого-нибудь из его родственников, не можете ли сказать, откуда он прибыл сюда, или вообще что касается его.

– Уверяю вас, сэр, – отвечает мистер Снагзби, предварив ответ свой кашлем, выражающим глубокое смирение, – уверяю вас, сэр, что мне столько же известно, откуда он прибыл сюда, сколько известно...

– Сколько известно вам, куда он отправился отсюда, – дополняет доктор, чтоб вывести мистера Снагзби из затруднительного положения.

Наступает молчание.

Мистер Толкинхорн устремляет взоры на присяжного комиссионера. Мистер Крук, с разинутым ртом, ожидает, кто первый нарушит молчание.

– Что касается до родственников покойного, – говорит мистер Снагзби, – то скажи мне теперь кто-нибудь: «Снагзби, вот тебе двадцать тысяч фунтов билетами английского банка, – только скажи, кто родственники этого человека», и клянусь вам, сэр, я и тогда не умел бы сказать! Года полтора тому назад, если только память не изменяет мне, – года полтора тому назад, он впервые явился жильцом в доме владельца нынешнего магазина тряпья и всякого хламу...

– Именно так: это было в ту самую пору, – замечает Крук, утвердительно кивая косматой головой.

– Так года полтора тому назад, – продолжает мистер Снагзби, заметно ободренный словами Крука, – однажды утром, сейчас после завтрака, этот человек явился ко мне в лавку и, встретив мою хозяйшку (употребляя это название, я подразумеваю миссис Снагзби), представил образец своего почерка и дал ей понять, что желает заняться перепиской бумаг, и находился – не придавая этому слишком важного значения (любимая поговорка мистера Снагзби во время чистосердечных объяснений, к которой он постоянно прибегал, для большей выразительности своего чистосердечия) – этот человек находился в затруднительном положении. Моя хозяйшка, надо вам заметить, не имеет обыкновения оказывать излишней благосклонности к незнакомым людям, особенно к таким – не придавая этому слишком важного значения – которые в чем-нибудь нуждаются. Впрочем, этот человек понравился моей жене, – не знаю, потому ли, что борода его была не брита, потому ли, что волосы его требовали некоторого попечения, или просто по одной только женской прихоти – и предоставляю вам самим решить это обстоятельство; знаю только, что она взяла образчик почерка и спросила его адрес. Нужно вам сказать, что моя хозяйшка немного туговата на ухо насчет собственных имен, – продолжает мистер Снагзби, посоветовавшись сначала с многозначительным кашлем в кулак, – и потому имя Немо она без всякого различия смешивала с именем Нимрода. Вследствие этого она взяла себе в привычку делать мне за нашей трапезой такого рода вопросы: мистер Снагзби, неужели вы не достали работы для Нимрода? – или мистер Снагзби, почему вы не дадите Нимроду громадных тетрадей по делу Джорндиса? или что-нибудь в этом роде. Таким-то образом он и начал получать от нас заказы; и в этом заключается все, что я знаю о нем; могу еще одно только прибавить, что он писал бойко и не гнался за отдыхом, до того не гнался, что если бы вы, например, отдали ему в среду вечером тридцать-пять канцлерских листов, он возвратил бы в совершенной исправности на другое утро в четверг. Все это, – заключает мистер Снагзби, делая весьма жантильное движение шляпой к постели, – я несколько не сомневаюсь, подтвердил бы мой почтенный друг, если б находился в состоянии исполнить это.

– Не лучше ли рассмотреть бумаги покойника? – говорит мистер Толкинхорн, обращаясь к Круку. – Может статься, они наведут на след. По случаю скоропостижной смерти твоего постояльца, тебя, без всякого сомнения, призовут к следствию. Умеешь ты читать?

– Нет, не умею, – возражает старик, оскалив зубы.

– Снагзби! – говорит мистер Толкинхорн, – осмотрите с ним комнату. Иначе он наживет себе хлопот. Поторопитесь, Снагзби; я подожду здесь; если окажется нужным, я, пожалуй, засвидетельствую, что все ваши показания справедливы. Если ты поддержишь, мой друг, свечу для мистера Снагзби, он увидит, чем может быть полезен для тебя.

– Во-первых, здесь есть старый чемодан, – говорит мистер Снагзби.

Ах, да! и в самом деле тут старый чемодан! А мистер Толкинхорн, по-видимому, и не замечал его, хотя и стоял подле него и в комнате кроме чемодана ничего больше не было!

Продавец морских принадлежностей держит свечу, а присяжный комиссионер канцелярских принадлежностей производит обыск. Медик облокачивается на угол камина; мисс Фляйт дрожит от страха и от времени до времени выглядывает из-за дверей. Даровитый последователь

старинной школы, в тусклых, черных панталонах, перевязанных на коленях черными лентами, в своем огромном черном жилете и длиннополом черном пальто, с своим бантом шейного платка, так коротко знакомым английской аристократии, стоит аккуратно на прежнем месте и в прежнем положении.

В старом чемодане оказываются несколько старых, никуда негодных, ничего не стоящих платьев; в нем отыскивается пачка билетов на заложенные вещи – пачка этих паспортов чрез шоссе заставы по дороге нищеты; там же находится измятая, истертая бумага, издающая сильный запах опиума; на ней нацарапано несколько слов, как видно для памяти: принял тогда-то, столько-то гранов; принял вторично тогда-то; число гранов увеличил на столько-то; видно было, что эти приемы длились довольно долго, как будто с намерением регулярно продолжать их, и потом вдруг прекратились. Тут же находилось несколько грязных обрывков от газет, с описанием судебных следствий над мертвыми телами, и больше ничего. Снагзби и Крук осматривают маленький буфет и ящик окропленного чернилами стола. Но и там не отыскивается ни клочка от писем, ни от какой-нибудь рукописи. Молодой медик осматривает платье адвоката-писца. Перочинный ножик и несколько медных монет – вот все, что он находит. Наконец все убеждаются, что совет мистера Снагзби принадлежал к числу практических советов, и приглашение приходского старосты оказывается необходимым.

Вследствие этого маленькая полоумная квартирантка отправляется за старостой, а прочие выходят из комнаты.

– Пожалуйста, не оставляйте кошку здесь, – замечает доктор, – это не годится.

Мистер Крук выгоняет кошку, и она крадучись спускается по лестнице, размахивая гибким, пушистым хвостом и облизывая морду.

– Доброй ночи! – говорит мистер Толкинхорн и уходит домой беседовать с Аллегорией и углубляться в созерцания.

Между тем новость о скоропостижной смерти распространилась по всему кварталу. Группы соседей толпами рассуждают о происшествии. Передовые посты обсервационного корпуса (преимущественно ребятишки) выдвигаются вперед к самым окнам мистера Крука, в которых они совершают тщательную рекогносцировку. Полицейский страж уже поднялся в комнату покойника и снова спустился к уличной двери, где он стоит, как неприступная крепость, случайно достаивая своим взглядом ребятишек, собравшихся у его подножия; но при этих взглядах атакующие окна мистера Крука колеблются и отступают. Миссис Перкинс, которая вот уже несколько недель находится в разрыве с миссис Пайпер, вследствие недовольства, возникшего по поводу сильной потасовки, претерпленной молодым Пайпером от молодого Перкинса, возобновляет при этой благоприятной okazji дружеские отношения. Прикащик из ближайшего углового погребка, обладая официальными сведениями о жизни человеческой вообще и в частности близкими сношениями с пьяными людьми, обменивается с полицейским несколькими сентенциями, обличающими взаимную друг к другу доверчивость; он имеет вид неприступного юноши, недостижимого для руки констебля, незаточаемого в съезжих домах. Разговор ведется из окон одной стороны Подворья в окна противоположной стороны. Из переулка Чансри являются курьеры с открытыми головами; они спешат узнать в чем дело. Общее чувство, кажется, выражает радость, что смерть похитила не мистера Крука, но его постояльца, хотя к этой радости и примешивалось чувство обманутых ожиданий насчет своих предположений. Среди этих ощущений является приходский староста.

Приходский староста хотя в обыкновенное время и не пользовался особенным расположением соседей, но в настоящую минуту становится популярным, как единственный человек, которому предоставлено право осматривать мертвые тела. Полицейский страж хотя и считает его за существо бессильное, бездейственное, слабоумное, за останки от варварских времен, когда существовали сторожевые будки в Лондоне, но в настоящую минуту пропускает его в двери, как особенное нечто, терпимое в народе до тех пор, пока правительству угодно будет

стереть его с лица земли. Любопытство усиливается, когда из уст в уста переходит молва, что староста уже явился и делает осмотр.

Но вот староста выходит и еще более усиливает любопытство, находившееся в течение осмотра в невыносимо-томительном состоянии. Оказывается, что для заварашнего следствия староста не имеет в виду свидетеля, который мог бы сказать что-нибудь судье и следственному приставу об умершем. Вследствие этого он немедленно обращается к бесчисленному собранию людей, которые ровно ничего не знают. Со всех сторон раздаются восклицания, что сын миссис Грин был тоже адвокатским писцом и, вероятно, знал покойника лучше других. Это обстоятельство ставит старосту в тупик, тем более что по наведенным справкам оказалось, что сын миссис Грин в настоящее время находится на корабле, месяца три тому назад отплывшем в Китай, и что, конечно, можно получить от него необходимые сведения посредством телеграфа: стоит только получить на это позволение лордов Адмиралтейства. После этого староста заходит в некоторые магазины, собирает там различные сведения и при этом случае, затворяя за собою дверь, мешкая и вообще обнаруживая в действиях своих недостаточность соображений, выводит из терпения любознательную публику. Полицейский страж меняется улыбками с приказчиком из погребка. Любопытство и внимание народа ослабевают и уступают место реакции. Пронзительный голос ребятишек осыпает старосту таким сильным градом насмешек, что полицейский страж считает необходимым привести в действие свою неограниченную власть: он схватывает первого дерзкого и, разумеется, освобождает его при побеге прочих, но освобождает с условием – сию минуту замолчать и убраться прочь в одну минуту! условие это выполняется буквально. Таким образом общее ощущение и любопытство замирают на некоторое время, и неподвижный полицейский страж (на которого прием опиума, в большем или меньшем количестве, не произведет особенного действия), с его лакированной шляпой, с его жестким, накрахмаленным воротником, с его несгибающимся сюртуком, крепкой перевязью и вообще всей амуницией, медленно подвигается по тротуару, постукивает ладонями своих белых перчаток одной о другую и останавливается от времени до времени на перекрестке улицы, чтоб убедиться, нет ли чего-нибудь в роде затерявшегося ребенка или убийцы.

Под прикрытием ночи, слабодушный староста как призрак летает по переулку Чансри с своими повестками, в которых имя каждого судьи жалким образом искажено; даже самые повестки написаны совершенно непонятно. Одно только имя старшины написано верно и ясно; но его никто не читает, и никто не хочет его знать. Повестки наконец разнесены, свидетели приглашены, и старшина отправляется в магазин мистера Крука, где он назначил свидание нескольким беднякам. Бедняки эти собираются, и их проводят во второй этаж, в комнату покойника, где они предоставляют огромным глазам в ставнях случай посмотреть на что-то новенькое, что составляет последнее жилище для никого и для каждого.

И вот, в течение всей той ночи, готовый гроб стоит подле старого чемодана. На постели лежит одинокий труп, которого стезя в жизни прокладывалась в течение сорока-пяти лет, но на этой стезе столько же осталось заметных следов, сколько остается их от младенца, брошенного и заблудившегося в лабиринте улиц многолюдного города.

На другой день двор Крука оживился; так по крайней мере миссис Перкинс, более чем примирившаяся с миссис Пайпер, замечает в дружеской беседе с этой превосходной женщиной. Следственный судья должен держать заседание в гостинице Солнца, где гармонические митинги собираются два раза в неделю, и где стул президента бывает занят джентльменом, ознаменовавшим себя своей профессией, а противоположный стул – маленьким мистером Свилзом, комическим певцом, который питает необъятные надежды (согласно с билетом, выставленным в окне), что друзья соберутся вокруг него и поддержат его первоклассный талант. В течение наступившего утра гостиница Солнца ведет бойкую торговлю. Даже ребятишки, под влиянием общего волнения, до такой степени нуждаются в подкреплении сил, что пирожник, расположившийся на этот случай в одном из углов Подворья, замечает, что его

пышки исчезают как дым, – между тем как приходский староста, переваливаясь с боку на бок во время прогулки своей между заведением мистера Крука и гостиницей Солнца, показывает некоторым скромным особам предмет, вверенный его хранению, и взамен того получает приглашение выпить стаканчик элю или чего-нибудь в этом роде.

В назначенный час приезжает следственный судья, которого присяжные ждут с минуты на минуту, и приезд которого приветствует стук кеглей, принадлежащих гостинице Солнца. Следственный судья чаще всех других смертных посещает общественные заведения. Запах опилок, пива, табачного дыма и спиртуозных напитков составляет неразрывную связь его призвания с смертью, во всех ее самых страшных видоизменениях. Приходский староста и содержатель гостиницы провожают его в комнату гармонических митингов, где он кладет свою шляпу на фортепьяно, и занимает виндзорское кресло в главе длинного стола, составленного из нескольких различного рода столов, поверхность которых украшена бесконечно разнообразным сцеплением липких колец, отпечатанных доньшками кружек и стаканов. За столом размещается такое множество присяжных, какое могут только допустить его размеры. Все прочие располагаются между плевальницами и трубками или прислоняются к фортепьяно. Над головой судьи висит шнур с рукояткой для звонка и напоминает собою виселицу.

Начинается переключка присяжных и произносится клятвенное обещание. В то время, как происходит эта церемония, между присутствующими производится некоторое волнение маленьким человеком с влажными глазами и воспламененным носом, пухлые щеки которого прикрываются огромными воротничками, и который смиренно занимает место у самого входа, как один из прочих зрителей, но, по-видимому, коротко знакомый с гармонической комнатой. Быстро пролетевший шепот говорит нам, что эта особа – маленький Свильз. Полагают, не без некоторого основания, что вечером, во время гармонического митинга, этот мистер Свильз представит следственного судью в карикатурном виде и доставит беспредельное удовольствие всему собранию.

– Итак, джентльмены... – начинает следственный судья.

– Молчать! – восклицает приходский староста.

Разумеется, это восклицание не относится к судье, хотя другие и могли бы допустить подобное предположение.

– Итак, джентльмены, – снова начинает судья, – вы приглашены сюда на следствие, по поводу скоропостижной смерти некоторой особы. Что он действительно умер, это будет вам показано; касательно же обстоятельств, предшествовавших кончине, и решения, какое вам угодно будет положить, смотря на... (кегли, опять кегли! господин староста! это нужно прекратить!)...смотря на эти обстоятельства, а не на что-нибудь другое. Первым делом нам следует осмотреть мертвое тело...

– Эй, вы! расступитесь! – восклицает старшина.

И сонм присяжных выходит из гармонической комнаты, в весьма неправильном порядке, как расстроенное погребальное шествие, и делает судебный осмотр во втором этаже дома мистера Крука, откуда некоторые из присяжных выходят бледные и чересчур торопливо. Приходский староста весьма заботится о том, чтоб два джентльмена, с заметно обтертыми обшлагами и с заметным недостатком в числе пуговиц, видели все, что нужно было видеть. Для вашего удобства, он нарочно приставляет маленький столик в комнате гармонических митингов, недалеко от почетного места следственного судьи. Эти джентльмены, по образу жизни и по призванию – летописцы городских происшествий; а приходский старшина не чужд человеческих слабостей и питает надежды прочесть в печати о том, что говорил и делал «Муни, этот деятельный, умный староста такого-то прихода»; он даже желает увидеть имя Муни упомянутым так же свободно и в таком же покровительственном тоне, как упоминались в предшествовавших примерах имена великих людей!

Маленький Свилъз ожидает возвращения судьи и присяжного суда. Ждет того же самого и мистер Толкинхорн. Мистера Толкинхорна принимают с особенным отличием и сажают подле судьи; его сажают между этим высоким блюстителем закона, между миниатюрным столиком, поставленным для летописцев, и ящиком для каменного угля. Следствие ведется своим чередом. Суд присяжных узнает, каким образом умер предмет судебного следствия, и больше ничего не узнают!

– Джентльмены! – говорит судья, – с нами присутствует знаменитый адвокат, который, как мне известно, случайно находился в доме Крука, когда сделали открытие смертного случая; но так как он, к пополнению нашего следствия, может повторить только показания медика, домовладельца и его квартирантки, поэтому я не считаю за нужное беспокоить его. Не знает ли кто-нибудь из соседей чего-нибудь о покойнике?

Миссис Перкинс выталкивает вперед миссис Пайпер. Миссис Пайпер, для соблюдения делопроизводства, произносит клятву в справедливости своих показаний.

– Джентльмены! да будет вам известно, это Анастасия Пайпер, замужняя женщина... Ну, что же миссис Пайпер, что вы намерены сказать нам по этому предмету?

Миссис Пайпер намерена и может сказать очень многое, сказать большею частью в скобках и без соблюдения знаков препинания, но высказать очень мало дельного. Миссис Пайпер живет на Подворье (муж ее занимается столярным ремеслом), и уже между соседями сделалось давным-давно известно (именно дни за два перед тем, как Александр-Джемс Пайпер умер на восемнадцати месяцах и четырех днях от роду; впрочем, никто и не ждал, что он будет долговечен: во время прорезания зубов этот младенец, джентльмены, перенес страшные страдания!).... так вот, изволите видеть, между соседями давным-давно распространились слухи, что подсудимый (миссис Пайпер непременно хотела называть покойника подсудимым) продал себя дьяволу. Вероятно, угрюмая наружность подсудимого послужила главным поводом к распространению подобной молвы. Миссис Пайпер часто видала подсудимого и находила, что вид его был действительно свирепый, и, чтоб не пугать детей, ему бы не следовало позволять показываться между ними (а если сомневаются в ее показаниях, то не угодно ли спросить у миссис Перкинс: она тоже здесь и во всякое время готова доказать, что делает честь ее супругу, самой себе и своему семейству). Она видела, как дети сердили подсудимого и выводили его из терпения (ведь дети всегда останутся детьми – нельзя же требовать, чтоб при их живом, резвом характере они были такими же солидными людьми, какими и вы, джентльмены, никогда не бывали). По поводу всего этого и по поводу его мрачного вида, ей часто снилось во сне, будто бы он вынимал мотыгу из кармана и рассекал голову маленькому Джонни (а этот ребенок не знал что такое страх и беспрестанно бегал за ним так близко, что чуть-чуть не наступал на пятки). Впрочем, она никогда не видела, чтобы подсудимый и в самом деле употреблял мотыгу или какое-нибудь другое орудие. Она видела, как он бегал от детей, как будто не имел к ним ни малейшего расположения; она не замечала, чтобы покойник когда-нибудь разговаривал не только с ребятами, но и взрослыми людьми (исключая, впрочем, мальчишки, который подметает весь переулок до самого угла; и если б этот мальчишка был здесь, он непременно бы сказал вам, что подсудимый часто с ним разговаривал).

«Здесь ли этот мальчик?» – вопрошает судья. «Его здесь нет», – отвечает староста. «Привести его сюда!» – говорит судья. Во время отсутствия деятельного и умного старосты судья разговаривает с мистером Толкинхорном.

– Ага! вот, джентльмены, и мальчик налицо.

Действительно, мальчик налицо, весьма грязный, весьма оборванный и с весьма хриплым голосом. Ну, мой милый! Впрочем, остановитесь на минуту. Предосторожность всегда не лишнее. Мальчику надо сделать несколько предварительных вопросов.

Зовут этого мальчика Джо. О своем имени он ничего больше не знает. Ему вовсе неизвестно, что каждый человек имеет по крайней мере два имени. Он ничего подобного не слы-

шал. Для него имя Джо лучше всякого длинного названия. Джо полагает, что и это имя слишком длинно для него. Он не считает себя виновным в этом. Может ли он написать его? Нет. Он не умеет писать. У него нет ни отца, ни матери, ни друзей. В школе не бывал. Родительского крова не знал. Знает, что метла есть метла, и знает, что лгать – грешно. Не помнит, кто ему сообщил понятие о метле и о лжи, но знает то и другое. Не может с точностью сказать, что будет ему после смерти, если скажет ложь джентльменам, но уверен, что ему сделают что-нибудь нехорошее, что его накажут за это, и накажут поделом, а поэтому он будет говорить истину.

– Все это ни к чему не ведет, джентльмены; это не идет к нашему делу! – замечает судья, печально покачивая головой.

– Как вы думаете, сэр, можно ли принять это за показание? – спрашивает один из внимательных присяжных.

– Помилуйте, зачем? это, я вам говорю, не идет к делу! – замечает судья. Ведь вы слышали мальчика? слышали, как он сказал: «я не могу с точностью сказать вам», а, согласитесь сами, это ни к чему не ведет. Нам нельзя слушать вздор перед лицом правосудия. Это было бы ужасное злоупотребление. Отведите мальчика прочь.

Мальчика отводят прочь, к величайшему назиданию посторонних лиц, особенно маленького Свилза, комического певца.

Ну, что же теперь делать. Нет ли еще свидетелей? Но других свидетелей не является.

Очень хорошо, джентльмены! По произведенному следствию оказывается, что неизвестный человек, сделавший, в течение полутора года, привычку принимать опиум большими дозами, найден мертвым от излишнего приема. Если вы имеете причины думать, что он учинил самоубийство, вы можете сделать это заключение. Если же вы приписываете смерть этого человека несчастному случаю, то согласно с этим мнением будет сделан приговор.

Приговор делается согласно с этим мнением. Смерть неизвестного человека приписывается несчастному случаю. В этом нет ни малейшего сомнения. Джентльмены, заседание кончилось. Прощайте!

Следственный судья застегивает свой длиннополый сюртук и с мистером Толкинхорном дает в углу частную аудиенцию неприятому свидетелю.

Это несчастное, отталкивающее от себя создание только и знает, что соседние ребятишки часто с криком и бранью гонялись за покойным, которого он узнал по желтому лицу и черным волосам; что однажды, в холодную зимнюю ночь, когда он, то есть мальчик, дрожал от стужи на своем перекрестке, покойный, пройдя мимо, оглянулся назад, потом вернулся к нему, сделал мальчику несколько вопросов и, узнав, что у него в целом мире не было друга, сказал: «У меня тоже нет друзей, – нет ни души!» и подал ему денег на ужин и ночлег. С тех пор этот человек часто разговаривал с ним, часто спрашивал, каково он спал в прошедшую ночь, как он переносит холод и голод, не желает ли он скорее умереть, и тому подобные странные вопросы; что когда у этого человека не было денег, то, проходя мимо мальчика, он обыкновенно говорил: «Сегодня, Джо, я так же беден, как и ты!»; при деньгах же он всегда был рад поделиться с ним (чему несчастный мальчик верил от чистого сердца).

– Он был очень добр до меня, – говорит мальчик, отирая глаза лохмотьями своего рукава. – Я бы желал, чтоб в эту минуту он услышал меня. Он был очень добр до меня, очень, очень добр.

В то время, как мальчик боязливо спускался с лестницы, мистер Снагзби, дожидавшийся внизу, всовывает ему в руку полкроны. «Если увидишь меня, когда я, с своей хозяйшкой, то есть с женой моей, буду проходить мимо твоего перекрестка, – говорит мистер Снагзби, приложив указательный палец к кончику носа, – то, смотри, об этом ни гу-гу!»

Присяжные на несколько минут остаются в гостинице Солнца в дружеской беседе. Спустя немного, шестеро из них окружаются облаками табачного дыму, который неисходно господствует в помянутой гостинице; двое отправляются в Гамстет, а остальные четверо соглаша-

ются идти вечером за полцены в театр и заключить дневные занятия устрицами. Маленького Свилъза подчуют со всех сторон, – спрашивают его мнения насчет утреннего заседания, и он выражает его двусмысленными словами (его любимый способ объясняться). Содержатель гостиницы, сделав открытие, что маленький Свилъз пользуется необыкновенной популярностью, в изысканных выражениях рекомендует его присяжным и всему собранию, и при этом замечает, что в характеристических ариях он неподражаем, и что гардероба его для драматических лиц не свезти на двух телегах.

Таким образом гостиница Солнца постепенно покрывается темнотой ночи и наконец ярко освещается газовыми лучами. Час гармонического митинга наступает. Джентльмен, знаменитый по своей профессии, занимает почетное кресло; обращается лицом (краснолицым) к крошечному Свилъзу; друзья окружают их и поддерживают первоклассный талант. В самом разгаре вечера, крошечный Свилъз обращается к собранию ценителей таланта с следующей речью: «Джентльмены, если позволите, я попробую представить вам сцену из действительной жизни, – сцену, которой я был свидетелем не далее, как сегодня». Громкие рукоплескания сопровождают речь и весьма ободряют крошечного Свилъза. Он выходит из комнаты Свилъзом, а возвращается следственным судьей (не имеющим ни малейшего сходства с действительным судьей), описывает следствие, с аккомпанементом фортепьяно, для разнообразия и с припевом (следственного судьи) типпи-дол-ли-дол, типпи-дол-ло-дол, типпи-ли!

Дребезжащее фортепьяно замолкает наконец, и гармонические друзья собираются вокруг своих подушек. Одинокого покойника, помещенного теперь в его последнее земное обиталище, окружают торжественный покой и безмолвие. В течение немногих часов безмятежной ночи на него взирают только два огромные глаза, прорезанные в ставнях. Если б мать этого одинокого, заброшенного человека, к груди которой он, будучи младенцем, ластился, поднимал глаза на ее лицо, озаренное чувством материнской любви, и не зная каким образом нежной ручонкой обнять шею, к которой карабкался, если бы мать этого отошедшего человека могла прозреть в будущее, – о, до какой степени это зрелище показалось бы ей невероятным! О, если в более светлые дни отлетевшей жизни в душе этого человека пылал огонь к любимой женщине, навсегда потухший теперь, то где же она в эти минуты, когда бранные останки любимого ею существа не преданы еще земле!

Хотя ночь и наступила, но в доме мистера Снагзби нет покоя; там Густер убивает сон, переходя, как выражается сам мистер Снагзби – не придавая этому слишком важного значения – от одного припадка к двадцати. Причина этих припадков состоит в том, что Густер имеет от природы нежное сердце, и что-то пылкое, весьма вероятно, пылкое воображение, которое, быть может, развилось бы в ней, если б постоянный страх возвратиться в благотворительное заведение не служил препятствием к этому развитию. Как бы то ни было, но только рассказ мистера Снагзби, за чаем, о судебном следствии, при котором он лично присутствовал, до такой степени подействовал на чувствительную Густер, что за ужином она спустилась в кухню, предшествуемая куском голландского сыра, и упала в обморок необыкновенно продолжительный; от этого припадка она оправилась только затем, чтобы упасть в другой, в третий и так далее, в целый ряд припадков, отделяемых один от другого небольшими промежутками, которые она употребляла на убедительные просьбы к миссис Снагзби не прогонять ее, «когда она очнется», и упрашивала всех вообще в доме мистера Снагзби положить ее на каменный пол и отправляться спать. Не смыкая глаз в течение ночи и услышав наконец, что петух на ближайшем птичьем дворе начинает приходить в искренний восторг по случаю наступавшего рассвета, мистер Снагзби, этот терпеливейший из людей, вдохнув в себя длинный глоток воздуха, говорит: «Наконец-то, любезный мой! а я уж думал, не умер ли ты».

Какой вопрос разрешает эта восторженная птица, распевая во все горло, или зачем она должна петь таким образом при наступлении утреннего света, – обстоятельство, которое ни под каким видом не может быть важным для нее, мы не беремся объяснить: это ее дело (люди

– дело другое: они кричат громогласно, при различных торжественных случаях). Достаточно сказать, что вместе с криком петуха, наступает рассвет, за рассветом – утро, за утром – полдень.

Деятельный и умный приходский староста, имя которого появилось в утренней газете, приходит с отрядом бедняков в дом мистера Крука и уносит тело нашего отошедшего любезного собрата на тесное, чумное грязное кладбище, откуда заразные болезни часто сообщаются телам наших собратий и сестер, еще не отошедших из этого мира. Они разрывают комочек смердящей земли, от которой турок отвернулся бы с презрением и затрепетал бы кафир, и опускают туда нашего любезного собрата, исполняя обряд христианского погребения.

Там, где дома окружили небольшое пространство земли плотной стеной, прерываемой в одном только месте отверстием, служащим входом, – там, где все пороки жизни действуют прямо на смерть, и где всякое заразительное дыхание смерти, все элементы тления действуют прямо на жизнь, – там предадут земле нашего любезного собрата, там обрекают его тлению.

Наступи скорее, ночь, наступи, непроницаемая темнота! Впрочем, вы не можете явиться слишком скоро или оставаться слишком долго подле такого места! Явитесь скорее, блуждающие огоньки, в окнах этих безобразных домов, и вы, которые совершаете пороки внутри этих домов, совершайте их по крайней мере опустив занавес на эту страшную сцену! Покажись скорее, газовое пламя, так угрюмо пылающее над железными воротами, на которых ядовитый воздух ложится какими-то скользкими слоями! О, как бы хорошо было, если б эти слои говорили каждому прохожему: «Взгляни сюда!»

С наступлением ночи, сквозь арку ворот проходит изогнутая фигура и приближается к железной ограде. Руками она придерживается за ворота, посматривает сквозь решетку и в этом положении остается на некоторое время.

После этого фигура слегка обметает ступеньки, ведущие на кладбище, очищает проезд под воротами. Она исполняет все это деятельно и аккуратно, потом снова смотрит за решетку и уходит.

– Джо! ты ли это? Да, ты!

Хотя и отверженный свидетель, который «не умеет сказать», что будет сделано предмету его попечений руками более сильными, чем людские руки, ты еще не совсем обретаешься во тьме. В твоих несвязных словах: «Он был добр до меня, очень добр!», является отдаленный и радостный луч света!

ХII. На страже

Ненастье в Линкольншире прекратилось наконец и Чесни-Волд как будто несколько ожил. Миссис Ронсвел обременена гостеприимными заботами: сэр Лейстер и миледи должны на днях возвратиться из Парижа. Фешенебельная газета уже узнала об этом и сообщает радостные вести омраченной Англии. Она узнала также, что сэр Лейстер и миледи соберут в своей древней, гостеприимной фамильной линкольнширской резиденции блистательный и отличный круг *élite* из *beau monde* (фешенебельная газета, как всем известно, весьма слаба в английском диалекте, но зато гигантски сильна во французском).

Для оказания большей чести блистательному и отличнейшему кругу, а равным образом и самому поместью Чесни-Волд, разрушенный мост в парке исправлен, и вода, вступившая теперь в надлежащие пределы, картинно в них колышется и придает особенную прелесть всему ландшафту, видимому из окон господского дома. Светлые, но холодные лучи солнца проглядывают сквозь чащу хрупкого леса и награждают улыбкой одобрения резкий ветерок, развевающий поблекшие листья и осыпавший мох. Они скользят по всему парку, гоняясь за тенью облаков, как будто ловят их и никогда не настигают. Они заглядывают в окна господского дома, бросая на дедовские портреты темные полосы и пятна яркого света, о которых живописцы и не помышляли. На портрет миледи они бросают ломанную полосу света, которая как молния спускается в камин и, по-видимому, хочет раздробить его вдребезги.

Под теми же светлыми, но негреющими лучами солнца и при том же резком ветерке миледи и сэр Лейстер возвращаются в отечество в своей дорожной вознице (позади которой в приятной беседе сидят горничная миледи и камердинер милорда). С весьма значительным запасом бренчанья, хлопанья бичом и множества других побудительных мер и увещаний со стороны двух безседельных коней с развевающимися гривами и хвостами, и двух центавров в лакированных шляпах и в ботфортах, путешественники выезжают из Отеля Бристоля на Вандомской площади, мчатся между колоннами улицы де-Риволи, испещренной полосами света и тени, к площади Конкорд, в Елисейские Поля, к воротам Звезды и наконец за шлагбаум Парижа.

Правду надобно сказать, путешественники наши не могут ехать слишком быстро, потому что миледи Дэдлок даже и здесь соскучилась до смерти. Концерты, собрания, опера, театры, поездки – ничто не ново для миледи под этим устарелым небом. Не далее, как в прошлое воскресенье, когда бедняки в Париже веселились, играя с детьми между подстриженными деревьями и мраморными статуями Дворцового Сада, или гуляли в Елисейских Полях и извлекали элизиум из фокусов ученых собак и качелей на деревянных лошадках, или за городом, окружив Париж танцами, влюблялись, пили вино, курили табак, бродили по кладбищам, играли на бильярде, в карты, в домино, поддавались обману шарлатанов и другим соблазнительным приманкам, одушевленным и неодушевленным, – не далее, как в прошедшее воскресенье, миледи, под влиянием неисходной скуки и в когтях гиганта отчаяния, почти возненавидела свою горничную, за то, что она находилась в веселом расположении духа.

Миледи, следовательно, невозможно слишком быстро удалиться от Парижа. Неисходная скука ожидает ее впереди, точно так же, как остается позади. Одно только, и то неверное, средство избавиться от скуки: это – бежать от того места, где привелось испытать ее. Так исчезай же Париж в туманной дали и пусть новые сцены, новые и бесконечные аллеи, пересекаемые другими аллеями обнаженных деревьев, заступят твоё место! И когда придется еще раз взглянуть на тебя, то откройся за несколько миль, пусть ворота Звезды покажутся беленьким пятнышком, озаренным яркими лучами солнца, пусть самый город представится бесконечной стеной на беспредельной равнине и две темные четырехугольные башни пусть высятся над ним как некие гиганты.

Сэр Лейстер почти постоянно находится в приятном расположении духа; он не знает, что такое скука. Когда нет у него другого занятия, он занимается созерцанием своего собственного величия. Иметь такой неиссякаемый источник для своего развлечения – это весьма важная выгода для человека. Прочитав полученные письма, он разваливается в угол кареты и, по обыкновению, начинает соображать, какую важную роль суждено ему разыгрывать в обществе.

– У вас сегодня необыкновенно много писем, – говорит миледи после продолжительного молчания.

Чтение утомило ее. На пространстве двадцати миль она с трудом прочитала страницу.

– Да, очень много, но ни одного интересного.

– В числе их, кажется, есть одно из предлинных посланий мистера Толкинхорна?

– От вас ничто не может скрыться, – замечает сэр Лейстер с некоторым восхищением.

Миледи вздыхает.

– Это несноснейший из людей, – замечает она.

– Он посылает... извините, миледи, я совсем было забыл... он посылает и вам несколько слов, – говорит сэр Лейстер, выбирая письмо и раскрывая его. – С этими сменами лошадей я совсем было забыл о его приписке. Извините, миледи. Он пишет (сэр Лейстер так медленно вынимает очки, так медленно надевает их, что миледи начинает обнаруживать раздражительность)... он пишет... «касательно спорного дела о тропинке»... Ах, извините, миледи, я совсем не то читаю. Он пишет... да! вот оно! Он пишет: «Свидетельствую глубочайшее почтение миледи; надеюсь, что перемена места благотворительно подействовала на их здоровье. Сделайте одолжение, сэр, передайте миледи (быть может, это их интересует), что, по возвращении вашем, я имею нечто сообщить им касательно лица, переписывавшего объяснения по известному вам процессу, почерк которого так сильно возбудил любопытство миледи. На днях я видел его».

Миледи, нагнувшись несколько вперед, смотрит в окно.

– Приписка мистера Толкинхорна этим и кончается, – замечает сэр Лейстер.

– Я бы хотела пройтись немного, – говорит миледи, продолжая смотреть в окно.

– Пройтись? – повторяет сэр Лейстер с удивлением.

– Я бы хотела пройтись немного, – говорит миледи с большей определенностью, – велите остановиться.

Карета останавливается; услужливый камердинер соскакивает с запяток, отворяет дверцы и откидывает ступеньки, повинаясь нетерпеливому движению руки миледи. Миледи так быстро выпрыгивает из кареты и так быстро идет по дороге, что сэр Лейстер, при всей своей вежливости, не успевает предложить ей услуги и остается позади. Однакож, спустя минуты две, он ее нагоняет. Миледи улыбается, кажется такой хорошенькой, берет руку милорда, идет с ним вместе с четвертью мили, сучает и, наконец, снова садится в карету.

Стук и треск продолжают большую часть трех дней, с большим или меньшим бречением звонков, хлопанием бичей и с большими или меньшими увещаниями и проявлениями бодрости со стороны центавров и бесседельных лошадей. Любезная вежливость со стороны супругов, в гостиницах, где они останавливаются, служит предметом всеобщего восхищения. «Хотя милорд немножко и старенек для миледи – говорит содержательница гостиницы „Золотая Обезьяна“ – и хотя на вид он годится ей в отцы, но нельзя не заметить с первого взгляда, что они нежно любят друг друга. Посмотрите, как милорд, с седой как лунь и непокрытой головой, помогает миледи выйти из кареты и войти в нее. Посмотрите, как миледи признает всю вежливость милорда, отвечая ему легким наклоном своей премиленькой головки и пожатием своими нежными пальчиками. Ну, право, это восхитительно!»

Одно только море не умеет ценить вполне великих людей и без зазрения совести расправляется ими по-своему. Сэр Лейстер не привык бороться с капризами этой стихии, а вследствие этого она покрывает лицо его, на манер шалфейского сыра, зелеными пятнами и во всей

его аристократической системе производит удивительно жалкий переворот. Но, несмотря на то, со вступлением на берег достоинство милорда одерживает совершенную над морем победу, и он, торжествующий, спешит с миледи в Чесни-Волд отдохнув одну только ночь в Лондоне, и то потому, что это случилось по дороге в Линкольншир.

Под теми же светлыми, но холодными лучами солнца, тем более холодными, что день уже вечерет, при том же резком ветерке, и тем более резком, что отдельные тени обнаженных деревьев сливаются в одну длинную тень, и когда Площадка Замогильного Призрака, озаренная с западного угла огненным заревом от заходящего солнца, прикрывается ночной темнотой, миледи и сэр Лейстер въезжают в парк. Грачи, качаясь в своих висячих домах, свитых на верхушках вязовой аллеи, по-видимому, решают вопрос о том, кто сидит в карете, проезжающей под ними. Некоторые утверждают, что сэр Лейстер и миледи возвращаются из заграничного путешествия, другие отрицают это; то вдруг все они замолчат, как будто несогласие между ними устранилось и вопрос окончательно решен, то вдруг все закаркают, как будто снова вступая в жаркий спор, возбужденный одним упорным и сонным грачом, который ни на шаг не хочет отступить от своего мнения. Предоставляя им качаться и каркать, карета между тем катится вперед к подъезду господского дома, из немногих окон которого вырывается свет зажженных огоньков, – не такой, однако же, яркий, чтобы придать обитаемый вид мрачной массе лицевого фасада. Впрочем, блистательный и отличный круг избранных гостей в скором времени приездом своим совершенно оживит это унылое место.

Миссис Ронсвел встречает приезжих и с чувством глубокого уважения и весьма низким книксеном принимает обычное пожатие руки сэра Лейстера.

– Ну, что, как вы поживаете, миссис Ронсвел? Я очень рад, что вижу вас.

– Надеюсь, сэр Лейстер, что я имею счастье встречать вас в добром здоровье?

– В отличном здоровье, миссис Ронсвел.

– Миледи кажется очаровательно прекрасною, – говорит миссис Ронсвел, делая другой реверанс.

Миледи без значительной растраты слов замечает, что здоровье ее в таком томительном состоянии, какое, по ее мнению, останется навсегда.

Между тем Роза в отдалении стоит позади ключницы; и миледи, не подчинившая еще быстроту своей наблюдательности, вместе с другими способностями души холодному равнодушию, спрашивает:

– Что это за девочка?

– Это моя ученица, миледи. Зовут ее Роза.

– Поди сюда, Роза! – говорит леди Дэдлок, с видом некоторого участия. – Знаешь ли, дитя мое, как ты хороша? – говорит она, слегка касаясь ее плеча двумя пальчиками.

– Нет, миледи, не знаю, – отвечает Роза и, в крайней застенчивости, смотрит вниз, смотрит вверх, наконец совершенно не знает, куда ей смотреть, и более прежнего кажется хорошенькой.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать, миледи.

– Девятнадцать? – повторяет леди Дэдлок с задумчивым видом. – Берегись, дитя мое, чтобы лесть не испортила тебя.

– Слушаю, миледи.

Миледи слегка прикасается своими нежными, затянутыми в перчатку, пальчиками к пухленькой, с ямочкою, щеке Розы и идет на площадку широкой дубовой лестницы, где сэр Лейстер с рыцарскою вежливостью ожидает ее. Старый Дэдлок, нарисованный во весь рост, смотрит на них, выпуча глаза, как будто он не знает, что ему делать. Надобно полагать, что это состояние было для него весьма обыкновенным во времена королевы Елисаветы.

В этот вечер, в комнате ключницы, Роза ничего больше не делает, как только твердит похвалы миледи. Миледи так ласкова, так прекрасна, так добра, так деликатна; у нее такой нежный голос, и так горячо ее прикосновение, что Роза до сих пор чувствует его! Миссис Ронсвел подтверждает все это, не без некоторого сознания собственного своего достоинства, не соглашаясь с Розой только в одном, что миледи ласкова. В этом миссис Ронсвел не совсем убеждена. Впрочем, избави ее Боже сказать хоть слово в порицание кого-нибудь из членов такой превосходной фамилии, особенно в порицание миледи, прекрасными качествами которой восхищается весь свет; но если б миледи была немножко посвободнее, не так холодна и недоступна, то миссис Ронсвел готова допустить, что миледи была бы еще прекраснее.

– Почти жалко, – прибавляет миссис Ронсвел (только почти, потому что сказать утвердительно насчет желания видеть лучшую перемену в поступках и деяниях Дэдлоков было бы в высшей степени предосудительно), – почти жалко, что миледи не имеет детей. Если б у нее была дочь, взрослая барышня, которая бы интересовала ее, мне кажется, что недостаток, замечаемый в миледи, совершенно бы исчез.

– Почему вы знаете, бабушка, может статься, тогда миледи стала бы более надменна? – замечает Ват, который побывал уже дома и снова приехал к бабушке – ведь он такой добрый, почтительный внучек!

– Более и наиболее, мой милый, – возражает бабушка, с чувством оскорбленного достоинства, – это такие слова, употреблять которые и слушать не в моем обыкновении, если они служат к порицанию достоинства миледи.

– Извините, бабушка. Но разве она не надменна?

– Если надменна, стало быть, имеет на это свои причины. Фамилия Дэдлоков на все имеет свои уважительные причины.

– Конечно, конечно, бабушка, – говорит Ват, – вероятно, и они знают из Св. Писания, что гордость и тщеславие – смертный грех. Простите меня, бабушка. Ведь я сказал это в шутку.

– Ну, уж извини, мой друг, а надо сказать тебе, что сэр Лейстер и миледи не такие люди, чтобы шутить над ними.

– Сэр Лейстер, конечно, такой человек, что шутить над ним было бы смешно, – говорит Ват, – и я со всею покорностью прошу его прощения. Однако, знаете ли, бабушка, я полагаю, что приезд его сюда и съезд его гостей не помешают мне побыть денька два в здешней гостинице? Ведь это дозволяется всякому путешественнику.

– Без сомнения, не помешают, мой друг.

– Я очень рад, – говорит Ват, – потому что... потому что я имею невыразимое желание короче ознакомиться с здешними прекрасными окрестностями.

Взоры Вата случайно встречаются с Розой; Роза потупляет свои глазки и при этом очень покраснелась. Но, по старинному поверью, должны бы, кажется, разгореться ее ушки, а не свеженькие пухленькие щечки, потому что в эту минуту горничная миледи говорит о ней с величайшей энергией.

Горничная миледи – француженка, тридцати-двух лет, родом из южных провинций, лежащих между Авиньоном и Марселем, большеглазая, смуглолицая женщина, с черными волосами. Она была бы хороша собой, если б не этот кошачий ротик и всегдашняя неприятная натянутость лица, от которой челюсти очерчивались слишком резко и лоб казался слишком выступающим. Во всем ее анатомическом составе было что-то неопределенно острое и болезненное; она имела замечательную способность смотреть во все стороны, не поворачивая головы, а это придавало ее наружности еще более неприятный вид, особенно когда была она не в духе и поблизости ножей. Несмотря на вкус в ее одежде и во всех ее скромных украшениях, эти особенности придавали ее наружности такое выражение, что ее можно бы назвать очень чистенькой, но не совсем еще ручной волчицей. Кроме совершенства во всех сведениях, приличных ее званию, она, обладая совершенным знанием английского языка, была настоящая

англичанка и вследствие этого нисколько не затруднялась в выборе слов для описания Розы, обратившей на себя внимание миледи. Она произносит эти слова, сидя за обедом, с такой быстротой и с такой язвительностью, что ее собеседник, преданный камердинер милорда, чувствует некоторое облегчение, когда она подносит ложку ко рту.

Ха, ха, ха! Ее, Гортензию, которая служит миледи более пяти лет, всегда держали в отдалении, а эту куклу, эту дрянь ласкают... решительно ласкают! и когда еще? едва только миледи воротилась домой!.. Ха, ха, ха! Ей говорят: «Знаешь ли, дитя мое, что ты очень хороша собою?» «Нет, миледи». – Ну, конечно, где ей знать! – «Сколько тебе лет, дитя мое? Берегись, чтоб лесь не испортила тебя!» О, как это забавно, это отлично хорошо.

Короче сказать, это так отлично хорошо, что мадемуазель Гортензия не может позабыть. Это до такой степени забавно, что несколько дней сряду, за обедом, даже в присутствии своих соотечественниц и прочих лиц, занимающих одинаковую с ней должность у собравшихся гостей, она безмолвно предается удовольствию насмешки, – удовольствию, которое выражается еще большею натянутостью лица, растянутостью тонких сжатых губ и косвенными взглядами. Это неподражаемое расположение духа часто отражается в зеркалах миледи, – разумеется, когда сама миледи не смотрит в них.

Все зеркала в доме приведены в действие, – многие из них даже после продолжительного отдыха. Они отражают хорошенькие лица, улыбающиеся лица, молоденькие лица и лица старческие, которые ни под каким видом не хотят покориться старости. Словом, во всех зеркалах отражается полная коллекция различных лиц, прибывших провести неделю или две января в Чесни-Волд, и за которыми фешенебельная газета следит, как гончая собака с хорошим чутьем; она следит за ними от представления их к Сент-Джемскому Двору до перехода в вечность. Линкольнширское поместье ожило. Днем раздаются в лесах ружейные выстрелы и громкие голоса; наездники и экипажи оживляют аллеи парка; лакеи и всякого рода челядь наполняют деревню и деревенскую гостиницу. Ночью, сквозь длинные просеки, виднеется ряд окон длинной гостиной (где над камином висит портрет миледи); он кажется рядом алмазов в черной оправе.

Блистательный и избранный круг включает в себе неограниченный запас образования, ума, храбрости, благородства, красоты и добродетели. Но, несмотря на все эти преимущества, в нем есть и маленький недостаток. Какой же этот недостаток?

Неужели дендизм? Теперь уже нет более (и о, какая жалость!) знаменитого Джоржа, этого колонновожатого всех денди; нет уже более белых, как снег, и накрахмаленных, как камень, галстуков, нет фраков с коротенькими талиями, нет фальшивых икр, нет шнуровок. Теперь уже нет тех изнеженных денди, того или другого вида, которые в театральных ложах падали в обморок от избытка восторга, и которых другие, точно такие же нежные создания приводили в чувство, подсовывая под нос длинногорлые флаконы со спиртом. Нет тех щеголей, которые употребляют четверых лакеев, для того, чтоб натянуть лосину, – которые с удовольствием смотрят на казнь, но переносят угрызение совести за то, что проглотили горошину. Неужели в этом блистательном и избранном кругу существует дендизм, – дендизм, имеющий более зловредное направление, – дендизм, который опустился ниже своего уровня, который занимается более невинными предметами, чем крахмаление галстуков и перетяжка талий, препятствующая свободному пищеварению, – дендизм, который в большей или меньшей степени прививается к людям здравомыслящим?

Да, существует. Его невозможно скрыть. В течение этой январской недели в Чесни-Волд некоторые леди и джентльмены новейшего фешенебельного тона обнаружили решительный дендизм, в различных случаях. Эти джентльмены и леди, по свойственной им неспособности находить приятные развлечения, решились открыть маленькую беседу о том, что простой класс народа не имеет своего собственного убеждения, не имеет веры в обширном значении этого слова, как будто на убеждение простолюдина непременно должны действовать одни только

внешние чувства, как будто простолюдин тогда только убедится в фальшивой монете, когда из-под верхней ее оболочки будет проглядывать грубый металл!

В Чесни-Волд находятся леди и джентльмены другого фешенебельного тона, не столь нового, но очень элегантного, которые решились придавать блеск всему миру и держать под спудом все его грубые сущности, для которых каждый предмет должен иметь одну только прекрасную сторону, которые открыли не вечное движение, но вечную остановку к развитию всего прекрасного, которые сами не знают, чему нужно радоваться и о чем сокрушаться, которые не утруждают себя размышлениями, для которых все изящное должно прикрываться костюмами прошедших поколений, должно поставить себе в неприменную обязанность оставаться неподвижно на одном месте и отнюдь не принимать впечатлений текущего столетия.

Там, например, находится милорд Будл, человек с значительным весом в своей партии, человек, которому известно, что значит официальная должность, и который с большою важностью сообщает сэру Лейстеру Дэдлоку, после обеда, что он решительно не может постичь, к чему стремится нынешний век. Парламентские прения в нынешние времена не то, что бывало в старину; Нижний Парламент совсем не то, что прежде, и даже самый Кабинет совсем не то, чем бы ему следовало быть. С крайним изумлением он замечает, что, допустив падение нынешнего министерства, выбор правительства падет непременно или на лорда Кудля, или на сэра Томаса Дудля, но падет, конечно, в таком случае, если герцог Фудль не будет действовать заодно с Гудлем; а такое предположение можно допустить вследствие разрыва между этими джентльменами по поводу несчастного происшествия с Джудлем. С другой стороны, поручив Министерство Внутренних Дел и Управление Нижним Парламентом Джудлю, Министерство Финансов Нудлю, управление колониями Лудлю, а иностранными Мудлю, что вы станете делать тогда с Нудлем? Нельзя же вам будет предложить ему место председателя в Совете: это место приготовлено уже для Нудля. Нельзя его назначить управляющим государственными лесами: эта обязанность более всего прилична Будлю. Что же из этого следует? Из этого следует, что отечество наше претерпевает крушение, гибнет, распадается на части (что совершенно очевидно для патриотизма сэра Лейстера Дэдлока), потому что никто не может предоставить значительного места Нудлю!

Между тем высокопочтеннейший член Парламента Вильям Буффи держит через стол горячее прение с другим высокопочтеннейшим джентльменом, что совершенное падение отечества – в чем уже нет никакого сомнения, хотя еще об этом только говорят – должно приписать распоряжениям Куффи. Если б поступили с Куффи, как бы следовало поступить с ним при самом его вступлении в Парламент, если б не позволили ему перейти на сторону Дуффи, тогда бы невольным образом принудили его соединиться с Фуффи, имели бы в нем сильного оратора в защиту Гуффи, приобрели бы при выборах влияние богатства Джуффи и завлекли бы в эти выборы представителей трех графств – Куффи, Луффи и Муффи; в добавок к этому вы бы упрочили административную часть государства официальными сведениями и деятельностью Пуффи. И все это зависит, как нам известно, от одного только каприза Пуффи!

Различие мнений обнаруживается не только в этом, но и в других, менее важных предметах; а между тем для блистательного и образованного круга совершенно ясно, что это различие мнений проистекает единственно из защиты Будля и его партии, из нападения на Буффи и его партию. Эти два лица представляют собою двух великих актеров, которым предоставлена обширная сцена. Без сомнения, кроме них были и другие особы, но о них упоминалось случайно, как о лицах замечательных, но сверхкомплектных, которым суждено было разыгрывать роли второстепенные, закулисные; на сцене же кроме Будля и Буффи с их последователями, семействами, наследниками, душеприказчиками, распорядителями и учредителями, кроме этих первоклассных актеров, этих колонновожатых своих партий, отнюдь никто не смел появляться.

Вот в этом-то, быть может, находится столько дендизма в Чесни-Волд, сколько блистательный и просвещенный круг не отыщет на всем своем протяжении. За пределами самых тихих и самых деликатных кружков, точь-в-точь, как за кругом некроманта, которым он очерчивает себя, являются в быстрой последовательности фантастические видения, – с тою только разницею, что здесь являются не призраки, но действительность, и потому можно опасаться за нарушение пределов круга.

Как бы то ни было, Чесни-Волд битком набит, так набит, что в груди каждой из приехавших горничных вспыхивает пламя оскорбленного самолюбия, потушить которое нет никакой возможности. Одна только комната пуста. Эта комната, из третьеклассных, впрочем, устроена на башне, просто, не комфортабельно меблирована и имеет какой-то старинный деловой вид. Эта комната принадлежит мистеру Толкинхорну; никто другой не смеет занять ее, потому что мистер Толкинхорн может приехать совершенно неожиданно и имеет право приезжать во всякое время. Однако, он еще не приехал. У него скромная привычка пройти, разумеется, в хорошую погоду пешком от самой деревни по всему парку, и так тихо пробраться в эту комнату, как будто он никогда не выходил из нее, попросить человека, чтобы он доложил сэру Лейстеру о его приезде, на тот конец, что, быть может, его желают уже видеть, и наконец явиться за десять минут до обеда в тени дверей библиотеки. Мистер Толкинхорн спит в своей башенке, с скрипучим флюгером над головой; вокруг башни расстилается свинцовая крыша, на которой, в ясное утро, можно видеть его гуляющим перед завтраком, как какого-нибудь ворона крупной породы.

Каждый день перед обедом миледи поглядывает в дверь библиотеки, покрытую вечерним сумраком, и не видит там мистера Толкинхорна. Каждый день за обедом миледи поглядывает, нет ли пустого места за столом, которое мистер Толкинхорн мог бы занять немедленно по своем приезде; но пустого места не видать. Каждый вечер миледи как будто случайно спрашивает горничную:

– Не приехал ли мистер Толкинхорн?

И каждый вечер миледи получает неизменный ответ:

– Нет еще, миледи, не приехал.

Однажды вечером, распустив свои волосы, миледи, после обычного ответа своей горничной, углубляется в размышления, – как вдруг, в противоположном зеркале, видит свое задумчивое личико и подле него пару черных глаз, наблюдающих за ней со вниманием и любопытством.

– Будь так добра, – говорит миледи, обращаясь к отражению лица Гортензии, – займись своим делом. Ты можешь любоваться своей красотой в другое время.

– Простите, миледи! Я любовалась вашей красотой.

– Напрасно, – говорит миледи, – это вовсе не твое дело.

Наконец, однажды вечером, незадолго до захождения солнца, когда яркие группы фигур, часа два оживлявшие Площадку Замогильного Призрака, рассеялись и на террасе остались только сэр Лейстер и миледи, мистер Толкинхорн является. Он подходит к ним своим обычным методическим шагом, который не бывает у него ни скорее, ни медленнее. На нем надета его обыкновенная, ничего не выражающая маска – если только это маска – и в каждом члене его тела, в каждой складке его платья он носит фамильные тайны. Предан ли он всей душой своим великим клиентам, или только считает их за людей, которым продает свои услуги, это его собственная тайна. Он хранит ее, как хранит тайны своих клиентов; в этом отношении он считает и себя своим клиентом и уж, разумеется, ни под каким видом не изменит себе.

– Как ваше здоровье, мистер Толкинхорн? – говорит сэр Лейстер, протягивая ему руку.

Мистер Толкинхорн совершенно здоров. Сэр Лейстер тоже совершенно здоров и миледи также совершенно здорова. Все остаются как нельзя более довольны. Адвокат, закинув руки назад, прогуливается по террасе подле сэра Лейстера с одной стороны; миледи идет с другой.

– Мы ждали вас раньше, – замечает сэр Лейстер.

Замечание в высшей степени милостивое. Другими словами, это значит: «Мы помним, мистер Толкинхорн, о вашем существовании даже и в то время, когда вы не напоминаете о нем своим присутствием. Заметьте, сэр, мы и на это уделяем частичку наших мыслей».

Мистер Толкинхорн, вполне понимая это, делает низкий поклон и говорит, что он премного обязан.

– Я бы раньше приехал, – объясняет он, – если б меня не задержали разные дела по вашей тяжбе с Бойторном.

– Это человек с весьма дурно направленным умом, – с некоторою суровостью замечает сэр Лейстер, – в высшей степени опасный человек для всякого общества... человек с весьма низким характером.

– Он очень упрям, – говорит мистер Толкинхорн.

– В таком человеке эта черта весьма натуральна, – возражает сэр Дэдлок, – а между тем сам оказывается упрямейшим человеком. – Слышать такой отзыв о нем для меня вовсе не удивительно.

– Дело остановилось на том теперь, – продолжает адвокат, – согласны ли вы сделать какую-нибудь уступку?

– Нет, сэр, – отвечает сэр Лейстер, – ни на волос. Чтобы я сделал уступку?

– Я не говорю какую-нибудь важную уступку... этого, без сомнения, вы не позволите себе. Я подразумеваю под этим совершенную безделицу.

– Позвольте вам сказать, мистер Толкинхорн, – возражает сэр Лейстер, – между мной и мистером Бойторном не может быть безделиц. Мало этого: я должен заметить вам, что мне трудно представить себе, каким образом какое-нибудь из моих прав можно считать за безделицу. Я говорю это не столько относительно моей личности, сколько относительно той фамилии, поддерживать и охранять достоинство которой лежит исключительно на мне.

Мистер Толкинхорн вторично делает низкий поклон.

– Теперь я имею по крайней мере руководство к дальнейшему действию, – говорит он. – Боюсь, однако, что мистер Бойторн наделает нам много хлопот...

– Делать хлопоты, мистер Толкинхорн, в характере таких людей, – прерывает сэр Лейстер. – Я уже сказал вам, что это в высшей степени безнравственный, низкий человек, – человек, которого, лет пятьдесят тому назад, непременно бы посадили в тюрьму уголовных преступников за какое-нибудь разбойничье дело и показали бы жестоким образом... если б, – прибавляет сэр Лейстер после минутного молчания, – если б только не повесили, не колесовали, не четверговали его.

Сэр Лейстер, высказав такой жестокий приговор, по-видимому, сбросил с груди своей тяжелый камень; казалось, ему было бы еще легче и приятнее, если б приговор этот можно было привести в исполнение.

– Однако, начинает темнеть, – говорит он, – и миледи, пожалуй, простудится. Душа моя, войдем в комнаты.

В то время, как они подходят к двери приемной залы, леди Дэдлок в первый раз обращается к своему адвокату.

– Вы писали мне несколько строчек касательно лица, о почерке которого я когда-то спрашивала вас. Только вы одни могли припомнить это обстоятельство; сама я совершенно забыла об этом. Ваше письмо напомнило мне снова. Не могу представить себе причины, по которой обратила внимание на этот почерк, но уверена, что тут должна скрываться какая-нибудь причина.

– Вы уверены, миледи? – повторяет мистер Толкинхорн.

– О, да! – рассеянно повторяет миледи. – Я думаю, что это случилось не без причины. И вы приняли на себя труд отыскать человека, который переписывал эту бумагу... позвольте, как она называется по-вашему... клятвенное показание?

– Точно так, миледи.

– Как это странно!

Они входят в мрачную столовую в нижнем этаже, освещаемую днем двумя глубокими окнами. Наступили сумерки. Каминный огонь ярко играет на дубовой стене и бледно отражается в окнах, за которыми, сквозь холодное отражение пламени, видно, как вся окрестность будто дрожит, объята холодным ветром, и серый туман, как одинокий путник, за исключением несущихся по небу облаков, ползет по полям и прогалинам парка.

Миледи опускается в кресло, стоящее в стороне от камина; сэр Лейстер занимает другое кресло, против миледи. Адвокат становится против камина, прикрывая лицо рукой, протянутой во всю длину. Из-за руки он наблюдает за миледи.

– Да, – сказал он, – я спрашивал об этом человеке и наконец нашел его. И как странно я нашел его...

– Неужели человеком, с которым бы неприятно было встретиться? – рассеянно и лениво замечает миледи.

– Я нашел его мертвым.

– О, Боже мой! – воскликнул сэр Лейстер.

Его не столько изумило открытие мистера Толкинхорна, сколько обстоятельство, что об этом открытии говорят в его присутствии.

– Мне указали его квартиру – жалкое место, где каждый предмет носил отпечаток нищеты; в этой квартире я нашел его мертвым.

– Вы извините меня, мистер Толкинхорн, – замечает сэр Лейстер, – но чем меньше будет сказано об этом...

– Ах, нет, сэр Лейстер, дайте мне до конца выслушать эту историю, – говорит миледи, – она как нельзя лучше соответствует сумеркам. О, как ужасно! И вы нашли его мертвым?

Мистер Толкинхорн подтверждает слова миледи низким поклоном и говорит:

– Умер ли он от своей собственной руки...

– Клянусь честью! – восклицает сэр Лейстер. – В самом деле, но...

– Позвольте мне выслушать историю, – возражает миледи.

– Если ты желаешь, душа моя. Но все же я должен сказать...

– Вам ничего не должно говорить!.. Продолжайте, мистер Толкинхорн.

Сэр Лейстер, как учтивый кавалер, должен уступить, хотя он все еще чувствует, что говорить такую нелепость в кругу людей высокого сословия, как вам угодно...

– Я хотел сказать, – продолжает адвокат с невозмутимым спокойствием, – умер ли он от своей руки, или нет, этого я не в силах объяснить, – но, во всяком случае, могу утвердительно сказать, что причиной смерти был собственный его поступок; умышленный ли был его поступок, или нет, это не только мне, но и никому неизвестно. Следственный судья решил, однако, что яд был принят случайно.

– Какого же рода человек был это несчастное создание? – спрашивает миледи.

– Весьма трудно сказать, – отвечает адвокат, мотая головой, – он жил в такой бедности, в такой небрежности, цвет лица его был до такой степени цыганский, волосы и борода его были так всклокочены, что, право, я должен считать его из самых последних простолюдинов за самого последнего. Доктор говорил, однако, что некогда он похож был на порядочного человека, как по манерам, так и по платью.

– Как звали этого несчастного?

– Его звали так, как он прозвал себя; но никто не знал его настоящего имени.

– Неужели не знали и те, кто находился при нем во время болезни?

– При нем никого не находилось. Он найден был мертвым. Вернее сказать, я нашел его мертвым...

– Без всякого следа узнать что-нибудь больше?

– Без всякого. Был там старый чемодан, – говорит адвокат задумчиво, – но... нет, в нем не было никаких бумаг.

Произнося каждое слово этого короткого разговора, леди Дэдлок и мистер Толкинхорн, без малейшего изменения в своей наружности, пристально смотрели друг на друга. Быть может это было весьма натурально при рассказе о таком необыкновенном происшествии. Сэр Лейстер смотрел на огонь с выражением одного из Дэдлоков, которого портрет стоял на лестнице. С окончанием рассказа, он возобновляет свой протест говоря, что для него совершенно ясно, что миледи не имеет никакой причины знать этого несчастного (разве потому только, что он писал просительные письма), и надеется не слышать более о предмете, ни под каким видом не соответствующем положению миледи.

– Конечно, это можно назвать стечением ужасов, – говорит миледи, подбирая полы своего платья, – но они могут заинтересовать на минуту. Сделайте одолжение, мистер Толкинхорн, отворите мне дверь.

Мистер Толкинхорн исполняет это с почтительностью и держит дверь открытою, пока проходит миледи. Она проходит мимо него с обычной усталостью во всех ее движениях и с выражением холодной благодарности. Они снова встречаются за обедом, встречаются снова на другой день, встречаются снова в течение многих последовательных дней. Леди Дэдлок по-прежнему все та же истомленная богиня, окруженная поклонниками, ужасно склонная умереть от скуки, несмотря на блеск, который окружает ее. Мистер Толкинхорн по-прежнему все тот же безмолвный хранитель благородных тайн. Очень заметно, что он не на своем месте, но в то же время совершенно как у себя дома. Они, по-видимому, так мало обращают внимания друг на друга, как всякие другие два лица, встретившиеся из разных мест в одном и том же доме. Но наблюдают ли они друг за другом, подозревают ли они друг в друге какую-нибудь тайну, приготовились ли они сделать нападение друг на друга и никогда не допустить нападения врасплох, и сколько бы дал каждый из них, чтобы узнать сокровенные тайны своего противника, – все это скрыто на некоторое время в глубине их сердец.

ХІІІ. Рассказ Эсфири



Мы уже держали множество совещаний насчет будущей карьеры Ричарда, сначала одни, без мистера Джорндиса, как Ричард желал, а впоследствии с ним вместе; но все наши совещания долгое время не подвигались вперед. Ричард говорил, что он готов на все. Когда мистер Джорндис выражал свои сомнения насчет того, не прошли ли лета Ричарда для поступления его в морскую службу, Ричард говорил, что он сам думал об этом и полагал, что было уже поздно пуститься на это поприще. Когда мистер Джорндис спрашивал его мнения насчет военной службы, Ричард говорил, что он думал также и об этом, и что эта идея очень недурна. Когда мистер Джорндис советовал ему подумать и решить без посторонних, было ли в нем пристрастие к морю одною только обыкновенною ребяческою склонностью, или сильным влечением, Ричард отвечал, что он уже не раз серьезно раздумывал об этом, но решительно ничего не придумал.

— Не умею сказать, — говорил мне мистер Джорндис, — до какой степени эта нерешительность в характере обязана какой-то неизвестности и отлагательству, которым обречен он был с самого рождения. Я могу утвердительно сказать, что Верховный Суд, при множестве своих грехов, должен отвечать и за этот. Он развил в нем привычку откладывать всякое дело и надеяться

на решение его при более удобном случае, вовсе не зная, когда и какой представится случай, и таким образом оставлять все начатое неконченным, неопределенным, затемненным. Характеры более взрослых и степенных людей часто меняются окружающими обстоятельствами. Невозможно же было ожидать, чтобы характер мальчика, подвергаясь в развитии своему такому сильному влиянию, не изменился к худшему.

Я чувствовала всю справедливость этих слов, хотя, если позволено мне будет выразить свое мнение, мне казалось, что надо было много сожалеть о том, что воспитание Ричарда нисколько не противодействовало влиянию обстоятельств и не служило к правильному развитию характера. Ричард восемь лет провел в школе и учился, сколько я понимаю, писать латинские стихи всех родов и размеров и старался достичь в этом искусстве совершенства. Но я никогда не слышала, чтобы кому-либо из его наставников вздумалось узнать, в чем заключается его врожденные наклонности, в чем состоят его недостатки и какого рода лучше всего сообщить ему познания. Он с таким прилежанием занимался стихосложением и достиг этого искусства до такого совершенства, что если бы остался в школе до совершеннолетия, то, мне кажется, только бы и занимался стихами и в заключение кончил бы свое воспитание забвением всех правил стихотворства. Хотя я не сомневаюсь, что его стихи были прекрасные, поучительные, очень полезные для множества жизненных целей и легко сохраняемые в памяти в течение всей жизни; но все же, мне кажется, было бы гораздо полезнее для Ричарда заняться немного чем-нибудь дельным, нежели слишком много одними латинскими стихами.

Впрочем, я очень мало понимала в этом предмете и даже теперь не знаю, занимались ли молодые люди классического Рима или Греции стихосложением в таких огромных размерах, в каких занимаются этим молодые люди нынешнего века.

– Решительно не могу придумать, за что мне приняться, – говорил Ричард, задумчиво. – В одном только я уверен, что к духовному званию я совершенно не способен.

– Не имеешь ли ты склонности к занятиям мистера Кенджа? – намекнул мистер Джорндис.

– Не знаю, сэр, – отвечал Ричард. – Впрочем, катание на лодках мне очень нравится, а присяжные писцы очень часто проводят время на воде. Это славная профессия!

– А насчет докторского поприща? – намекнул мистер Джорндис.

– Вот это так дело! – вскричал Ричард.

Мне кажется, что Ричард еще ни разу не подумал об этом.

– Вот это дело! – повторил Ричард, с величайшим энтузиазмом. – Наконец-то мы добились дела! Как это чудесно! Я стану называться членом Королевского Медицинского Общества!

Над его восклицаниями никто не смеялся, хотя он сам хохотал над ними от всего сердца. Он говорил, что выбрал наконец профессию, и чем более думал о ней, тем более убеждался, что судьба его решена: наука врачевания была в его понятии наукой всех других наук. Я полагала, что он пришел к такому заключению потому только, что никогда не имел случая подумать хорошенько, к чему именно способен он, и что, ухватясь за эту самую новенькую для него идею, он радовался, что навсегда отделается от необходимости думать и раздумывать о выборе карьеры. Я старалась угадать, послужили ли такому выбору латинские стихи, или это уже само собой должно было случиться.

Мистер Джорндис употребил много труда, чтобы серьезно переговорить с Ричардом об этом и убедиться, не обманывается ли Ричард в таком важном предприятии. Обыкновенно после этих совещаний Ричард становился несколько серьезнее, но, сказав Аде и мне, что «дело устроено чудесно», начинал говорить о чем-нибудь другом.

– Клянусь небом! – вскричал мистер Бойторн, сильно заинтересованный этим предметом. (Впрочем, мне бы не следовало и говорить об этом, потому что мистер Бойторн ни в какие дела не вмешивался слабо): – клянусь небом, я в восторге, что молодой человек с таким

рвением посвящает себя этому благородному призванию! А что касается до корпораций, приходских и других общин, этих сходбищ пустоголовых олухов, которые собираются нарочно затем, чтоб разменяться такими спичами, за которые – клянусь небом! – их всех поголовно следовало бы присудить к ссылке на весь остаток их ничтожной жизни в ртутные рудники, и тем отвратить заразу, которую прививают они к нашему родному наречию; в вознаграждение же тех неоцененных услуг, которые молодые люди оказывают нам, употребляя лучшую часть своей жизни на близкое изучение предмета, на продолжительные занятия, подвергая себя всевозможным лишениям, получая скудное содержание, которого бы недостаточно было к существованию какого-нибудь адвокатского писца, я бы поставил за правило готовить из каждого члена корпорации анатомические препараты, собственно для того, чтобы молодые люди изучали на практике, до какой степени может растолстеть пустая голова.

В заключение такого пылкого объяснения, мистер Бойторн окинул нас взглядом с приятной улыбкой и потом вдруг загремел своим оглушительным «Ха, ха, ха!» раскаты которого продолжались, конечно, с умыслом, до тех пор, пока мы сами не присоединились к этому чисто-сердечному смеху.

Так как Ричард после неоднократных отсрочек, даваемых ему мистером Джорндисом на размышление, все еще продолжал говорить, что он решительно выбрал для себя карьеру, и так как он все еще продолжал уверять Аду и меня, что «дело устроено чудесно», то решено было пригласить на общее и окончательное совещание мистера Кенджа. Вследствие этого, мистер Кендж прибыл в один прекрасный день к обеду, уселся в покойное кресло, вертел футляр изпод очков между пальцами, говорил звучным голосом и вообще действовал совершенно так, как действовал, сколько мне помнится, в то время, когда я впервые увидела его, будучи еще маленькой девочкой.

– Конечно, конечно! – говорил мистер Кендж. – Да, прекрасно! Весьма хорошая профессия, мистер Джорндис, отличная профессия!

– Курс наук и практические приготовления требуют прилежных занятий, – замечал мой опекун, бросая взгляд на Ричарда.

– Без сомнения, – говорил мистер Кендж, – это требует большого прилежания.

– Впрочем, это более или менее составляет главное условие при избрании всякого рода профессии, – говорил мистер Джорндис. – Я не знаю до какой степени можно уклониться от этого условия при всяком другом выборе.

– Совершенно справедливо, – сказал мистер Кендж, – и мистер Ричард Карстон, который так похвально выказал себя на поприще, если можно так выразиться, классических наук, под сению которых протекла его счастливая юность, без сомнения, применит привычки, если не самые правила и практические упражнения стихосложения того языка, на котором, где было сказано, если я не ошибаюсь, поэты не образуются, но рождаются, – без сомнения, он применит все это к возделыванию в высшей степени практического поля действия, на которое вступает.

– Вы вполне можете положиться, сэр, – сказал Ричард, с всегдашнею беспечною, – что я охотно вступаю в это поприще и готов употребить на нем все свои старания и усилия.

– Очень хорошо, мистер Джорндис! – сказал мистер Кендж, плавно кивая головой. – Если мистер Ричард Карстон уверяет нас, что вступает на этом поприще охотно и с готовностью употребить на нем все свои старания и усилия (еще плавней кивая головой и сопровождая каждое слово плавными размахами руки), я должен представить вам на вид, что нам остается только рассмотреть, каким образом лучше всего достичь желаемой цели. И, во-первых, нам следует принять в соображение поручение мистера Ричарда руководству сведущего и опытного врача. Есть ли у вас в настоящее время кто-нибудь в виду?

– Кажется, никого нет, Рик? – сказал опекун.

– Никого, сэр, – отвечал Ричард.

– Совершенно так! – заметил мистер Кендж. – Во-вторых, касательно содержания молодого человека – не встречается ли с этой стороны ощутительного препятствия?

– Нет, нет, нет! – отвечал Ричард.

– Совершенно так! – повторил мистер Кендж.

– Я бы желал иметь некоторое разнообразие, – сказал Ричард, – желал бы приобрести некоторую опытность и в других отношениях...

– Без сомнения, это весьма необходимо, – возразил мистер Кендж. – Я думаю, мистер Джорндис, все это нам нетрудно устроить? Нам остается только, во-первых, отыскать в достаточной степени искусного врача, и как скоро мы успеем в этом, смею прибавить, как скоро будем мы в состоянии заплатить известное вознаграждение, единственное затруднение будет заключаться в выборе именно одного врача из множества. Во-вторых, нам следует соблюсти те небольшие формальности, которые окажутся необходимыми как в отношении к нашему возрасту, так и в отношении к опеке Верховного Суда; и тогда мы в непродолжительном времени – позвольте здесь употребить чистосердечное выражение мистера Ричарда – «вступим на поприще» к общему нашему удовольствию. Должно приписать стечению обстоятельств, – сказал мистер Кендж с оттенком меланхолии в улыбке, – одному из тех стечений обстоятельств, которые пожалуй и не требуют особенных объяснений, принимая в расчет ограниченность умственных дарований человека, – должно приписать стечению особенных обстоятельств, что у меня есть кузен, который занимается искусством врачевания. Может статься, вы примете его за искусного и опытного врача; может и то статься, что он как нельзя лучше будет соответствовать этому предположению. Я также мало могу ручаться за него, как и за вас, но все же скажу – может статься!

Так как это совещание было первым приступом к открытию карьеры, то решено было, что мистер Кендж повидается и поговорит с своим кузеном. А так как мистер Джорндис давно уже обещал свезти нас в Лондон на несколько недель, то на другой же день положено было предпринять эту поездку и вместе с тем решить дело Ричарда.

Мистер Бойторн уехал от нас через неделю. Мы совершили путь и расположились в хорошенькой квартирке близ Оксфордской улицы над лавкой обойщика. Лондон был для нас великим чудом, и мы проводили целые часы, любясь его диковинками, которых было так много, что они казались нам неистощимыми. Мы посетили главные театры и с наслаждением смотрели все те пьесы, которые стоило смотреть. Я упоминаю об этом потому, что в театре мистер Гуппи снова начал беспокоить меня.

Однажды вечером я и Ада сидели впереди ложи, а Ричард занимал любимое свое место – за стулом Ады. Взглянув случайно в партер, я увидела, что мистер Гуппи, с растрепанными волосами и с выражением глубокой горести на лице, смотрел на меня. В продолжение всего представления, я чувствовала, что он смотрел не на сцену и актеров, а на нашу ложу и меня, и смотрел с рассчитанным выражением глубокой грусти и глубочайшего отчаяния.

Это обстоятельство совершенно испортило мое удовольствие в тот вечер; оно приводило меня в замешательство и было очень, очень забавно. С этого раза мы никогда не приезжали в театр без того, чтобы не увидеть в партере мистера Гуппи, с растрепанными волосами, с отложенными воротничками и с унынием в лице. Во время нашего прихода в ложу, если его не оказывалось в партере, я начинала уже надеяться, что он не придет, и заранее восхищалась на некоторое время представлением, но, взглянув в сторону, совершенно неожиданно встречалась с его унылыми до глупости взорами, и с той минуты была уверена, что эти взоры следили за мной в продолжение всего вечера.

Я не могу выразить, до какой степени меня это беспокоило. Если б он причесал волосы и поднял бы кверху свои воротнички, это было бы только смешно; но полная уверенность, что это глупое создание не спускает с меня глаз, ни на минуту не изменяет своего бессмысленного выражения в лице, производила на меня такое неприятное впечатление, что я не могла

смеяться при самых комических сценах, не могла плакать при самых трогательных, не могла пошевелиться, не могла говорить; словом сказать, я была морально связана. Избегнуть наблюдений мистера Гуппи, переменив место и удаляясь в глубину ложи – я не могла этого сделать: я знала, что Ричард и Ада были уверены, что я стану сидеть подле них, и что они не могли бы так свободно беседовать друг с другом, если б подле них сидела не я, а кто-нибудь другой. Поэтому я оставалась на своем месте, решительно не зная, куда мне смотреть, потому что куда бы я ни взглянула, я знала, этот взор мистера Гуппи следит за мной; да к тому же мне больно было подумать, что этот молодой человек собственно для меня, а не для удовольствия, обрекал себя страшным издержкам.

Иногда я думала сказать об этом мистеру Джорндису и в то же время боялась, что молодой человек потеряет место, и что я буду причиной его несчастья; иногда думала доверить это Ричарду, но боялась, что он раздерется и пододымет глаза мистеру Гуппи; иногда думала сердито посмотреть на него или строго покачать головой, но чувствовала, что этого мне не сделать; иногда я намеревалась написать его матери, но это обыкновенно кончалось убеждением, что начать переписку было бы гораздо хуже: так что я всегда приходила к заключению, что ничего не могу сделать. Настойчивость мистера Гуппи заставляла его не только следить за нами когда мы отправлялись в театр, но встречать нас в толпе народа, при нашем выходе, и даже становиться на запятки нашей кареты; и я действительно видела его раза два или три, как он претерпевал там мучения от ужасных гвоздей. Когда мы приезжали домой, он прислонился к фонарному столбу против нашего дома. Дом обойщика, где мы квартировали, расположен был на углу, и окно моей спальни приходилось как раз против фонарного столба. Вечером я не решалась подходить к этому окну, опасаясь увидеть мистера Гуппи (как это и случилось в одну лунную ночь), прислонившегося к столбу и подвергавшего себя опасности схватить сильную простуду. Если б мистер Гуппи, к моему несчастью, не имел в течение дня занятий, я бы решительно не имела от него покоя.

Пока мы предавались удовольствиям, в которых мистер Гуппи так странно участвовал, дело, которое привлекло нас в Лондон, подвигалось вперед своим чередом. Кузен мистера Кенджа был некто мистер Бэйхам Баджер, имевший хорошую практику в Чельзи и, кроме того, в одном из больших городских лазаретов. Он изъявил совершенную готовность принять Ричарда в свой дом и следить за его занятиями; а так как казалось, что занятия эти под руководством мистера Баджера пойдут не без успеха, что мистер Баджер полюбил Ричарда, а Ричард полюбил мистера Баджера, то заключено было условие, получено согласие лорда-канцлера, и дело совершенно кончилось.

В тот день, когда Ричарду следовало явиться к мистеру Баджеру, мы все приглашены были к последнему на обед. В пригласительной записке миссис Баджер было сказано, что обед будет в строгом смысле семейный, – и действительно: мы не встретили ни одной леди, кроме самой миссис Баджер. Она окружена была в своей гостиной различными предметами, изобличающими, что миссис Баджер немножко рисует, немножко играет на фортепьяно, немножко играет на гитаре, немножко играет на арфе, немножко поет, немножко занимается рукодельем, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Я должна думать, что ей было лет пятьдесят, но одета она была как молоденькая девочка и имела нежный цвет лица. Если к маленькому списку всех ее достоинств я прибавлю, что она румянилась немножко, то, мне кажется, это нисколько не повредит делу.

Сам мистер Бэйхам Баджер был краснощекий, свежеликий, хрупкий на взгляд джентльмен, с слабым голосом, белыми зубами, белокурыми волосами, удивляющимися взорами и, в заключение, несколькими годами моложе миссис Бэйхам Баджер. Он чрезвычайно восхищался ею, и по весьма забавному поводу (так по крайней мере нам казалось) – что она имела уже третьего мужа. Когда мы заняли места, он мистер Баджер торжественно сказал мистеру Джорндису:

– Быть может, вы не поверите, что я уже третий супруг миссис Бэйхам Баджер.

– Неужели? – сказал мистер Джорндис.

– Да, третий! А ведь по наружности миссис Баджер нельзя поверить, мисс Sommerсон, чтобы эта леди имела уже двух супругов.

Я отвечала, что действительно нельзя поверить.

– И если б вы знали, какие это были замечательные люди! – сказал мистер Баджер сообщительным тоном. – Капитан королевского флота, смею сказать, знаменитый офицер. Имя профессора Динго, моего непосредственного предшественника, стяжало европейскую известность.

Миссис Баджер услышала это и улыбнулась.

– Да, душа моя! – сказал мистер Баджер, в ответ на эту улыбку, – я сообщил мистеру Джорндису и мисс Sommerсон, что ты уже была за двумя мужьями, и что оба мужа были люди знаменитые. Они находят, как и вообще все, кому я говорю об этом, что трудно поверить мне.

– Мне едва было двадцать лет, – сказала миссис Баджер, – когда я вышла за Своссера, капитана королевского флота. Я ходила с ним в Средиземное море, и теперь вы видите во мне настоящего моряка. Спустя двенадцать лет после дня нашего бракосочетания, я сделалась женой профессора Динго.

(...стяжавшего европейскую известность! – прибавил мистер Баджер вполголоса.)

– День, в который венчали меня с мистером Баджером, – продолжала миссис Баджер, – был днем моих предыдущих вступлений в замужество. К этому дню я питаю особенную привязанность...

– Так что миссис Баджер венчалась с тремя супругами – двое из них люди знаменитые, – сказал мистер Баджер, подтверждая факты, – аккуратно двадцать первого марта, в одиннадцать часов по полудни.

Мы все выразили удивление.

– Хотя я вполне уважаю скромность мистера Баджера, – сказал мистер Джорндис, – я решаюсь, однако же, поправить его выражение и сказать, что миссис Баджер выходила замуж не за двух, но за трех знаменитых людей.

– Благодарю вас, мистер Джорндис! Я сама всегда говорю ему об этом, – заметила миссис Баджер.

– Что же я говорю тебе на это, душа моя? – сказал мистер Баджер. – Нисколько не унижая этой известности, которую приобрел на медицинском поприще, и которую наш друг мистер Карстон будет иметь множество случаев оценить, я еще не до такой степени слабоумен (эти слова относились ко всем нам вообще), я еще не до такой степени безрассуден, чтобы ставит свою известность на одну параллель с известностью таких знаменитых людей, как капитан Своссер и профессор Динго. Быть может, вам интересно будет, мистер Джорндис, – продолжал мистер Бэйхам Баджер, провожая нас в гостиную, – взглянуть на портрет капитана Своссера. Портрет этот был написан, когда капитан возвратился в отечество после крейсерства у африканских берегов, где он страдал от туземной лихорадки. Миссис Баджер находит, что он очень желт. Но, несмотря на то, черты лица его очень правильные, – очень правильные.

Мы все в один голос отвечали: «Да, очень правильные!»

– Когда я смотрю на этот портрет, – сказал мистер Баджер, – то всегда говорю про себя: «Вот человек, на которого бы я желал постоянно смотреть». Это желание ясно показывает, какой знаменитый человек был этот капитан. На другую сторону, – портрет профессора Динго. Я знал его очень хорошо, я находился при нем в последние минуты его жизни: похож, как две капли воды, совершенно живой, – только что не говорит! Над фортепьяно вы видите портрет миссис Бэйхам Баджер, когда была она миссис Своссер. Над софой – миссис Бэйхам Баджер, когда называлась она миссис Динго. Обладая оригиналом миссис Баджер, я не считаю за нужное иметь с нее копию.

Когда провозгласили, что обед на столе, мы спустились вниз. Это был в своем роде маленький, но во всех отношениях прекрасный банкет, в течение которого капитан и профессор упорно оставались в голове мистера Баджера; а так как Ада и я находились под особенным его покровительством, то неизбежно должны были выслушивать все похвалы, щедро расточаемые на этих знаменитейших людей.

– Вам угодно воды, мисс Sommerсон? Позвольте, позвольте! Пожалуйста, не пейте из этого стакана. Джемс, принеси мне кубок профессора.

Ада очень восхищалась искусственными цветами под стеклянным колпаком.

– Удивительно, как долго они сохраняются! – сказал мистер Баджер. – Они подарены были миссис Бэйхам Баджер еще в ту пору, когда она плавала в Средиземном море.

Мистер Баджер предложил мистеру Джорндису выпить стакан кларета.

– Но только не этого кларета! – говорил он. – Нет, уж извините! Сегодня день особенный, а на всякий особенный случай я имею обыкновение почивать гостей особенным винцом. (Джемс, подай кларет Своссера.) Вот это вино, мистер Джорндис, привезено из-за границы капитаном Своссером, – уж и не умею вам сказать, как давно! Вы увидите, это чудо – не вино. Душа моя, мне приятно отведать этого винца с тобой вместе... (Джемс, подай кларет Своссера миссис Баджер.) За твое здоровье, душа моя!

После обеда, когда мы, дамы, удалились в гостиную, то взяли с собой и первых двух мужей миссис Баджер. Миссис Баджер представила нам биографический очерк жизни и службы капитана Своссера до его женитьбы и более подробную его историю с того дня, как он влюбился в нее во время бала на корабле «Криплер», данного офицерам того корабля на Плимутском рейде.

– Неоцененный мой старик «Криплер»! – говорила миссис Баджер, качая головой. – Это был благородный корабль. Чистенький, боевой, весь рангоут, как говаривал капитан Своссер, вытянут в струночку. Вы извините меня, если я употреблю морские выражения: ведь я была когда-то настоящим моряком. Капитан Своссер любил этот корабль, собственно, из-за меня. Когда его сдали к порту, покойник мой часто говаривал, что если б был богат, то непременно бы купил дряхлый его остов и велел бы сделать надпись на тех шканечных планках, где мы стояли с ним в паре контрданса, и где он чувствовал, как пролетали сквозь него продольные выстрелы из обоих бортов моей артиллерии: так он называл, по-своему, мои глаза.

Миссис Баджер покачала головой, вздохнула и взглянула в зеркало.

– Большая перемена была при переходе от капитана Своссера к профессору Динго, – продолжала миссис Баджер с плачевной улыбкой. – При самом начале я сильно ощущала эту перемену. В образе моей жизни это была настоящая революция. Но привычка в связи с наукой – в особенности с наукою, – принудила меня забыть эту перемену. Будучи единственным товарищем профессора в его ботанических исследованиях, я почти совсем забыла, что плавала когда-то по морям, и сделалась сама настоящая ученая. Замечательно, что профессор во всех отношениях точно так же не имел ни малейшего сходства с капитаном, как и мистер Баджер не имеет его с обоими ими.

Потом нам следовало выслушать печальное описание кончины капитана Своссера и кончины профессора Динго: оба они, как оказалось, одержимы были неизлечимыми недугами. Во время этого описания миссис Баджер заметила нам, что в жизни своей она была влюблена до безумия один только раз и что предмет этой бешеной страсти, которой никогда не возвратиться к ней со всей ее силой и пылкостью, был капитан Своссер. В то время, как профессор медленно умирал у нас под влиянием самых ужасных мучений, и когда миссис Баджер, подражая умирающему, с большим усилием произнесла: «Где же Лаура? Пусть Лаура подаст мне тост и воды», из столовой вошли джентльмены, и – профессор скончался.

Я заметила в этот вечер – впрочем, я заметила это в течение многих предшествовавших дней – что Ада и Ричард более, чем когда-либо находились друг подле друга; конечно, это

было весьма естественно, если взять в расчет близкую разлуку. И потому, когда мы приехали домой и когда Ада и я удалились в свою спальню, мне нисколько не удивительно было увидеть Аду молчаливее обыкновенного, и хотя я вовсе не была подготовлена, но меня нисколько не удивило, когда Ада бросилась в мои объятия и, спрятав на груди моей свое печальное личико, сказал:

– Моя милая Эсфирь! Я хочу открыть тебе большую тайну, – без сомнения, моя милочка, самую большую заветную тайну!

– Какую тайну, ангел мой?

– О, Эсфирь, тебе не отгадать ее!

– А если я попробую отгадать?

– О, нет! Нет! Ради Бога, не отгадывай! – воскликнула Ада, крайне испуганная одной мыслью, что я и в самом деле отгадаю.

– По крайней мере, до кого же касается эта тайна? – спросила я, притворяясь задумчивою.

– Это касается, – сказала Ада шепотом, – это касается... до кузена Ричарда.

– В чем же дело, моя душечка? – спросила я, целуя ее золотистые волосы. – Сквозь слезы я ничего не видела, кроме этих волос. – Скажи же, что такое?

– О, Эсфирь, тебе никогда не отгадать!

До такой степени было для меня приятно ощущение, когда Ада льнула ко мне и скрывала на груди моей свое личико, – до такой степени отраднo было для меня убеждение, что она плакала не от горести, но от избытка радости, счастья и надежды, что мне не хотелось помочь ей выйти так скоро из этого положения.

– Он говорит... впрочем, я знаю, это покажется тебе смешным: мы еще оба так молоды... но он говорит, – и Ада залилась слезами... он говорит, что пламенно любит меня.

– Неужели? – сказала я. – Я ничего подобного не слышала, но, моя душечка, я бы могла сказать тебе об этом недели четыре тому назад.

Как пленительно было смотреть на Аду, когда лицо ее в приятном изумлении покрывалось ярким румянцем, когда она крепко сжимала меня в своих объятиях и смеялась, и плакала, и бледнела, и вспыхивала, и снова смеялась, и снова плакала!

– Я не знаю, право, за кого ты, моя милочка, считала меня, – сказала я, – верно, за какую-нибудь глупенькую. А эта глупенькая знала, что Ричард любит тебя так пламенно, как только можно, уж я и не знаю, с которых пор.

– И ты ни слова не сказала мне! – вскричала Ада, целуя меня.

– Я ждала, когда мне самой скажут об этом.

– Но теперь я сказала тебе, и как ты думаешь: дурно это с моей стороны или нет? – возразила Ада.

Если б я была самая жестокая женщина из целого мира, то, быть может, нежными ласками своими она бы принудила меня сказать нет. Но, слава Богу, я не была жестокой, и потому без всякого принуждения сказала нет.

– Теперь, значит, я все знаю, – сказала я.

– О, нет, милая моя Эсфирь, это еще не все! – сказала Ада, обнимая меня крепче и снова скрывая свое личико у меня на груди.

– Еще не все? – сказала я. – Даже и это еще не все?

– Нет, нет, не все! – отвечала Ада, качая головкой.

– И ты не хотела открыть... – начала я в шутку. – Но Ада взглянула на меня и, улыбаясь сквозь слезы, сказала:

– Ах, нет, Эсфирь, я хотела открыть тебе все! Ты ведь знаешь, что я хотела! Я хотела открыть перед тобой всю мою душу!

Я, смеясь, сказала ей, что знала это точно так же, как знала и все другое. Потом мы сели к камину, и я предоставила себе право говорить одной; хотя с моей стороны сказано было очень немного, но я вскоре успокоила Аду и несколько развеселила.

– А как ты думаешь, хозяйюшка Дорден, знает об этом кузен Джон или нет? – спросила Ада.

– Если кузен Джон не слеп, – сказала я, – то должно полагать, что он знает об этом не меньше нашего.

– Нам надо переговорить с ним до разлуки с Ричардом, – сказала Ада робким голосом. – Посоветуй нам, душечка, как лучше сделать это. Ты не рассердишься, если Ричард войдет сюда?

– Неужели Ричард здесь... за дверями? – спросила я.

– Право, не знаю, – возразила Ада с наивным простодушием, которое одно бы пленило мое сердце, если б оно уже давным-давно не было пленено. – А может быть, и в самом деле, он не за дверями ли.

И в самом деле, он был за дверями. Ада и Ричард сели по обе стороны от меня и, по-видимому, были влюблены не друг в друга, но в меня: так были они доверчивы, внимательны и нежны ко мне. Сначала они вели себя по принятому между ними обыкновению. Я, впрочем, не останавливала их: я от чистого сердца любовалась ими и приходила в восторг; но мало-помалу мы углубились в размышление и рассуждение, о том, как молоды были они, сколько лет должно пройти, прежде чем осуществится их любовь, какими путями приведет она их к счастью, и станет ли она одушевлять их непоколебимую решимость исполнять обязанности друг к другу, станет ли она одушевлять их постоянством, твердостью и терпением. Ричард говорил, что он готов для Ады избить пальцы до костей, Ада обещала сделать то же самое для Ричарда. Они ласкали меня, называли меня самыми нежными именами, и, рассуждая и советуясь, мы просидели таким образом почти до самого рассвета. Наконец я обещала им в то же утро сообщить обо всем кузену Джону.

С наступившим утром я отправилась после завтрака к моему опекуну, в комнату, которая в Лондоне заменяла для нас Ворчальню Холодного Дома, и сказала ему, что хочу поговорить с ним по секрету.

– Я уверен, наша хозяйюшка, – сказал он, закрыв книгу, – я уверен, если ты намерена говорить со мной по секрету, то в этом нет ничего опасного?

– Я полагаю, что нет, – отвечала я, – и могу поручиться даже, что в моем секрете ничего нет секретного. Это случилось не дальше, как вчера.

– Вчера? Говори же скорее, Эсфирь, что это такое?

– Вы помните, – сказала я, – счастливый вечер, когда мы впервые явились в Холодный Дом? Помните, когда Ада пела в темной комнате?

Мне хотелось напомнить ему взгляд, который он тогда бросил на меня; и если не ошибаюсь, то желание мое исполнилось.

– Помните, еще когда... – сказала я, с небольшим замешательством.

– Да, да, помню, душа моя, – сказал он. – Пожалуйста, не торопись; говори спокойнее.

– Ну так я вам скажу, что Ада и Ричард влюблены друг в друга. Мало того: они уже признались в этом друг другу.

– Уже? – воскликнул опекун мой, сильно изумленный.

– Да, признались, – сказала я. – И – сказать ли вам правду, мой добрый опекун? – я этого давно ждала.

– Какая же польза из твоих ожиданий? – сказал он.

Минуты две он просидел задумавшись. На лице его беспрестанно играла его всегдашняя добрая и приятная улыбка. Потом он сказал, что желает видеть Ричарда и Аду. Когда они

пришли, он одной рукой обнял Аду с отеческой нежностью и обратился к Ричарду серьезным и в то же время ласковым тоном.

– Рик, – сказал он, – я рад, что приобрел твое доверие. Я надеюсь сохранить его. Представляя себе наши отношения, которые так прояснили мою жизнь и наделили ее новыми интересами и радостями, я в то же время представлял себе, заглядывая в будущее, возможность, что ты и твоя милая кузина (не пугайся, Ада, не конфузись, душа моя!) пойдете вместе по одной дороге в жизни. Я видел и вижу многие причины, по которым должно желать вашего союза. Но не забудь, Рик, я представлял себе это, заглядывая в будущее.

– Мы тоже, сэр, основываем наше счастье на будущем, – возразил Рик.

– Прекрасно! – сказал мистер Джорндис. – Это весьма благоразумно! Теперь, друзья мои, выслушайте меня. Я бы мог вам сказать, что вы еще не умеете вполне ценить своих душевных наклонностей; что, быть может, встретится множество обстоятельств, которые разлучат вас навеки; что цепь, сплетенная вами из цветов, может разорваться или обратиться в цепь свинцовую. Но я этого не сделаю. Если суждено этому случиться, то оно само собой случится очень скоро. Я хочу оставаться в том убеждении, что, спустя несколько лет, любовь ваша друг к другу не изменится. Все, что я, руководимый этим убеждением, хочу сказать вам, заключается в том, что если чувства ваши переменятся, если вы откроете, что и в зрелом возрасте вы друг для друга точно такие же кузены (особенно в твоей возмужалости, Рик! уж ты извини меня!), какими были в ребячестве, не стыдитесь быть откровенными со мной: в этом ничего не будет необычайного или чудовищного. Помните, что я для вас не больше, как добрый друг и дальний родственник. Помните, что я не имею над вами ни малейшей власти. Если я не извлекаю из наших отношений никакой пользы, то по крайней мере имею право желать и надеяться удерживать за собой ваше расположение.

– Я убежден, сэр, за себя, – сказал Ричард, – убежден и за Аду, что вы имеете над нами обоими весьма сильную власть, укрепившую наше уважение, признательность и преданность к вам, и что эта власть усиливается с каждым днем.

– Неоцененный кузен! – сказала Ада, склоняясь к нему на плечо, – я чувствую, что вы заменили мне место отца. Вся любовь, все послушание, которые бы я должна питать к отцу, вполне передаются вам.

– Ну, хорошо, хорошо! – сказал мистер Джорндис. – Займемся теперь нашими предположениями. Откроем глаза и с надеждою заглянем в даль. Рик, свет перед тобою. Как ты вступишь в него, так он и примет тебя это верно, как дважды-два – четыре. Надейся на одно только Провидение и на свои усилия. Никогда не разделяй их друг от друга. Постоянство в любви – вещь превосходная; но она ровно ничего не значит без постоянства во всякого рода трудах. Если б ты имел дарование всех великих людей прошедшего и нынешнего века, ты ничего не сделаешь путного без надлежащего размышления о предпринятом деле и без особенного прилежания. Если ты увлечешься убеждением, что совершенный успех, в больших делах или малых, зависел или мог зависеть, будет или может зависеть от фортуны, то расстанься с этой ложной идеей, или расстанься с кузиной своей Адой.

– Нет, уж я лучше расстанусь с этой идеей, сэр, – сказал Ричард, с улыбкой, – я расстанусь с нею, если только принес ее сюда (надеюсь, впрочем, что со мной этого не могло и не может быть), и буду пробивать себе дорогу к Аде с надеждою на Провидение и на свои усилия.

– Справедливо! – сказал мистер Джорндис. – Если тебе не суждено сделать ее счастливой, то зачем бы ты стал преследовать ее?

– Я не хотел бы сделать ее несчастною, даже если б она и не любила меня, – гордо возразил Ричард.

– Славно сказано! – воскликнул мистер Джорндис, – славно сказано! Итак, Ада останется здесь, в своем доме, со мною. Люби ее, Рик, в своей деятельной жизни, столько же, сколько и

в ее доме, когда ты посетишь это, и все пойдет хорошо. В противном случае все пойдет дурно. Вот и конец моей проповеди. Я думаю, недурно будет, если ты прогуляешься с Адой.

Ада с нежностью обняла его. Ричард от души пожал ему руку и вместе с Адой вышел из комнаты, предварительно бросив взгляд на меня, как будто давая этим знать, что они будут ждать меня. Дверь оставалась открытой, и мы взорами следили за ними в то время, как они проходили по смежной комнате, ярко освещенной лучами полуденного солнца, и скрылись в двери в отдаленной стене ее. Ричард, склонив голову к Аде, склонившейся к нему на руку, что-то говорил ей с большим жаром. Ада смотрела ему в лицо, слушала и кроме Ричарда ничего не видела. Так молоды, так прекрасны, так полны надежды и блестящих ожиданий, они беспечно шли, озаряемые яркими лучами солнца; быть может, в это же самое время в их мыслях пролетали грядущие годы, озаренные лучами беспредельного счастья. Яркий свет солнца, озарявший их, был случайный. Вместе с тем, как скрылись они в тени отдаленных дверей, помрачилась и комната, и солнце скрылось за облака.

– Прав ли я, Эсфирь? – спросил мой опекун, когда Ада и Ричард совершенно скрылись.

Тот, который был так добр, так мудр, спрашивает меня, прав ли он!

– Быть может, это обстоятельство доставит Риду качество, которого не достает в нем, – не достает в сердце, в котором так много прекрасного! – сказал мистер Джорндис, кивая головой. Я ничего не сказал Аде, Эсфирь, – не сказал потому, что она во всякое время имеет при себе доброго друга и прекрасного советника.

И он положил руку мне на голову, смотря на меня с любовью.

Я не могла скрыть маленького волнения, хотя употребила все с своей стороны, чтобы скрыть его.

– Успокойся, мой друг! – сказал он. – Нам надо тоже позаботиться, чтобы жизнь нашей маленькой хозяйюшки не протекла в заботах за других.

– В заботах? Неоцененный опекун мой, я считаю себя счастливейшим созданием в мире!

– Верю этому, – сказал он. – Но, быть может, кто-нибудь найдет – о чем Эсфирь никогда и не подумала – что о маленькой хозяйюшке должно помнить более всего на свете.

Я забыла сказать в своем месте, что за семейным обедом в доме мистера Баджера сидел джентльмен. Джентльмен этот был врач, с смуглым лицом. Он был очень скромн, но я находила его очень умным и любезным. По крайней мере так отзывалась о нем я Аде.

XIV. Гордая осанка и изящные манеры

На другой день вечером, Ричард расстался с нами, чтоб начать новое свое поприще, и, с чувством беспредельной любви к Аде и беспредельного доверия ко мне, поручил Аду моему попечению. Мне трогательно было подумать тогда, а еще трогательнее вспоминать теперь (особливо зная все последующие обстоятельства, которые мне нужно описать), до какой степени их мысли были заняты мною, даже в грустные минуты разлуки. Я входила во все планы их в настоящем и будущем. Я должна была писать к Ричарду раз в неделю и сообщать ему верные известия об Аде, которая в свою очередь должна была писать через день. Я должна получать собственноручные донесения Ричарда о его занятиях и успехах; я должна наблюдать, до какой степени будут сохраняться в нем решительность и постоянство; мне следовало быть ближайшей подругой Ады в день ее свадьбы, жить вместе с ними после свадьбы, принять на себя их домохозяйство, – словом, мне предстояло быть счастливой от этого дня и навсегда.

– А если, выиграв процесс, мы разбогатеет, Эсфирь... Ведь мы выиграем непременно! – сказал Ричард в заключение.

При этих словах по лицу Ады пробежала легкая тень.

– Неоцененная Ада, – сказал Ричард, после минутного молчания, – почему же нам не выиграть?

– Было бы лучше, если б тяжба кончилась сейчас же, хотя бы мы остались бедными, – сказала Ада.

– Уж не знаю, право, – возразил Ричард, – может ли она решиться так скоро. Она еще ничем не решилась в течение Бог знает какого множества лет.

– К несчастью, это слишком справедливо, – сказала Ада.

– Во всяком случае, – продолжал Ричард, отвечая скорее на взоры Ады, чем на ее слова, – во всяком случае, милая моя кузина, чем дольше она тянется, тем скорее должно ждать решения, какого бы рода оно ни было. Не правду ли я говорю?

– Ты знаешь лучше, Ричард. Но если мы станем надеяться, я боюсь, что эта надежда сделает нас несчастными.

– Но, моя Ада, ведь мы и не надеемся на это! – вскричал Ричард, весело. – Мы вовсе не знаем, в какой мере можно полагаться на нее. Мы только говорим, что если тяжба обогатит нас, то нам не будет предстоять законного препятствия сделаться богатыми. Верховный Суд, по торжественному определению закона, наш угрюмый старик-опекун, и мы вправе полагать, что все, чем он награждает нас, составляет наше неотъемлемое достояние. А согласись, что нет никакой необходимости находиться в разладе с нашими нравами.

– Конечно, нет, – сказала Ада, – но, мне кажется, лучше было бы забыть все это.

– И прекрасно! – вскричал Ричард. – Действительно, лучше забыть все это. Мы предаем все это дело совершенному забвению. Хозяюшка Дорден принимает на себя одобряющее личико – и делу конец!

– Одобряющее личико хозяйюшки Дорден, – сказала я, выглянув из-за сундука, в который укладывала его книги, – не было видно, когда вы дали ему это название... Впрочем, оно действительно одобряет это, и хозяйюшка Дорден полагает, что лучше этого нельзя поступить.

Вследствие этого, Ричард еще раз сказал, что делу конец, и немедленно начал, на точно таких же шатких основаниях, строить такое множество воздушных замков, какого весьма было бы достаточно, чтобы вооружить великую китайскую стену. Он расстался с нами в самом приятном расположении духа Ада и мы, приготовленные в сильной степени ощущать его отсутствие, повели самую тихую жизнь.

По приезде в Лондон, мы заходили с мистером Джорндисом к миссис Джеллиби, но, к нашему несчастью, не застали ее дома. Оказалось, что она уезжала куда-то пить чай и брала

с собой мисс Джеллиби. Кроме чаю их ожидал значительный запас красноречивых спичей и убедительных писем по предмету воздвигания кофейных плантаций и просвещения туземцев колонии Борриобула-Ха. Само собою разумеется, все это требовало усиленной деятельности с пером и чернилами, и, следовательно, роль, которую мисс Джеллиби разыгрывала в этих совещаниях, была весьма незавидная.

Спустя несколько времени, и именно, когда миссис Джеллиби следовало возвратиться в город, мы еще раз посетили ее. Она была в городе, но только не дома. Немедленно после завтрака она отправилась в отдаленную часть Лондона по африканскому вопросу, возникшему из Общества под названием Восточно-Лондонской Отрасли Разветвления Пособий. Так как я не видела Пипи в последнее наше посещение (в тот раз, когда нигде не могли отыскать его, и когда, по мнению кухарки, он, должно быть, бегал за телегой мусорщика), – я осведомилась о нем и теперь. Устричные раковины, из которых Пипи строил домики, находились в коридоре; но его нигде не усматривалось, и, вероятно, как полагала та же самая кухарка, «он убежал за баранами».

– За баранами? – повторили мы с некоторым изумлением

– О, да! – отвечала кухарка. – В торговые дни он часто провожает их за город и возвращается оттуда в таком положении, что и представить невозможно!

На следующее утро, я сидела с моим опекуном у окна, а Ада усердно занималась письмом, – без сомнения, к Ричарду, – когда нам доложили о приходе мисс Джеллиби. Вслед за тем она вошла к нам, ведя с собой Пипи, сделать которого презентабельным, она употребила большие с своей стороны усилия. Он уже не был таким замарашкой, хотя грязь слоями лежала в углах его лица и рук; его волосы были сильно намочены и не вычесаны щеткой, но приглажены ладонью. Все платье на этом милом ребенке было или чересчур велико для него, или слишком мало. Между прочими из его несоответствующих друг другу украшений, на нем была надета шляпа с широкими полями и крошечные перчатки. Его сапоги пригодились бы, без всякого преувеличения, пахарю, между тем как ноги его, до такой степени испещренные царапинами, что представляли собою географические карты, были обнажены ниже того места, где очень коротенькие, толстые панталоны оканчивались двумя наставками совершенно из другой материи. Недостающее число пуговиц на его неуклюжей курточке очевидно было заимствовано от фрака мистера Джеллиби. Самые разнообразные образчики швейного искусства выглядывали в тех местах его одежды, где требовалась необходимая и частая починка. Искусство штопанья я замечала и в костюме мисс Джеллиби; но, несмотря на то, она удивительно как улучшилась в своей наружности и казалась очень хорошенькою. Она убеждена была, что маленький Пипи был весьма неудачным предметом всех ее трудов, и обнаружила свое убеждение, взглянув сначала на него, потом на нас.

– О, Боже мой! – сказал мой опекун. – Ветер дует прямехонько с востока.

Ада и я радушно приняли мисс Джеллиби и представили ее мистеру Джорндису. Сев на стул, она сказала:

– Ма свидетельствует вам почтение и надеется, что вы извините ее: она занимается теперь корректурою плана. На днях она намерена выпустить в свет пять тысяч новых циркуляров и знает заранее, что для вас интересно слышать это. Один экземпляр я принесла с собой. Не угодно ли?

И вместе с этим она довольно угрюмо вручила циркуляр.

– Благодарю вас, – сказал мой опекун, – премного обязан миссис Джеллиби. Ах, Боже мой, какой это несноснейший, мучительнейший ветер!

Мы занялись маленьким Пипи, сняли с него шляпу, спрашивали его, помнит ли он нас, и тому подобное. Сначала Пипи смотрел исподлобья, но при виде пирожного сделался развязнее и позволил себе сесть ко мне на колени, где он спокойно занимался лакомством. Когда

мистер Джорндис удалился во временную Ворчальню, мисс Джеллиби открыла обычный свой отрывистый разговор.

– Мы живем по-прежнему гадко, – говорила она, – я не имею покоя в жизни. Разговор об Африке бесконечен. Мне бы нисколько не было хуже, если б я была чем-нибудь другим... пожалуй, хоть, как они называют человеком и собратом!

Я хотела было сказать ей что-то в утешение

– О, мисс Sommerсон, это бесполезно! – воскликнула мисс Джеллиби, – хотя за ваше доброе внимание я от души благодарю вас. Я знаю, как со мной обходятся, и потому ваши слова меня не разуверят. Вас бы тоже никто не разуверил, если б с вами обходились таким образом. Пипи, поди прочь, поди под фортепьяно, играй там в кошку и мышку.

– Не пойду! – сказал Пипи.

– Хорошо же ты, неблагодарный, негодный, жестокий мальчишка! – возразила мисс Джеллиби, с слезами на глазах. – Больше я тебя никогда не стану одевать.

– Пойду, Кадди, сейчас пойду! – вскричал Пипи.

Действительно, это был такой милый и добрый ребенок и до такой степени был тронут огорчением сестры своей, что тотчас же отправился по назначению.

– Кажется, и слов не стоит все это пустое дело, – сказала бедная мисс Джеллиби, в виде извинения, – а оно между тем совсем утомило меня. Я занималась циркулярами до двух часов утра. Я до такой степени ненавижу это занятие, что только от одного этого у меня болит голова, болит так сильно, что я решительно ничего не вижу. Взгляните на этого жалкого, несчастного ребенка. Видали ли когда-нибудь такое пугало?

Пипи, к счастью, не сознававший недостатков в своей наружности, сидел на ковре позади ножки фортепьяно и спокойно выглядывал из своей конурки, продолжая есть пирожное.

– Я затем послала его в другой конец комнаты, чтобы он не слушал нашего разговора. Я этого не хочу, – заметила мисс Джеллиби, придвигая свой стул ближе к нашим. – Эти шалуны очень понятливы! Я хотела сказать вам, что дела наши идут хуже прежнего. Па скоро делается банкротом, и тогда ма, я надеюсь, будет совершенно довольна. За это никого больше не следует благодарить, как одну только ма.

Мы выразили надежду, что дела мистера Джеллиби не в таком дурном положении, как она полагает.

– Бесполезная надежда, хотя с вашей стороны это весьма великодушно, – возразила мисс Джеллиби, качая головой. – Па сказал мне, не дальше, как вчера поутру (ах, он ужасно несчастлив!), что ему не выдержать этого шторма. Да и в самом деле удивительно будет, если он выдержит. Когда все наши лавочники присылают к нам такую дрянь, какую вздумается им, когда прислуга наша делает с этой дрянью, что хочет, когда у меня нет времени привести все это в надлежащий порядок, когда ма решительно ни о чем не заботится, так уж, право, я не знаю, удастся ли моему па выдержать ужасный шторм... Признаюсь, будь я на его месте, я бы давно убежала из дому!

– Душа моя! – сказала я, улыбаясь, – Ваш папа без сомненья, заботится о своем семействе?

– О, да, мисс Sommerсон, у него славное семейство; но доставляет ли ему оно утешение? Его семейство! Это все равно, что векселя, грязь, опустошение, шум, полеты с лестницы вниз головой, суматоха и злополучие! Его безалаберный дом от конца одной недели до конца другой представляет собою какую-то прачечную, хотя в ней ничего не стирается.

Мисс Джеллиби топнула ногой и утерла глаза.

– Конечно, я сожалею па только в этой мере – сказала она, – но на ма я так сердита, так сердита, что не нахожу слов выразить свой гнев! Нет, уж я не намерена переносить это, – я решила. Я не хочу быть рабой во всю мою жизнь, но хочу дожидаться поры, когда какой-

нибудь мистер Квэйль предложит мне руку. Чудесная вещь, право, быть женой филантропа! Нет, уж извините: я и без того вдоволь насмотрелась на них!

Надобно признаться, что и я с своей стороны не могла удержаться от гнева на миссис Джеллиби, видя и слыша эту заброшенную девочку и убеждаясь, как много горькой и насмешливой истины заключалось в ее словах.

– Если б мы не полюбили друг друга, когда вы останавливались в нашем доме, – продолжала мисс Джеллиби, – мне бы стыдно было прийти сюда сегодня: я знаю, какой бы смешной фигурой показалась я вам. Но, пользуясь вашим расположением, я решилась навестить вас, особливо, когда я не надеюсь увидеться с вами при будущем приезде вашем в Лондон.

Она сказала это таким многозначительным тоном, что Ада и я взглянули друг на друга, ожидая от нее чего-то более.

– О, нет, совсем не то, что вы думаете! – сказала мисс Джеллиби, кивая головкой. – Впрочем, мне кажется, я могу положиться на вас. Я уверена, вы не измените мне. Я сговорена.

– И неужели в доме никто об этом не знает? – спросила я.

– Ах, Боже мой! – возразила она, скорее с упреком, нежели с гневом. – Мисс Коммерсон, может ли и быть это иначе? Вы знаете, что такое моя ма; а что касается па, я не хотела сказать ему, боясь еще более рассердить его.

– Но, душа моя, выйти замуж без его ведома и согласия – разве это не может увеличить его несчастье? – спросила я.

– Нет, – сказала мисс Джеллиби, смягчаясь. – Надеюсь, надеюсь, что нет. Замужем я бы всячески старалась успокоить его и развлечь, когда он вздумает навестить меня. Ко мне приходил бы па погостить, приходили бы и другие, – словом сказать, о них кто-нибудь стал бы заботиться!

В Кадди было много нежного чувства. Говоря эти слова она смягчалась более и более и так много плакала над этой неведомой для нее картиной семейного счастья, что Пипи в своем уголке под фортепьяно был сильно растроган и опрокинулся на спинку с горькими слезами. Только тогда могли мы совершенно успокоить его, когда я привела его поцеловать свою сестру и показала ему, что Кадди смеется (и действительно, чтоб подтвердить мои слова, она смеялась от чистого сердца). Мы принуждены были позволить ему по очереди ласкать наши подбородки и гладить грязной ручонкой наши лица. Наконец, когда он затих, мы посадили его на стул смотреть в окно, и мисс Джеллиби, придерживая его за ногу, продолжала свою исповедь.

– Это началось с первого приезда вашего к нам в дом – сказала она.

Весьма натурально, мы спросили ее: каким образом началось это?

– Я чувствовала, что была слишком необразована, – отвечала она, – и потому решилась, во что бы то ни стало, образовать себя и начала учиться танцевать. Я сказала ма, что мне стыдно за себя, и что я должна учиться танцам. Ма взглянула на меня странным своим взглядом, как будто я была вне пределов ее зрения; но я уже решилась выучиться танцам, и потому отправилась в танцевальную школу мистера Торвидроп, на улице Ньюман.

– И случилось там, душа моя, что... – начала я.

– Да, это случилось там, – прервала Кадди, – я сговорена за мистера Торвидроп. Впрочем, надо вам сказать, там два мистера Торвидропа: отец и сын, и сын, без сомнения, мой Торвидроп. Я бы ничего не желала больше, как только быть получше воспитанной и сделаться для него лучшей женой... я очень, очень люблю его.

– Надобно признаться, – сказала я, – мне жаль слышать об этом.

– Я не знаю, право, почему вам должно сожалеть, – возразила она с некоторым беспокойством. – Впрочем, как хотите, сожалайте или нет, но только я сговорена за мистера Торвидроп, и он меня очень любит. Это еще тайна даже с его стороны, потому что старик мистер Торвидроп очень привязан к своему сыну, и внезапное объявление о нашей помолвке крайне

огорчило бы его и даже причинило бы ему удар. Старик мистер Торвидроуп очень учтивый, очень благородный человек.

– Знает ли об этом его жена? – спросила Ада.

– Жена старого Торвидроупа? – сказала мисс Джеллиби, выпучив глаза. – У него нет жены.

Он вдовец.

Мы были прерваны на этом месте маленьким Пипи. Мисс Джеллиби, увлеченная предметом своего разговора, беспрестанно дергала его за ногу, как за шнурок от колокольчика, и притом так сильно, что страдания бедного ребенка облачились, наконец глухим, но выразительным стоном. Пипи обратился ко мне с умоляющим взглядом; а так как я была только слушательницей в разговоре, то взяла на себя труд поддержать его. Мисс Джеллиби, поцеловав Пипи и уверив его, что сделала это без всякого умысла, продолжала свое чистосердечное признание.

– Так вот в каком положении находится дело! – говорила Кадди. – Если я должна краснеть за это, то все же думаю, что виновата в этом моя ма. Мы обвенчаемся при первой возможности, и тогда я пойду к отцу в контору и оттуда напишу об этом к ма. Это не слишком огорчит ее: я ведь для нее не больше, как перо и чернила. Величайшее утешение мое заключается в том, что после свадьбы я не услышу больше об Африке, – сказала Кадди, со слезами. – Молодой мистер Торвидроуп ненавидит ее из любви ко мне; а если старый мистер Торвидроуп и знает, что существует такая страна, то этим и ограничивается все его знание.

– Это тот самый человек, который так учтив и благороден? – сказала я.

– Очень благороден, – отвечала Кадди. – В этом отношении он настоящий джентльмен. Он известен почти всюду за свою прекрасную осанку и изящные манеры!

– Он тоже чему-нибудь учит? – спросила Ада.

– Нет, особенному он ничему не учит, – отвечала Кадди. – Но его осанка – это просто прелесть!

Кадди говорила потом, с заметной нерешимостью, что осталась еще одна вещь, которую бы она хотела сообщить нам, которую мы бы должны знать, и которая, она надеялась, не могла показаться нам неприятною. Дело в том, что она упрочила знакомство с мисс Фляйт, с маленькой, полоумной старушкой; что она часто ходит к ней рано по утрам и встречается там с своим возлюбленным, но встречается только на несколько секунд.

– Я хожу туда и в другое время дня, – говорила Кадди, – но Принца там не бывает. Молодого мистера Торвидроуп зовут Принцем; мне очень не нравится это имя, но что делать! вероятно, он не сам себя назвал этим именем. Старый мистер Торвидроуп назвал его Принцем, в честь принца-регента, за осанку и изящные манеры. Надеюсь, вы не станете думать обо мне дурно за наши невинные свидания в доме мисс Фляйт. Я от души люблю бедную старушку, да, кажется, и она меня любит. Если б вы увидели молодого мистера Торвидроупа, то, я уверена, вы бы стали иметь о нем хорошее понятие; по крайней мере, я уверена, вы бы не подумали о нем чего-нибудь дурного. Я иду теперь на урок. Я не смею просить вас прогуляться со мной, мисс Соммерсон; но, если хотите, – говорила Кадди, дрожащими голосом, – я была бы очень рада, очень рада.

Случилось так, что мы условились с опекуном сходить в тот день к мисс Фляйт. Мы рассказали ему о нашем первом визите, и наш рассказ очень заинтересовал его; но всегда встречалось какое-нибудь обстоятельство, которое мешало нам отправиться туда в другой раз. Если я вполне принимала доверие, которое, мисс Джеллиби так охотно возлагала на меня, то в то же время я надеялась на свое влияние, посредством которого рассчитывала отклонить ее от опрометчивого шага, и потому решила, что Пипи, я и она отправимся в танц-класс, и после класса встретим мистера Джорндиса и Аду в доме мисс Фляйт, имя которой я только теперь впервые узнала. Распоряжение это сделано было на том условии, что мисс Джеллиби и Пипи воротятся к нам обедать. Это условие, было принято охотно как братом, так и сестрой. С помощью була-

вок, мыла, воды и головной щетки, мы принарядили Пипи, и вышли из дома, направив шаги к улице Ньюман, находившейся в весьма недалеком расстоянии.

Я нашла, что танцевальная школа была учреждена в довольно мрачном доме, в котором окна, освещающие лестницу, украшены были различными бюстами. В том же доме помещались, как я узнала по дощечкам на дверях, рисовальный учитель, продавец каменного угля (хотя для помещения его угля во всем доме не было свободного угла) и литограф. На дощечке, величиной и положением отличавшейся от всех прочих, я прочитала имя: «Мистер Торвидроп». Дверь была отворена и зала заставлена большим роялем, арфой и множеством других музыкальных инструментов в футлярах; все это передвигаясь с места на место и при дневном свете казалось каким-то хламом. Мисс Джеллиби сообщила мне, что школа отдавалась накануне для концерта.

Мы пошли выше. Это был дом красивый некогда, и именно в то время, когда на ком-нибудь лежала обязанность поддерживать в нем чистоту и свежесть, и когда ни на ком не лежало обязанности курить в нем в течение целого дня. Наконец мы вошли в большую комнату мистера Торвидропа, которая в отдаленном конце разделялась на несколько клетушек и освещалась сверху. Это была пустая комната, с большим резонансом и с запахом конюшни; вдоль стены стояло несколько камышовых стульев; самые стены украшались в симметрическом порядке изображением лир, с небольшими ветвями для свечей, от которых, по-видимому, точно так же сыпались сальные капли, как сыплются с других ветвей осенние листья. Несколько девочек и девиц, от тринадцати и четырнадцатилетнего до двадцати-двух и трехлетнего возраста, составляли посреди комнаты неправильную группу. И в то время, как я старалась отыскать между ними их наставника, Кадди сжала мне руку и сказала, с соблюдением всех правил светского этикета:

– Мисс Соммерсон, рекомендую вам мистера Принца Торвидропа.

Я сделала реверанс маленькому человечку ребяческой наружности, с голубыми глазами, белокурыми, шелковистыми волосами, которые разделялись посредине головы правильным пробором и оканчивались кудрями. Под левой мышкой он держал маленькую скрипку, какую я, бывало, видала в школе, где мы называли ее карманным инструментом; в левой же руке его находился миниатюрный смычок. Бальные башмаки его отличались особенно малыми размерами. Его манеры до такой степени были невинны, даже, можно сказать, женоподобны, что они не только понравились мне, но произвели на меня в своем роде замечательное впечатление, – до такой степени замечательное, что я невольным образом подумала, что он имел большое сходство с его матерью, и что его мать или оставалась в небрежении, или с ней обходились очень дурно.

– Я считаю за счастье видеть подругу мисс Джеллиби, – сказал он, делая мне низкий поклон. – Теперь уже прошло назначенное время для начала класса, – продолжала, он с робкой нежностью, – и я начал бояться, что мисс Джеллиби не пожалует сегодня.

– Будьте так добры, прошу вас, сэр, – сказала я, – припишите мне эту вину: я задержала мою подругу и за то извиняюсь перед вами.

– О, помилуйте! – сказал мистер Торвидроп.

– Пожалуйста, – продолжала я, – не позволяйте мне быть виновницей дальнейшей остановки.

Вместе с этим извинением я отошла и села на стул между Пипи и старушкой леди, с угрюмым лицом, которая присутствовала в классе с двумя племянницами и крайне была недовольна сапогами Пипи. Принц Торвидроп пробежал пальцами по струнам карманного инструмента, и ученицы его заняли свои места. В это самое время из боковых дверей появился старый мистер Торвидроп в полном блеске своего величия.

Это был довольно тучный, пожилых лет джентльмен, с искусственным румянцем, искусственными зубами, искусственными бакенбардами и в парике. Он был перетянут, подбит ватой,

натянут на штрипки, приглажен, примазан. Шейный платок его был так густо затянут (отчего и самые глаза его теряли свой натуральный вид), его подбородок и даже уши до такой степени углублялись в него, что, казалось, если бы не тугая повязка шеи, то голова его непременно бы упала на грудь или на спину, как увядший цветок. Под мышкой у него находилась шляпа огромных размеров, которая от верхушки к полям заметно суживалась; в руке он держал пару белых перчаток, которыми похлопывал по шляпе. Он остановился в классе и, сосредоточив всю свою тяжесть на одной ноге и приподняв одно плечо, принял неподражаемо величавую позу. При нем находилась трость, находилась лорнетка, находилась табакерка, находились кольца, – словом, при нем находилось все искусственное, но ничего натурального; он не был похож на юношу, не имел сходства и с почтенным старцем; он не имел сходства ни с чем в мире, как только с образцом прекрасной осанки и изящных манер.

– Батюшка, у нас гости – мисс Джеллиби и ее подруга мисс Коммерсон.

– Мисс Коммерсон, – сказал мистер Торвидроп, – сделала мне честь своим посещением.

И в то время, как он кланялся, сохраняя свое натянутое положение, мне показалось, что на белках его глаз образовались складки.

– Мой батюшка, – сказал сын, обращаясь ко мне, с сыновним убеждением в достоинствах своего родителя, – мой батюшка – человек весьма замечательный. Все восхищаются моим родителем.

– Продолжай, Принц, продолжай свои занятия! – сказал мистер Торвидроп, стоя спиной к камину и с видом нежного покровительства махая перчаткой. – Продолжай, дитя мое!

При этом повелении, или, вернее, при этом милостивом разрешении, урок пошел своим чередом. Принц Торвидроп, выплясывая различные па, от времени до времени наигрывал на своем карманном инструменте; иногда, стоя, играл на фортепьяно; иногда, поправляя учеников, напевал вполголоса мотивы танца; беспрестанно и добросовестно выделял с неповоротливыми каждый прыжок и каждую часть фигуры, – словом, он минуты не оставался в покое. Блистательный родитель его во все это время ничего больше не делал, как только грелся у камина, и представлял собою образец прекрасной осанки и изящных манер.

– Да он ничего больше и не делает, – сказала старушка леди с угрюмым лицом. – И после этого неужели вы поверите, что на дверях выставлено его имя, а не кого-нибудь другого?

– Но ведь и сын его носит то же самое имя, – сказала я.

– Помилуйте, да если б только можно было, он бы вовсе не позволил сыну носить какое-нибудь имя! – возразила старушка. – Взгляните на платье сына. (И действительно, оно было очень незатейливо – местами изношено, местами даже оборвано) и взгляните вы на отца: ведь на нем совершенно все с иголочки; а почему? потому, что у него, видите, прекрасная осанка! Я бы ему показала осанку! Я бы его сослала с этой осанкой в Ботани-Бей.

Любопытство подстрекало меня узнать что-нибудь более об этой особе.

Я спросила:

– Не дает ли он теперь уроков прекрасной осанки?

– Куда ему! – резко отвечала старушка.

После минутного размышления, я намекнула, что, быть может, он дает уроки фехтовального искусства?

– Да он сам ровно ничего не смыслит в этом, – отвечала старушка.

Я посмотрела с удивлением и любопытством узнать еще более. Старушка, более и более воспламеняясь гневом против образца прекрасной осанки, распространилась по поводу этого предмета и сообщила мне несколько подробностей о карьере мистера Торвидропа-старшего, с горячими уверениями, что с ее стороны все это высказано было в самой умеренной степени, без всякого преувеличения.

Не занимаясь в жизни решительно ничем, кроме усовершенствования своей прекрасной осанки и изящных манер, он женился на кроткой учительнице танцев с посредственным

образованием и, для поддержания тех расходов, которые неизбежны были при его положении в обществе, замучил несчастную жену свою до смерти, или, вернее сказать, принуждал ее заниматься своей профессией до такой степени, что, изнуренная, она сошла в могилу. Чтобы обнаружить свою осанку перед лучшими образцами и постоянно иметь перед собой лучшие образцы, он считал необходимым посетить все публичные места, куда собирается фешенебельный и праздный круг; считал за нужное в фешенебельные сезоны показываться в Брайтоне и других местах и вообще вести самую беспечную жизнь, в платье, сшитом по последнему фасону. Чтоб доставить ему средства исполнять все свои прихоти, преданная жена-танцмейстерша трудилась и работала и, быть может, трудилась бы и работала теперь, если б только достало сил ее на столь долгое время.

Сущность этого рассказа состояла в том, что, несмотря на самолюбие мужа, поглощавшее все другие чувства, его жена, находясь под обаянием его прекрасной осанки, до последней минуты своей жизни верила в его прекрасные качества и на смертном одре, в самых трогательных выражениях, поручила его сыну, как существу, имевшему полное право на родительскую любовь, и на которого родитель, в свою очередь, никогда не мог бы смотреть с излишней гордостью и равнодушием. Сын, наследовал убеждение и доверие своей матери и имея всегда перед собой образец прекрасной осанки, дожил до тридцатилетнего возраста, работал за отца по двенадцати часов в день и с особенным подобострастием смотрел на него, как на существо, выходявшее из разряда обыкновенных смертных.

– И посмотрите, как он важничает! – говорила моя соседка, с безмолвным негодованием кивая головой на старого мистера Торвидропа, который в эту минуту натягивал узкие перчатки и, разумеется, вовсе не подозревал, какие чувства он внушал почтенной леди. – Воображает себе, что он решительно аристократ! Он так снисходительно ласков к своему сыну, которого так отлично надувает, что, право, другой сочтет его за отличного отца! Гм! я бы сейчас укусила его! – сказала старушка, осматривая его с ног до головы, с видом беспредельного негодования.

В душе я не могла удержаться от смеха, хотя и слушала рассказ старой леди с чувством искреннего участия. Имея перед глазами отца и сына, трудно было сомневаться в справедливости ее слов. Какое бы могла я сделать заключение о них без рассказа соседки, или какое бы могла я сделать заключение о рассказе соседки без них, – право, я не умею сказать. Во всем, что заставляло меня убеждаться, не проглядывало ни малейшей несообразности.

Мои глаза все еще перебегали от молодого мистера Торвидропа, так усердно работавшего, на старого мистера Торвидропа, так прекрасно державшего себя, когда последний величаво подошел ко мне и вступил в разговор.

Он прежде всего спросил меня, сообщаю ли я очарование и блеск столице Британии, проживая в ней? Разумеется, я не сочла нужным высказать ему совершенное свое убеждение в противном, но просто отвечала ему, где находилась наша квартира.

– Такая прекрасная и образованная леди, – сказал он, целуя свою правую перчатку и потом указав на собрание учащихся, – вероятно будет смотреть снисходительным оком на здешние недостатки. С своей стороны, мы делаем все, чтобы полировать молодых людей, – полировать и полировать!

Он сел подле меня, употребив некоторые усилия для сохранения позы величавого образца, изображение которого висело над диваном. И действительно, он как нельзя более был похож на него.

– Полировать молодых людей, – полировать и полировать! – повторил он, взяв щепотку табаку и нежно отряхнув пальцы. Но в настоящее время мы... если позволено мне будет выразиться так перед особой, которая одарена всеми совершенствами от природы и искусства, – и при этом мистер Торвидроп, приподняв плечо, поклонился, чего, по-видимому, не мог исполнить без того, чтоб не вздернуть бровей кверху и не прищурить глаз... в настоящее время мы

совсем не то, чем бы следовало быть нам в отношении к прекрасной осанке и изящным манерам.

– Неужели, сэр? – сказала я.

– Мы совсем переродились, – возразил он, кивая головой, но это киванье в его галстук не могло быть слишком размашисто. – Прозаический век неблагоприятен для прекрасной осанки. Он развивает вульгарность. Может статься, я говорю это с маленьким пристрастием. Мне бы, может быть, не следовало говорить, что вот уже несколько лет меня называли джентльменом Торвидроп, не следовало бы говорить, что Его Высочество Принц-Регент, возвращаясь из Брайтонского павильона (о какое чудное здание!) и заметив, с какой грацией приподнимал я шляпу, удостоил меня величайшей почести, спросив обо мне: «Кто это такой? Почему я не знаю его? Почему не имеет он дохода в тридцать тысяч фунтов стерлингов?» Впрочем, это маленькое событие, обратившееся в анекдот – обыкновенная участь, сударыня, всех подобных событий – и теперь еще повторяется, при некоторых случаях, между людьми высокого сословия.

– В самом деле? – сказала я. И мистер Торвидроп подтвердил слова свои величавым поклоном.

– Вот только между этими людьми и сохранилось в некоторой степени то, что называем мы прекрасной осанкой и изящными манерами, – прибавил он. – Англия – увы! бедное мое отечество! весьма заметно переродилась; она перерождается с каждым днем. В ней уже очень, очень немного осталось джентльменов. Да, нас очень немного. Я предвижу, что нас сменит поколение... ткачей!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.